

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ  
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ—АВГУСТ

---

«НАУКА»

МОСКВА — 1993

**Главный редактор: Т.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ**

**Заместители главного редактора:**

**Ю.С. СТЕПАНОВ, Н.И. ТОЛСТОЙ**

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

АБАЕВ В.И.  
БАНЕР В. (ФРГ)  
БЕРНШТЕЙН С.Б.  
БИРНБАУМ Х. (США)  
БОГОЛЮБОВ М.Н.  
БУДАГОВ Р.А.  
ВАРДУЛЬ И.Ф.  
ВАХЕК Й. (Чехия)  
ВИНТЕР В. (ФРГ)  
ГРИНБЕРГ Дж. (США)  
ДЖАУКЯН Г.Б. (Армения)  
ДОМАШНЕВ А.И.  
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)  
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)  
ЗИНДЕР Л.Р.  
ИВИЧ П. (Югославия)  
КЁРНЕР К. (Канада)  
КОМРИ Б. (США)  
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)  
ЛЕМАН У. (США)  
МАЖЮЛИС В.П. (Литва)

МАЙРХОФЕР М. (Австрия)  
МАРТИНЕ А. (Франция)  
МЕЛЬНИЧУК А.С. (Украина)  
НЕРОЗНАК В.П.  
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)  
ПОЛОМЕ Э. (США)  
РАСТОРГУЕВА В.С.  
РОБИНС Р. (Великобритания)  
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)  
СЛЮСАРЕВА Н.А.  
ТЕНИШЕВ Э.Р.  
ТРУБАЧЕВ О.Н.  
УОТКИНС К. (США)  
ФИШЬЯК Я. (Польша)  
ХАТТОРИ СИРО (Япония)  
ХЕМП Э. (США)  
ШВЕДОВА Н.Ю.  
ШМАЛЬСТИГ В. (США)  
ШМЕЛГВ Д.Н.  
ШМИДТ К.Х. (ФРГ)  
ШМИТТ Р. (ФРГ)  
ЯРЦЕВА В.Н.

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

АЛПАТОВ В.М.  
АПРЕСЯН Ю.Д.  
БАСКАКОВ А.Н.  
БОНДАРКО А.В.  
ВАРБОТ Ж.Ж.  
ВИНОГРАДОВ В.А.  
ГЕРЦЕНБЕРГ Л.Г.  
ГАК В.Г.  
ДЫБО В.А.  
ЖУРАВЛЕВ В.К.  
ЗАЛИЗНЯК А.А.  
ЗЕМСКАЯ Е.А.  
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.  
КАРАУЛОВ Ю.Н.  
КИБРИК А.Е.  
КЛИМОВ Г.А. (отв. секретарь)  
КОДЗАСОВ С.В.

ЛЕОНТЬЕВ А.А.  
МАКОВСКИЙ М.М.  
НЕДЯЛКОВ В.П.  
НИКОЛАЕВА Т.М.  
ОТКУПЩИКОВ Ю.В.  
СОБОЛЕВА И.В.  
СОЛНЦЕВ В.М.  
СТАРОСТИН С.А.  
ТОПОРОВ В.Н.  
УСПЕНСКИЙ Б.А.  
ХЕЛИМСКИЙ Е.А.  
ХРАКОВСКИЙ В.С.  
ШАРБАТОВ Г.Ш.  
ШВЕЙЦЕР А.Д.  
ШИРОКОВ О.С.  
ЩЕРБАК А.М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка

редакция журнала «Вопросы языкознания» Тел. 201-74-42

Зав. редакцией Ганнус Н.В.

## СОДЕРЖАНИЕ

Бирнбаум Х. (Лос-Анджелес). Генетические и типологические методы внешнего сравнения языков .....	5
Кубрякова Е. С. (Москва). Возвращаясь к определению знака .....	18
Климов Г. А. (Москва). Еще одно свидетельство пребывания арийцев в Передней Азии .....	29
Либерман А. С. (Миннеаполис). Мягкие и твердые согласные в истории германских языков (К постановке вопроса) .....	38
Яковлева Е. С. (Москва). О некоторых моделях пространства в русской языковой картине мира .....	48
Лукин В. А. (Орел). Концепт истины и слово <i>истина</i> в русском языке (Опыт концептуального анализа рационального и иррационального в языке) .....	63
Журавлев А. Ф. (Москва). Праславянский словник древненовгородского диалекта с точки зрения лексикостатистики .....	87
Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. (Москва). Побочное ударение и ритмическая структура русского слова на словесном и фразовом уровнях .....	99

### ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

Вежбицка А. (Канберра). Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны .....	107
--	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Милославский И. Г. (Москва). <i>Ферм Л.</i> Выражение направления при приставочных глаголах перемещения в современном русском языке. К вопросу префиксально-предложного детерминизма .....	126
Маковский М. М. (Москва). <i>Puhvel J.</i> Hittite etymological dictionary .....	128
Корнилаева И. А. (Москва). <i>Berger T.</i> Wortbildung und Akzent im Russischen .....	139
Андрющенко В. М. (Москва). <i>Грязнухина Г. А., Дарчук И. П., Клименко Н. Ф. и др.</i> Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях .....	143
Ваншенкер А. Н. (Гурьев), Еремин А. Н. (Калуга), Петриченко М. А. (Кривой Рог). <i>Тихонов А. Н., Пардаев А. С.</i> Роль гнезд однокоренных слов в системной организации лексики. Отраженная синонимия. Отраженная омонимия. Отраженная антонимия. ....	145

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки .....	149
----------------------------	-----

## CONTENTS

Birnbaum H. (Los Angeles). Genetic and typological approaches to external comparison of language; Kubrjakova E.S. (Moscow). Once more on the definition of the language sign; Klimov G.A. (Moscow). New evidence on the residence of the Aryans in Asia Minor; Liberman A.S. (Minneapolis). Hard and smooth consonants in the history of the Germanic languages; Jakovleva E.S. (Moscow). On some patterns of space in the Russian-language image of the world; Lukin V.A. (Orel). The concept of truth and the word *истина* in Russian (An essay of conceptual analysis of the rational and the irrational in language); Žuravlev A.F. (Moscow). Proto-Slavonic word-stock of the Old Novgorod dialect in the light of lexicostatistics; Kalenčuk M.L., Kasatkina R.F. (Moscow). Collateral accent and rhythmic structure of the Russian word on verbal and phrasal levels; **From foreign periodicals:** Wierzbicka A. (Canberra). Anti-totalitarian language in Poland: mechanisms of language self-defence; **Reviews:** Miloslavskij I.G. (Moscow). *Ferm L.* The expression of direction by prefixal verbs of movement in contemporary Russian; Makovskij M.M. (Moscow). *Puhvel J.* Hittite etymological dictionary; Kornilaeva I.A. (Moscow). *Berger T.* Wortbildung und Akzent im Russischen Andrjuščenko V.M. (Moscow). *Grjaznuxina I.P., Klimenko N.F. et al.* The use of computers in linguistic investigations; Vanšenker A.N., (Gurjev), Jeremin A.N. (Kaluga), Petričenko M.A. (Krivoj Rog). *Tixonov A.N., Pardaev A.S.* The families of one-root words and their role in the systemic arrangement of the word-stock. Reflected synonymy. Reflected homonymy. Reflected antonymy. **Scientific life.**

© 1993 г. БИРНБАУМ Х.

**ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ВНЕШНЕГО СРАВНЕНИЯ ЯЗЫКОВ**

Впечатляющие, хотя и противоречивые, достижения ностратической теории с момента появления в 60-е годы работ В.М. Иллич-Свитыча и А. Долгопольского, ознаменовавших ее рождение (сам термин "ностратический", с несколько иным значением, был предложен Х. Педерсеном в начале нашего столетия)<sup>1</sup>, и возобновившиеся жаркие споры о происхождении и, в особенности, о прародине и древнейших миграциях индоевропейцев<sup>2</sup> (эти споры основаны на определенных теоретических и методологических предпосылках) дали новый импульс дискуссии о теории и методе лингвистической реконструкции и классификации языков. Настоящая работа, хотя и упоминает о некоторых из важнейших достижений в этой области и о продолжающихся дискуссиях, посвящена именно теоретическим и методологическим вопросам, связанным с проблемой ностратического праязыка (праностратического) и ностратической макросемьи, а также с возможностью обнаружения синхронных состояний и диахронических изменений языков в отдаленном прошлом<sup>3</sup>.

На основе доступных и тщательно проверенных данных представляется все более оправданным постулировать общую языковую основу для таких на первый взгляд различных языковых семей, как индоевропейская, картвельская, алтайская, уральская, дравидийская, афразийская и, возможно, для некоторых других языковых групп, так что некогда существовавший вполне однородный допраязык, обозначаемый термином "ностратический", не является более предметом чисто спекулятивных рассуждений<sup>4</sup>. Однако из этого следует, что каждый язык-потомок, принадлежащий к названным выше хорошо

<sup>1</sup> К обзору современного положения дел см. в особенности [1]. Более раннее убедительное обоснование теории содержится в [2]. Очерк сравнительной ностратической грамматики подготавливается в настоящее время А.Б. Долгопольским; для ознакомления с предварительной версией фрагмент этого большого труда см. работу [3], посвященную личным местоимениям в ностратических языках.

<sup>2</sup> К недавней дискуссии см., например [4]. См., кроме того, статьи Т.В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова, И.М. Дьяконова и М. Гимбутас в 13 томе (№ 1/2) "Journal of the Indo-European studies" за 1985 г. Принципиально иной подход и иная точка зрения представлены в работе [5]. Отметим также работу А.П. Шмида и Й. Удольфа о древней европейской гидронимии (зафиксированной в основном на территории распространения балтийских и, возможно, славянских языков), содержащую аналогичные выводы, хотя и основанные на совершенно иных данных. О формальных и содержательных соотношениях между понятиями "индоевропейский" и "древнеевропейский" (последнее — в лингвистическом, а не в археологическом смысле слова) см., в частности [6]. О "европейском" компоненте индоевропейцев и проблеме доиндоевропейского субстрата в Европе ср. также [7, особенно с. 17—24]. Много споров вызвала опубликованная недавно книга Ренфрю "Загадка происхождения индоевропейцев" [8]. См., в частности, критические замечания под рубрикой "Археология и язык" в 25 т. журнала "Current anthropology" за 1988 г. (в том числе краткий очерк и реплика автора). См. также обзор М. Гимбутас в TLS 24—30 за 1988 г. (с. 714).

<sup>3</sup> Попытка реконструировать значительную часть гипотетического праностратического языка представлена в недавних работах А.Р. Бомхарда [9]. Критику работы [9] см. в [10] и [11].

<sup>4</sup> О понятии "допраязыков" (preprotolanguages) и их значении для ностратического см. [12, 13].

установленным языковым семьям, имеет не только свою собственную историю развития, но и предысторию, — эволюционный путь, предшествующий их формированию как таковых, — которая, как можно предположить, восходит к их общему ностратическому источнику. Дело в том, что традиционно постулируемые языковые семьи не могли, разумеется, возникнуть ex nihilo; их нельзя также относить к моменту зарождения человеческой речи. Поскольку автор данной статьи может оперировать материалом лишь тех языков, которые принадлежат к индоевропейской семье, нижеследующие соображения и предположения будут применимы в первую очередь к индоевропейскому и использоваться будет материал этой языковой семьи. Однако в принципе многое из того, что будет сказано об индоевропейском и его предыстории — или, скорее, о способах и методах, с помощью которых по крайней мере некоторый фрагмент протоиндоевропейской языковой структуры и предшествовавшее ей состояние поддаются реконструкции, — может оказаться релевантным также применительно и к прочим генетически родственным языковым семьям, которые в отдаленном прошлом были распространены на европейском континенте и в Северной Африке, к языковым семьям, которые (это в настоящий момент представляется вполне вероятным) могут рассматриваться как находящиеся в отдаленном родстве с индоевропейской. В сущности вполне правдоподобно даже предположение, согласно которому языки коренного населения Америки, т.е. те, которые объединяются в эскимосско-алеутскую, на-дене и, в особенности, америндскую семьи, также происходят из Евразии.

Для дискуссии об отдаленном генетическом родстве решающее значение имеет осознание того факта, что языковая эволюция в пространстве и времени может осуществляться в двух принципиально различных направлениях — в дивергентном и конвергентном. Хотя данная идея, конечно, не нова, необходимо помнить о том, что эти две модели языковой эволюции почти никогда не встречаются в чистом виде. В действительности чаще всего можно наблюдать синхронное взаимодействие дивергентных и конвергентных изменений, определяющих переход от одного языкового состояния к другому, или же две противоположные эволюционные тенденции чередуются, быстро сменяя друг друга, так что предположение о существовании длительных периодов безраздельного господства однонаправленных процессов языковой перестройки было бы неправдоподобным. Из этого следует, что классическая модель (правильнее было бы охарактеризовать ее как научную метафору) родословного дерева (Stammbaum), предложенная более столетия назад для того, чтобы схематически изобразить эволюцию родственных языков, а именно — языков, принадлежащих к различным группам и подгруппам индоевропейской семьи, в наше время должна быть признана неадекватной, так как в действительности сколько-нибудь значительные периоды прямолинейной филогенетической языковой эволюции, по-видимому, не засвидетельствованы и не могут быть зафиксированы с помощью различных методов реконструкции<sup>5</sup>. То же справедливо и в отношении другой метафоры, призванной заменить первую, устранив неадекватность теории родословного дерева. Речь идет о волновой теории (Wellen). Хотя в некоторых отношениях она, возможно, является более реалистичной (так как по крайней мере пытается отразить пространственное измерение языковых изменений и проводит различие между центром и периферией), эта теория также исходит из гипотезы о том, что эволюция предполагает главным образом дивергенцию и все большую дифференциацию. Таким

<sup>5</sup> Мои соображения о дивергенции и конвергенции в языковой эволюции изложены также в [14, 15].

образом, все инновационные изменения рассматриваются при таком подходе как возникающие в центре и распространяющиеся на периферию, но не наоборот. В связи с этим такая модель оставляет без внимания другое важное эволюционное направление языковых изменений, результатом которого является конвергенция и интеграция. Наконец, даже более сложная модель, которая комбинировала бы два образа — ветвящегося ствола дерева (что отражало бы изменения во времени) и постоянно расширяющихся кругов в форме волн (что представляло бы изменения в пространстве), — не могла бы удовлетворительным образом отразить (хотя бы упрощенно) сложности и противоречия языковой эволюции в том виде, в котором она существовала и существует на протяжении столетий и тысячелетий.

Столь же важным является само по себе и понимание принципиального различия между генетическим родством, с одной стороны, и типологической близостью языков, с другой. Мое мнение (которое я излагаю по различным поводам несколько детальнее) таково: основная сфера установления генетического родства — это план выражения языка, представленный различными уровнями его звукового аспекта, от конкретного поверхностно-фонетического до весьма абстрактного уровня репрезентации, традиционно называемого морфологией. Иными словами, учитывая, что сопоставляемые данные содержат в первую очередь морфемы и целые лексические единицы с тождественными или подвергшимися достаточно прозрачным семантическим сдвигам значениями, именно тождественность звукового состава или, помимо этого, легко идентифицируемые звуковые соответствия (отражающие достоверно установленные и объяснимые сами по себе звуковые изменения) позволяют интерпретировать исследуемые формы как принадлежащие генетически родственным языкам. Напротив, элементом лингвистической структуры, имеющим первостепенное значение для типологии и для возможности установления типологической близости, является семантическая — или, шире, семиотическая — структура и ее формальное выражение в морфосинтаксисе языка. Иначе говоря, именно значимые единицы, их функциональные структуры и образующиеся в результате их соединения комбинации определяют типологическую характеристику того или иного языка и позволяют сравнивать и противопоставлять его другим лингвистическим типам, сходным или отличным. Разумеется, это не означает, что фонологическая структура языка не может быть подвергнута типологическому анализу. Однако фонетическая схема данного языка сама по себе не столь же важна для типологического сопоставления с другими языками, как семиотическая и грамматическая структуры.

В этом контексте я хотел бы также вернуться к своему высказанному в другом месте утверждению о том, что в терминах иерархического представления типологическая классификация языков должна рассматриваться как главенствующая по отношению к генетической, если учесть, что, с некоторыми оговорками, всякая семья родственных языков может также классифицироваться в типологических терминах и фактически образует лингвистический тип (в широком понимании), в то время как обратное не всегда верно. Ибо, конечно же, не все языки, обнаруживающие ту или иную степень типологической близости, характеризуются в то же время достоверно установленным генетическим родством — близким или отдаленным. В связи с этим уместно вспомнить удачную формулировку Э. Бенвениста [16, с. 45—46]: "Всякая генеалогическая классификация, когда она констатирует родство между какими-либо языками и устанавливает степень этого родства, определяет некоторый общий для них тип. Материальное совпадение между формами и элементами форм ведет к выявлению формальной и грамматической структур, присущих языкам

определенной семьи. Отсюда следует, что генеалогическая классификация является в то же время и типологической<sup>6</sup>. Очевидно, оказанное выше применимо также и к индоевропейскому, несмотря на то обстоятельство, что было бы трудно отнести, скажем, современный русский, английский и хинди к одному и тому же языковому типу. Мы действительно можем говорить об индоевропейском языковом типе, подразумевая под этим либо древнейшие из засвидетельствованных членов языковой семьи, либо ее наиболее архаичных представителей, таких, как современный литовский. То, что при построении генетической классификации основное внимание уделяется звуку (и фонетической системе), а при типологической — значению (и его структурным моделям), хорошо согласуется с высказанными в связи с этим соображениями Л. Ельмслева (см. [22, с. 10—31, 68—81, 91—114], где в качестве решающих критериев названы "элементные функции" и "категориальные функции"), а также с точкой зрения Н.С. Трубецкого, который считал наличие "материальных схождений" (stoffliche Übereinstimmungen) предварительным условием для установления генетического родства языков [23]. Этому лишь на первый взгляд противоречат утверждения самого Ельмслева [22, с. 94] о том, что "генетическая и типологическая близость — это два совершенно различных отношения, никак не связанные друг с другом" и что "внутри одной и той же семьи можно обнаружить языки совершенно разных типов, а к одному и тому же типу могут относиться языки совершенно различных семей". Далее Ельмслев высказывает предположение [22, с. 95], что "итоговая (т.е. типологическая. — Б.Х.) классификация будет идти вразрез с классификацией генетической, никак с ней не соотносясь" и что "генетическая и типологическая близость остаются совершенно различными отношениями". Дело в том, что, если критерии, используемые Ельмслевом для установления этих двух видов близости (или структурных схождений, как я предпочел бы называть типологические сближения), действительно принципиально различны, тот факт, что та или иная языковая семья может оказаться разнородной с типологической точки зрения, является, по крайней мере в синхронной перспективе, следствием игнорирования диахронического аспекта. Именно на этом основании мы можем говорить о древнем (архаичном) индоевропейском языковом типе, а не только об индоевропейской языковой семье, но в то же время вынуждены признать, что современный английский как язык, характеризующийся высокой степенью аналитизма с тенденцией развития в направлении к изолирующему типу (если использовать несколько устаревшую терминологию), с типологической точки зрения может оказаться более близким к классическому китайскому, нежели к флективному типу древних (или архаичных) и.-е. языков [22, с. 91—92, 94]. Кроме того, важным в этом контексте может оказаться не только характер первичных критериев, используемых для типологической классификации, но и их минимальное необходимое количество — проблема, которая в настоящее время представляется столь же неразработанной, как и полстолетия назад. Отдельный вопрос состоит в том, что если ограничиться относительно небольшим числом структурных характеристик, то можно зафиксировать принадлежность к одному и тому же языковому типу совершенно неродственных языков, как это было продемонстрировано Бенвенистом в его знаменитом примере — сопоставлении америндского языка такелма с и.-е. языками [16, с. 92—94: 301, примеч. 9]. Отметим также утверждение Р. Якобсона (высказанное, вообще говоря, по совершенно другому поводу), согласно которому "структурное сходство должно рассматриваться независимо от генетической связи между данными

<sup>6</sup> К дальнейшей дискуссии по этому поводу см. [17—21].

языками, оно может одинаково распространяться и на языки с общим происхождением, и на языки, имеющие различных предков. Структурное сходство не противопоставляется первоначальному родству, а налагается на него" (выделено мной. — Б.Х.). Бенвенист продолжает эту мысль: "Самое интересное в группировках по родству в том, что они часто объединяют в одном ареале генетически неродственные языки. Таким образом, генетическое родство не препятствует образованию новых группировок по типологическому родству структуры, а образование группировок по типологическому родству не заменяет генетического родства. Важно, однако, отметить, что говорить о различии между общим историческим происхождением (*filiation*) и типологическим родством (*affinité*) можно только на основе наших современных наблюдений. Если же группировка по типологическому родству установилась в доисторический период, то с исторической точки зрения оно покажется нам признаком генетического родства. Здесь еще раз обнаруживается предел возможностей генеалогической классификации" [16, с. 49—50]. Изложенная здесь аргументация имеет далеко идущие следствия и для реконструкции ностратического как вероятного до-праязыка, и для установления состава ностратической макросемьи. Из недавних работ см. также [24]. В другом месте своего очерка "Классификация языков" Бенвенист упомянул "сходство внутри семьи" и "родство через сцепление", хорошо известные ботаникам, и предположил, что "возможно, лишь этот тип классификации является единственно пригодным для больших группировок языков, представляющих ныне предел наших реконструкций" [16, с. 42]. Тут, конечно же, в первую очередь приходит на ум пример с ностратическим.

Другой вопрос, существенный для настоящей дискуссии и требующий дальнейшего исследования, — это проблема различной степени языкового (точнее, генетического) родства. С ней тесно связан вопрос о методах, используемых для установления времени распада предполагаемого праязыка в отдаленном прошлом. Говоря более конкретно, необходимо вернуться к вопросу о жизнеспособности глоттохронологического метода оценки абсолютной хронологии лексических и морфологических изменений. Мне, во всяком случае, представляется сомнительным, что любое допущение относительно декларируемой стабильности существенных языковых изменений (впервые постулированной М. Сводешом) может быть доказано. Иными словами, какая-либо аналогия с радиоуглеродным анализом, используемым для подтверждения определяемых величин, должна квалифицироваться как иллюзорная<sup>7</sup>. Это, однако, не означает, что усовершенствованный метод оценочной глоттохронологической датировки не может применяться, хотя даже улучшенный так называемый этимостатистический метод, разработанный С. Старостиным, не является, с моей точки зрения, вполне удовлетворительным. В этом контексте я хотел бы, кроме того, отметить, что лично я весьма скептически отношусь к квантитативным методам, применимым только к лексическим данным, извлеченным из отдельных текстов и служащим для определения даты появления отдельных языков или языковых групп и для идентификации соответствующих прародин, как это предлагал В. Манчак<sup>8</sup>.

Другой методологический вопрос, существенный для проблемы разграничения генетического родства и типологической близости языков, — это

<sup>7</sup> Подробнее о моем скептицизме относительно традиционной глоттохронологии и лексико-статистики см. замечания в [12, с. 17—18] со ссылками на работы В. Лемана, Р. Анттилы и И. Дейен. О новом лексикостатистическом методе (использовавшемся для решения вопроса о генетической близости славянских языков) см. [25]. О критике (традиционной) глоттохронологии см. также [26].

<sup>8</sup> В дополнение к уже цитировавшейся работе [5] ср., например [27—30].

вопрос о различных методах лингвистического сравнения. Хорошо известно, что методики, используемые, с одной стороны, для сравнения языков с целью установления общего предка двух или более языков и, с другой стороны, для идентификации структурного сходства, не связанного с происхождением от общего праязыка, обнаруживают некоторые общие моменты. В целом можно, вероятно, утверждать, что отправным пунктом сравнительного метода в традиционном смысле этого слова послужила фонетическая система и морфологическая структура рассматриваемых языков — синтаксические особенности стали учитываться лишь сравнительно недавно (ср., в частности, описание типов линейного порядка значимых единиц, доминирующих в различных языках, — SVO, SOV и т.д., — впервые проделанное Дж. Гринбергом и затем использовавшееся для праиндоевропейского, в особенности П. Фридрихом [31] и В.П. Леманом [32]). В контрастивной же лингвистике основное внимание уделяется функциональному (и семиотическому) аспекту языка, причем предполагается, что формальное и фонологическое выражение грамматических значений играет решающую роль. Следует, однако, иметь в виду, что гринберговская типология синтаксических порядков (*syntactic-sequential typology*) оказывается в целом менее значимой для языков с развитым словоизменением, чем для тех языков, где синтаксическая функция либо не выражается вовсе, либо менее четко маркируется в словоформе.

Интегральный метод языкового сравнения, в связи с которым в последние годы используется термин "внешнее сравнение языков", применявшийся в первую очередь, к потомкам предполагаемого ностратического праязыка, или, скорее, для идентификации членов ностратической макросемьи, не только сочетает различные техники сравнительного (генетического) метода лингвистической реконструкции, включая внутреннюю реконструкцию (основанную на инхронных данных одного языка) и предположения относительно незасвидетельствованных стадий языковой эволюции, основанные на типологических данных и информации о лингвистических универсалиях с сопоставительными (структурно-типологическими) процедурами, но учитывает и явления, квалифицируемые как субстратные, адстратные и суперстратные, или, точнее, то, что связано с языковыми контактами, лексическими заимствованиями, а также фонологической и грамматической интерференцией ареально близких языков или языковых групп.

При применении упомянутых выше понятий и методов к данным индоевропейского следует отметить, что древнейшие засвидетельствованные памятники — на хеттском и микенском греческом — датируются не ранее II тыс. до н.э. Более того, общепринятой является точка зрения, согласно которой и.е. праязык существовал в V—IV тыс. до н.э. Таково, в частности, мнение Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова, детально обоснованное в их монументальном труде об индоевропейском и индоевропейцах [33]. Напротив, хотя в упоминавшейся выше весьма противоречивой книге Ренфрю [8] возможной прародиной древнейших индоевропейцев считается приблизительно тот же ареал, что и в работе [33] — центр локализуется в восточной Анатолии, северной Месопотамии и Закавказье — предполагается значительно более ранний период существования и.е. праязыка (VII—VI тыс. до н.э.).

Столь же запутанной является, разумеется, проблема локализации и.е. прародины. В последние годы наиболее вероятной прародиной считались области, прилегающие к Черному морю или располагающиеся недалеко от него. Таким образом, уже упоминавшийся ближневосточный регион оказывается почти точно соответствующим ареалу, часто идентифицируемому как колыбель индоевропейцев. Хорошо известно, однако, что археолог М. Гимбутас в многочисленных публикациях отстаивала совершенно иную

точку зрения. Согласно ее концепции, древнейшие индоевропейцы могут быть идентифицированы с народом курганной культуры, появившимся в середине V тыс. до н.э. в черноморских степях к северу и северо-востоку от Черного моря, быстро распространившимся оттуда в центральную Европу, Карпаты и в бассейн среднего и нижнего Дуная. Точнее, Гимбутас предполагает несколько волн и.-е. вторжений в центральную и юго-восточную Европу за период с 4500 до 3500 гг. до н.э., причем их высокая мобильность должна была быть связана с тем, чем они использовали лошадей. Основные положения концепции Гимбутас были приняты такими видными лингвистами, как В.П. Леман ([33, с. 251]; см. также [35]) и А. Мартине [36, особенно с. 18—20]. Следует, однако, отметить, что понятие возможной вторичной прародины привлекло в последнее время еще больше внимания. Так, ранние и.-е. поселения на Балканах и в прилегающих с севера районах вполне могли бы рассматриваться как такая вторичная прародина ранних индоевропейцев. Аналогичным образом, не исключено, что ареал распространения древней европейской гидронимии на территории раселения балтийских и, отчасти, славянских народов также свидетельствует о ранних миграциях древних индоевропейцев в направлении западных и южных окраин балтийских и соседствующих с ними территорий. Что же касается индоевропеизации Анатолии в целом, здесь мы, возможно, тоже имеем дело с ранними миграциями индоевропейцев с территории их первоначального расселения в западном направлении. Это, по-видимому, подтверждается не только значительным субстратным компонентом в хеттском лингвистическом материале, но и тем фактом, что анатолийские языки представляют весьма архаичную ветвь индоевропейского, а также самой спецификой их лингвистической эволюции. Последнее обстоятельство, вероятно, может действительно сделать более правдоподобной дискредитированную индоевропеизацию Э. Стертеванта (см., например [37]). Однако тот факт, что хеттский является языком *centum*, в то время как лувийский, по-видимому, относится к типу *satem*, может, как указывал Вяч. Вс. Иванов, свидетельствовать о том, что отдельные анатолийские языки следует возводить непосредственно к праиндоевропейскому, т.е. минуя промежуточную протоанатолийскую стадию. Наконец, в этом контексте вопрос о маршруте, по которому греки заселили свой регион на южной оконечности Балканского п-ова и Эгейские острова, остается открытым. Иными словами, вполне вероятно, что они пришли на свою будущую родину с севера, т.е. через Балканы, но точно так же можно предположить, что они попали в свой регион через Анатолию. Очень древние греческие поселения вдоль западного побережья Малой Азии и тот факт, что древнейшие письменные фиксации греческого языка — таблички, записанные линейным письмом В, — обнаружены на Крите и Пелопоннесе, вероятно, могли бы свидетельствовать в пользу гипотезы о таком маршруте миграции. Возможно, однако, что различные этнические группы греков достигли конечной цели своего пути двумя различными способами: один из маршрутов лежал к северу и западу от Черного моря, другой — к югу от него.

Для гипотетической реконструкции начальной стадии эволюции и.-е. праязыка лингвисты до недавнего времени прибегали к двум методам. Первый (и основной) — это метод внутренней реконструкции, при котором лингвистическая модель праиндоевропейского, которая, в свою очередь, восстанавливалась с помощью сравнительного метода, служила синхронным основанием для обнаружения более ранних стадий и, в конечном счете, начальной фазы и.-е. праязыка. Таким образом, в этом случае основная методика должна состоять в экстраполяции на основании морфонологических и, в некоторой степени, других регулярных чередований, фиксируемых для конечной стадии последней фазы и.-е. праязыка, который еще не распался (по

крайней мере, теоретически) на отдельные языки. Другой подход должен был бы основываться на обобщенных предположениях, полученных типологической лингвистикой и теорией языковых универсалий, основанной на этих предположениях. Таким образом, в определенных случаях для упрощенного изложения правомерно постулировать для праиндоевропейского только один ларингал (обычно обозначаемый через *h*). Однако типологические соображения и рассмотрение указанного допущения в свете теории языковых универсалий позволяют квалифицировать как крайне маловероятное предположение о том, что целый класс звуковых сегментов в некоторый период времени был представлен всего одной единицей. Аналогичным образом, хотя именно изменение тембра гласной под влиянием ларингала заставило некоторых ученых постулировать всего одну гласную — *e* — как единственную "протогласную" и.-е. праязыка, кажется неправдоподобным (по системным соображениям), что какой-то язык в некоторый период времени имел всего один вокалический сегмент, репрезентировавший целый класс гласных<sup>9</sup>. В настоящее время если дальнейшее родство между праиндоевропейским и другими языковыми группами Евразии и Северной Африки — теми, которые в настоящее время известны под названием "ностратические", — действительно может быть установлено, возможно использование еще одного, третьего метода реконструкции древнейшей стадии и.-е. праязыка. В этом случае на фонологическую и грамматическую структуру, а также на лексический материал, которые, по нашим предположениям, должны были характеризовать праиндоевропейский (в том виде, в каком он произошел из более раннего, качественно отличного языкового состояния), должны пролить свет данные о членах ностратической макросемьи языков, находящихся с ним в дальнем родстве. Поэтому в некотором смысле это предполагало бы использование "в обратном направлении" приемов и методов внешнего сравнения языков, на основании которого была бы выдвинута гипотеза о дальнем родстве различных групп ностратических языков, с тем чтобы использовать ее в качестве отправной точки. Иначе говоря, как только будет доступен достаточно надежный корпус данных, свидетельствующих о ностратическом до-праязыке, материалы сравнения с некоторыми из групп ностратических языков, помимо индоевропейской, могут быть, в свою очередь, использованы для объяснения фонетической системы, морфосинтаксической структуры и лексики и.-е. праязыка в его древнейшей стадии. Такое применение сравнительного метода к некоторой стадии языковой эволюции в отдаленном прошлом аналогично, таким образом, — разумеется, с некоторыми существенными оговорками — использованию этого же метода для реконструкции начальных стадий прагерманского, пракеельского, праславянского и других языков-предков различных и.-е. групп. Единственным исключением в этом отношении является, возможно, балтийский, так как некоторые различия между отдельными балтийскими языками, а именно, между западнобалтийским (древнепрусским) и восточнобалтийскими (литовским и латышским), могут восходить скорее к общепалеоевропейскому состоянию, нежели к общебалтийским корням. Аналогичным образом, спорным остается вопрос о том, правомерно ли постулировать существование общебалтийского праязыка наравне, скажем, с праславянским и прагерманским. В связи с дальнейшей дискуссией по этому поводу см. [39].

Как отмечалось выше, ни модель родословного древа, ни волновая модель, использовавшиеся для того, чтобы представить наиболее наглядным образом эволюцию родственных языков, не были признаны удовлетворительными

<sup>9</sup> Более подробно о вкладе типологии в компаративистику см., например [38] и из недавних работ, [39, особенно с. 10—14].

и поэтому дополнялись и, в сущности, в значительной степени вытеснялись другими подходами. В частности, такие понятия, как периферийные vs. центральные инновации и, соответственно, архаизмы добавили новое измерение к нашему пониманию языковых изменений. Столь же важным (или даже еще более существенным) является упоминавшееся выше понимание взаимодействия двух основных направлений в языковой эволюции — дивергенции и конвергенции. Точнее говоря, на всякой эволюционной стадии доминирующей может быть дивергентная или конвергентная тенденция; или же обе тенденции могут взаимодействовать и сосуществовать, обычно воздействуя на различные компоненты языковой структуры.

В связи с проблемой конвергентной языковой эволюции уместно вспомнить, что, как известно, Н.С. Трубецкой в весьма противоречивом сообщении, прочитанном на заседании Пражского лингвистического кружка 14 декабря 1936 г., но опубликованном лишь посмертно, отстаивал концепцию, согласно которой и.-е. языковой тип — а под сомнение ставилось само существование однородного и.-е. праязыка — должен рассматриваться как результат конвергентных языковых эволюций, предшествующих окончательной кристаллизации индоевропейского [40]. По общему признанию, точка зрения, отстаивавшаяся Трубецким, была представлена им несколько односторонне. В связи с тем, что игнорировалась противоположная, дивергентная, эволюционная тенденция, также сыгравшая свою роль при формировании и.-е. праязыка, возможно, что сущность его аргументации часто выпадала из поля зрения ученых, а его идеи подвергались суровой критике без должной оценки. Здесь уместно напомнить высказывание Бенвениста о том, что "генетическая классификация не сводима к типологической, и наоборот" [16, с. 49], что, однако, противоречит его более раннему утверждению: "генетическая классификация является в то же время и типологической" [17, с. 46]. Таким образом, критически оценивая чисто типологическую идентификацию индоевропейского Трубецким (на основе шести отобранных критериев), Бенвенист затем говорит: "Да не будет превратно понята та критика, которая была приведена выше. Она направлена против излишней категоричности некоторых утверждений Трубецкого [sic!], а не против сущности его идей" [16, с. 49]. В связи со статьей Трубецкого уместно указать на комментарий Вяч. Вс. Иванова в [41, с. 413—419]. К упомянутой статье имеет отношение доклад Трубецкого по проблеме взаимосвязей больших языковых семей, представленный на Третьем международном конгрессе лингвистов в 1935 г. [42]; см. также комментарий Вяч. Вс. Иванова в [41, с. 419—420].

В связи с этим следует особо упомянуть о том, что один из великих предшественников современной лингвистики, И.А. Бодуэн де Куртене, рассматривал смешанный характер всех языков главным образом как результат конвергентного развития и языковой интерференции [43]. Для иллюстрации положения смешанных языков и процесса формирования языков, в том числе и праязыков, в результате конвергентного (в дополнение к дивергентному) предшествующего развития интересно процитировать высказывание Бодуэна об армянском, сделанное им в начале нашего столетия [43, с. 365—366]: "Армянский язык причисляется к ариоевропейской отрасли языков, и действительно, многими своими сторонами он к ней принадлежит, но вместе с тем по некоторым частностям его сторон и вообще по некоторым основным особенностям его необходимо поставить рядом с языками, если не тюрко-татарскими или урало-алтайскими, то по крайней мере с языками, очень близкими этим последним. Так, например, в склонении отражение в армянском языке мира внешнего, физического, пространственного происходит большею частью на татарский лад (падежи *Locativus*, *Ablativus*, *Instrumentalis*), отражение же отношений общественных

является продолжением форм ариоевропейских (Genetivus, Dativus, Accusativus). Особый, определенный суффикс множественного числа, очевидно, заимствован, если не из татарского, то во всяком случае и не из ариоевропейского источника. Потеря родовых различий и отсутствие сексуализации всего мира могут быть объяснены тоже только "чужим", не ариоевропейским влиянием. Вопрос об этническом составе армянского языка осложняется еще следующими соображениями: во-первых, исторически известно, что в армянском народе потонуло много евреев и других семитов, населявших некогда армянские города, так что мы должны принять влияние на армянский язык тоже семитических элементов; во-вторых же, не может оставаться без заметных следов на характере армянского языка совместное пребывание армян с другими кавказскими народами, прежде всего с грузинами". Один из выдающихся учеников Бодуэна, Е.Д. Поливанов, применил аналогичные соображения к проблеме происхождения японского языка [44]. Или же возьмем другой пример — неопределенную или "нечеткую" ("floating") позицию того языка, который можно было бы назвать предшественником засвидетельствованного позднее древнепрусского и незафиксированных наречий предков некоторых других западнобалтийских племен — ятвагов и голяди, о языке которых мы можем судить лишь по косвенным и фрагментарным данным гидронимии и типонимии. В данном случае некоторые ученые предполагают, что эти племена — позднее, без сомнения, балтоязычные (после конвергенции, хотя и не полного слияния с предками литовцев и латышей) — первоначально или по крайней мере в течение некоторого времени образовывали часть праславянского (или, точнее, может быть, дославянского) диалектного ареала (см. [45; 46, особенно с. 93—104 и 141—142], где отражена сходная точка зрения; дальнейшая дискуссия отражена, например, в [47, 48]). Наконец, в качестве еще одного примера можно привести высказываемое в последние годы некоторыми славистами утверждение о том, что относительно позднее формирование довольно однородного общеславянского языка-предка произошло только в процессе создания *lingua franca*, общего для различных славянских родов и племен в процессе их контактов с аварами, прежде чем последние исчезли в конце VIII в. (относительно этой необщепринятой концепции см., в частности [49—51])<sup>10</sup>.

Праиндоевропейский рассматривается не просто как один из языков-потомков в составе ностратической семьи языков, но как результат и дивергентных, и конвергентных эволюционных процессов. Комплексный же метод, известный как внешнее сравнение языков, призван установить прежде неизвестные связи и соответствия. Здесь следует отметить, что, вопреки мнению Трубецкого, я считаю, что мы действительно можем постулировать существование некогда реального, живого и.-е. праязыка. Именно благодаря комбинированию приемов компаративистики и типологии метод, использованный для предварительной реконструкции до-праязыков, таких, как праностратический, оказался эффективным. Как уже указывалось, главная задача компаративистики заключается в установлении тождеств и регулярных соответствий в плане выражения родственных языков, в то

<sup>10</sup> Об оценке концепции относительно поздней интеграции и единого развития общеславянского см. рецензию В.М. Живова [52, с. 153—154]. Он указывает, что изоглоссные варьирования северославянского, представленные древненовгородским диалектом (засвидетельствованным письмами и документами на бересте), могут рассматриваться как сохранение на периферии архаичных особенностей. Далее Живов подчеркивает [52, примеч. 11], что конвергентные процессы по-разному воздействуют на разные компоненты языковой структуры. Так, конвергенция стремится в первую очередь свести до минимума или элиминировать фонологические и морфологические различия, в то время как в лексике (и, я бы добавил, в синтаксисе) архаизмы и инновации прекрасно сосуществуют.

время как в центре внимания типологии находятся в первую очередь соответствия и подобия, обнаруживаемые в структуре плана содержания похожих языков, независимо от того, существует ли между ними генетическое родство или нет. Хотя постоянное взаимодействие дивергентных и конвергентных процессов должно учитываться при любого рода сопоставлении нескольких языков, тем не менее не вызывает сомнений тот факт, что компаративистика традиционно обращала особое внимание на дивергентные направления лингвистической эволюции, в то время как языковая типология сосредотачивалась в основном на конвергентных тенденциях развития языков. Ясно, что конвергенция приобретает особое значение при рассмотрении ареально близких языков. Таким образом, идентификация языковых союзов — Sprachbünde (определение которых было впервые сформулировано Трубецким) — является не чем иным, как применением этого метода. В качестве другого примера можно упомянуть, что ареальная конвергенция считалась также одним из факторов, учитывавшихся при недавних попытках доказать или опровергнуть более близкое родство — генетическое или какое-либо иное — между уральской и алтайской языковыми семьями [53]. Тем не менее следует учитывать, что степень структурного сходства, необходимая для установления вполне сформировавшихся языковых союзов (таких, как балканский), намного превосходит как в качественном, так и в количественном отношении соответствия и подобия, требуемые для постулирования макросемей, объединяющих языки, находящиеся в дальнем родстве, — например, ностратические. Кстати, именно по этой причине я оспаривал предположение Р. Якобсона о том, что два чисто фонологических критерия, характерных для большого количества языков Евразии, — просодическая монотонность и фонологическая палатализация — могут считаться достаточными для идентификации особого, хотя и экстенсивного, евразийского языкового союза. Тем не менее не приходится сомневаться в том, что теория языковых контактов, предложенная У. Вайнрайхом [54] и сейчас вновь подвергнутая рассмотрению Р. Филиповичем [55], имеет решающее значение в случае дальнего языкового родства, когда встает вопрос о том, имеем ли мы дело с общим происхождением или влиянием другого языка. В связи с недавней дискуссией об исконных vs заимствованных элементах на материале некоторых групп, входящих в ностратическую семью, см. работу М. Кайзера и В. Шеворошкина [11]. Авторы отвергают утверждение Гамкрелдзе и Иванова о пракартвельских лексических заимствованиях в праиндоевропейском, в то же время принимая гипотезу о семитских заимствованных словах в индоевропейском, выдвинутую названными авторами и Иллич-Свитычем. Они также ставят под сомнение предложенную в [33] локализацию древнейшей прародины индоевропейцев, а также их глоттальную теорию (ее выдвигал также П.Дж. Хоппер).

В заключение, если бы мне пришлось высказать мою собственную позицию в связи с по-прежнему весьма запутанной ностратической проблемой, я бы сказал, что без всяких колебаний принимаю понятие ностратической макросемьи, включающей по меньшей мере шесть языковых семей, как это предполагали Иллич-Свитыч и Долгопольский. Однако мое отношение к такой макросемье — аналогичные соображения могли бы, вероятно, быть применимы и к другим языковым группам столь же крупного масштаба в различных частях света — не могло бы быть основано исключительно на фактах генетического родства в том виде, в каком они излагались выше. Я считаю, что языковые макросемьи (подобные той, которую мы называем ностратической) должны рассматриваться как реальный результат генетических связей, в основе которых лежит дивергенция, и структурных уподоблений.

отражающих конвергентные тенденции в языковой эволюции. Таким образом — и в согласии с некоторыми из идей, сформулированных Бодуэном де Куртенэ, Поливановым и Трубецким, — я считал бы вполне реальной гипотезу о некогда действительно существовавшем ностратическом праязыке. Вероятно, этот язык характеризовался степенью внутреннего единства, сравнимой с тем, что можно предположить, *mutatis mutandis*, для общепалтийского или, возможно, анатолийского в процессе их хронологического и самостоятельного развития из праиндоевропейского. И, вероятно, если основной ареал распространения ностратического праязыка действительно — как это предполагалось — следует идентифицировать с Закавказьем, восточной (и южной) Анатолией и верхним течением Тигра и Евфрата, вполне естественно было бы предположить в качестве более поздних ареалов распространения праиндоевропейцев территории, более близкие в Черному морю, — в районе Понтийских степей, в северной и западной Анатолии и в различных частях Балканского п-ова. В дальнейшем это могло бы послужить по меньшей мере отправной точкой при поиске удовлетворительного объяснения раннего расселения греков в материковой Греции и на Эгейском архипелаге; для объяснения образования вторичного — если не третичного — и.е. ареала в районе Балтийского моря; и, возможно, даже для объяснения до сих пор довольно неясных миграций кельтских племен через западную, центральную и юго-восточную Европу.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kaiser M., Shevoroshkin V. Nostratic // American review of anthropology. 1988. V. 17.
2. Collinder B. Indo-Uralisch — oder gar Nostratisch? Vierzig Jahre auf rauhen Pfaden // Antiquitates Indogermanicae. Gedenkschrift für H.Güntert / Hrsg. von Mayrhofer M. et al. Innsbruck, 1974.
3. Dolgopolsky A.B. On personal pronouns in the Nostratic languages // Linguistica et philologica. Gedenkschrift für B. Collinder / Hrsg. von O. Geschwanter et al. Vienna, 1984.
4. Shevoroshkin V. Indo-European homeland and migrations // Folia linguistica historica. 1987. V. 7.
5. Mańczak W. Le problème de l'habitat des Indo-Européens // Folia linguistica historica. 1984. V. 5.
6. Schmid W.P. "Indo-European" — "Old European" (On the reexamination of two linguistic terms) // Proto-Indo-European: The archaeology of a linguistic problem. Festschrift für M. Gimbutas / Ed. by Skomai S.N., Polomé E.C. Washington, 1987.
7. Pisani V. Indogermanisch und Europa. München, 1974.
8. Renfrew C. Archaeology and language: The puzzle of Indo-European origins. L., 1987.
9. Bomhard A.R. Toward Proto-Nostratic: A new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
10. Dolgopolsky A.B. // BSLP. 1986. T. 81. № 2. Rec.: Bomhard A.R. Toward Proto-Nostratic.
11. Kaiser M., Shevoroshkin V. Inheritance versus borrowing in Indo-European, Kartvelian, and Semitic // JIES. 1988. V. 14.
12. Birnbaum H. Linguistic reconstruction: Its potentials and limitations in new perspective. Washington, 1977. P. 51—60.
13. Birnbaum H. On protolanguages. Diachrony, and "preprotolanguages" (Toward a typology of linguistic reconstruction) // Езиковедски проучвания в чест на акад. В.И. Георгиев. София, 1980.
14. Бирнбаум Х. О двух основных направлениях в языковом развитии // ВЯ. 1985. № 2.
15. Birnbaum H. Divergence and convergence in linguistic evolution // Papers from the 6-th International conference on historical linguistics / Ed. by Fisiak J. Amsterdam; Poznań, 1985.
16. Бенвенист Э. Классификация языков // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963.
17. Birnbaum H. Problems of typological and genetic linguistics viewed in a generative framework. The Hague, 1970. P. 25—28.
18. Birnbaum H. Typology, genealogy, and linguistic universals // Acta Universitatis Carolinae. 1974. Philologica 5: Linguistica generalia.
19. Birnbaum H. Typology, genealogy, and linguistic universals // Linguistics. 1975. № 144.
20. Birnbaum H. Genetische, typologische und universale Linguistik: Einige Überlegungen über ihr hierarchisches Verhältnis // FL. 1975. V. 7.
21. Birnbaum H. Language families, linguistic types, and the position of the Rusin microlanguage within Slavic // Die Welt der Slaven. 1983. Bd 28.

22. *Hjelmslev L.* Language: An introduction. Madison, 1970.
23. *Trubetzkoy N.S.* Gedanken über das Indogermanenproblem // AL. 1939. Bd. 1. P. 82 (= Trubetzkoy N.S. Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968. S. 217).
24. *Шмидт К.Х.* Значение новых данных для реконструкции праязыка // ВЯ. 1988. № 4. С. 7—11.
25. *Журавлев А.Ф.* Лексикостатистическая оценка генетической близости славянских языков // ВЯ. 1988. № 4.
26. *Collinder B.* Das Postulat der Verständigung. Zur Kritik der Glottochronologie // Abzeiger der Phil.-Hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 1971. Bd 108.
27. *Mańczak W.* Praojczyzna Słowian. Wrocław, 1981.
28. *Mańczak W.* Origine méridionale du gothique // Diachronica. 1984. V. 1.
29. *Mańczak W.* Język staropruski a praojczyzna Słowian // Acta Balto-Slavica, 1986. V. 17.
30. *Mańczak W.* L'habitat primitif des Goths // Folia linguistica historica. 1987. V. 7.
31. *Friedrich P.* Proto-Indo-European syntax: the order of meaningful elements. Butte, 1975.
32. *Lehmann W.P.* Proto-Indo-European syntax. Austin; London, 1974.
33. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. 1—2. Тбилиси, 1984.
34. *Lehmann W.P.* Linguistic and archaeological data for handbooks of Proto-languages // Proto-Indo-European: The archaeology of linguistic problem (Festschrift M. Gimbutas) / Ed. by Skomal S.N., Polomé E.C. Washington, 1987.
35. *Martinet A.* Des steppes aux océans. L'indo-européen et les "Indo-Européens". P., 1986.
36. *Cowgill W.* More evidence for Indo-Hittite: The tense-aspect systems // Proc. of the Eleventh International congress of linguists / Ed. by Heilmann L., V. 2. Bologna, 1975.
37. *Jakobson R.* Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics // Proc. of the Eighth International congress of linguists. Oslo, 1958.
38. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* Système de langue et principes de reconstruction en linguistique // Diogenes. 1987.
39. *Stang C.S.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsø, 1966. S. 1—21.
40. *Trubetzkoy N.S.* Gedanken über das Indogermanenproblem // L., 1939. V. 1. (=Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1988).
41. *Трубецкой Н.С.* Избр. тр. по филологии / Под ред. Гамкрелидзе Т.В. и др. М., 1987.
42. *Trubetzkoy N.S.* Riposta: Il problem delle parentele tra i grandi gruppi linguistici // Atti del III Congresso Internazionale dei linguisti (Roma, 19—26 settembre 1933) / Ed. Migliorini B., Pisani V. Firenze, 1935.
43. *Бодуэн де Куртэнэ И.А.* О смешанном характере всех языков // Бодуэн де Куртэнэ И.А. Избр. тр. по общему языкознанию. Т. 1. М., 1963.
44. *Иванов Вяч. Вс.* О становлении структурного метода в гуманитарных науках славянских стран и его развитие до 1939 г. // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984. С. 245; 258, примеч. 28—30.
45. *Журавлев В.К.* К проблеме балто-славянских языковых отношений // Baltistica. 1968. Т. 4. С. 173—175.
46. *Горнунг Б.В.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства // V Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1963.
47. *Birnbaum H.* O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prąsłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej metody porównawczej (Kilka uwag o stosunku różnych podejść) // American contributions to the Seventh International congress of Slavists. V. 1: Linguistics and poetics / Ed. by Matejka L. The Hague; Paris, 1973.
48. *Birnbaum H.* Common Slavic: progress and problems in its reconstruction. Columbus, 1979.
49. *Lunt H.G.* On Common Slavic // Zbornik Matice sprske za filologiju i lingvistiku. 1984—1985. T. 27—28. S. 420.
50. *Lunt H.G.* Slavs, Common Slavic, and Old Church Slavonic // Litterae Slavicae mediae aevii (Festschrift F.V. Mareš).
51. *Lunt H.G.* On the relationship of Old Church Slavonic to the written language of Early Rus' // R.Ling. V. 11. P. 135, 144.
52. *Живов В.М.* // ВЯ. 1988. № 4. Рец.: Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 гг.) // ВЯ. 1988. № 4.
53. *Sinor D.* The problem of the Ural-Altai relationship // The Uralic languages: Description, history and foreign influences / Ed. by Sinor D. Leiden, 1988.
54. *Weinreich U.* Languages in contact: findings and problems. N.Y., 1953.
55. *Filipović R.* Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb, 1986.

Перевел с английского Куликов Л.И.

© 1993 г. КУБРЯКОВА Е.С.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗНАКА

*Памяти Р. Якобсона*

Не вызывает никакого сомнения, что понятие знака принадлежит к числу фундаментальных понятий лингвистики и что само определение языка как семиотической системы связывает исследование главных свойств языка с той или иной интерпретацией знака. Такой путь анализа был намечен и известной статьей Р. Якобсона [1]. Как подчеркивал Х. Спанг-Хансен в своей работе о теориях знака, "вопрос о природе языковых знаков является... основой (the heart of) дальнейшего вопроса о природе самого языка" [2, с. 14]. Хорошо известно вместе с тем, что в разных знаковых теориях понятие знака трактуется нетождественно и что даже исходные определения знака различаются уже потому, что знак объявляется односторонней, двухсторонней, трехсторонней и еще более сложной сущностью. И хотя истолкование знака менялось не только потому, что ему приписывали разное количество "сторон", усложнение знаковой теории особенно очевидно при сравнении схемы Ф. де Соссюра с разнообразными трехугольниками и схематическими представлениями еще более сложного характера. В этой связи показательна, например, схема знака у Дж. Петёфи [3]. Такое положение дел явно соответствует общей тенденции в развитии наук — постоянному пересмотру исходных, ключевых понятий науки, ее "базисных предположений" (Р. Коллингвуд), притом пересмотру, происходящему не только с целью уточнения понятия, но и для того, чтобы решить вопрос о его применимости и пригодности в новой парадигме знания.

Становление каждой новой научной парадигмы знания надо, по всей видимости, связать не только с признанными всеми научными достижениями, "которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений" [4, с. 11], но и с глубоким критическим переосмыслением того, что входило в область "предпосылочного знания" в соответствующей науке.

Именно в свете возрождаемой ныне герменевтической традиции должны быть осмыслены по-новому и мысли о том, что без истории предмета нет теории предмета, и о том, что достижение нового знания предполагает уяснение границ и пределов незнания, и, наконец, о том, что результаты исследований, полученные на предыдущих этапах развития науки, которые с точки зрения новой парадигмы входят в сферу предпосылочного знания, могут интерпретироваться лишь как "предпонимание" (ср. [5, с. 18—19]). Человеческий опыт, в том числе и научный, приобретает смысл тогда, когда он включается в определенную традицию и оценивается в рамках этой традиции. Все это верно и для лингвистики: с приходом новых парадигм знания мы вынуждены обращаться заново к базисным ее концептам, осмысливать их лишь как фиксировавшие определенные горизонты бытия и сознания и теперь обязательно нуждающиеся в новом их понимании уже оттого, что изменились фон и традиция их рассмотрения. Эти посылки представляются существенными и для того, чтобы вернуться к определению знака у Р. Якобсона и оценить по достоинству его вклад в развитие современных семиотических идей.

Хотя освоению творческого наследия Р. Якобсона за годы, прошедшие со дня его смерти в июле 1982 г., посвящались неоднократно не только специальные издания, но и целые конференции и симпозиумы (см. [6, с. 1—7; 7]), широкий круг проблем, затронутых в его многочисленных выступлениях и публикациях, делает весьма затруднительным не только представление его научной биографии, но даже выделение главных тем в творчестве этого замечательного ученого. Фонология и поэтика, общее языкознание и нейролингвистика, грамматика и стилистика, анализ детской речи и анализ дискурсивных особенностей текста — во всех этих областях Р. Якобсон сказал свое веское слово, предопределив направление и программы исследований будущего. Быть может, еще не до конца оценены и те его идеи, которые послужат импульсом и для новых направлений в лингвистических и междисциплинарных исследованиях. Но уже сейчас ясно, что влияние Якобсона на развитие нашей науки было очень велико. Особенно значительным было влияние идей Р. Якобсона в области междисциплинарных связей. Как справедливо подчеркивает Вяч. Вс. Иванов, задолго до оживления семиотических изысканий во всех крупных центрах мира Р. Якобсон ратует за построение общей науки о знаковых системах, заложеной еще в прошлом веке Пирсом [7, с. 25]. Но, пожалуй, еще более важно то, что блестящие мысли Р. Якобсона о знаке вообще и языковом знаке в частности позволяют считать его предтечей того формирующегося сегодня конструктивного направления, которое стремится к синтезу и интеграции парадигм научного знания, до сих пор развивавшихся преимущественно в обособлении друг от друга. Речь идет о слиянии и органичном соединении когнитивного подхода, с одной стороны, коммуникативно-функционального, с другой, и, наконец, герменевтического, с третьей.

Творчеству Якобсона было присуще в удивительной степени чувство нового. Характерное для него умение увидеть в казалось бы разрозненных явлениях нечто единое, почувствовать глубокий параллелизм в строениях и организации разных по своему субстрату систем, определить подлинный изоморфизм в тенденциях развития самых разных наук — все это, как кажется, явилось следствием общего семиотического подхода к изучаемым им явлениям. Обнажая путем широких аналогий принципиальную одинаковость главных закономерностей в физике и биологии, литературоведении и социологии, антропологии и искусствоведении, математике и поэтике, психологии и лингвистике, он, несомненно, связывал такое тождество с присутствием в каждой из наук знаковых сущностей и актов семиозиса.

Среди основных тем его разностороннего творчества особенно выделяется тема связи лингвистики с другими науками [8]. Возможно, ни один мыслитель XX в. не сделал так много для включения лингвистических проблем в методологические проблемы общего характера, в общенаучный контекст — все увиденные, все обнаруженные им связи, весь подчеркнутый параллелизм явлений в разных науках представляли в концепции Якобсона как имеющие семиотическое обоснование. Как подчеркивал Ч. Моррис, "важное значение семиотики как науки кроется в том, что это — определенный шаг вперед в унификации науки, поскольку она закладывает основы любой другой частной науки о знаках — такой, как лингвистика, логика, математика, риторика и (по крайней мере до известной степени) эстетика. Понятие знака может оказаться важным для объяснения социальных, психологических и гуманитарных наук..." [9, с. 38]. В учении Р. Якобсона о знаке дано глубокое объяснение этой возможности.

Рассуждения о знаке нередко связаны у самого Р. Якобсона с освоением более ранних традиций. Так, иронизируя над тем, что Ф. де Соссюру "множественно воздавалась хвала за ... изумительную новизну" [1, с. 102], —

новизну интерпретации языкового знака как неразложимого единства означающего и означаемого, он отмечает, что основы такой интерпретации были заложены уже стойками, а позднее они получили дальнейшее развитие в трудах Августина, терминологию которого любил использовать и сам Якобсон. Можно только пожалеть в связи с этим, что в переводах трудов Якобсона на русский язык термины "signans" и "signatum" заменяются, в соответствии с сосюррианской традицией, на "означающее" и "означающее", ибо для Якобсона была важна именно историческая перспектива в развитии учения о знаке. "Определение схоластов *aliquid stat pro aliquo*, — пишет он в своей более поздней работе, — остается в силе для любого знака, для каждой из его составных частей" [10, с. 63]. Это определение принимал и К. Бюлер.

Прежде чем перейти к анализу строения знака у Якобсона, хочется указать на то, что определение знака как представителя чего-то вне знака и вместо знака Якобсон относит также к его составным частям. Подобное примечание кажется весьма важным, так как оно, собственно, открывает дорогу интерпретации знака как сущности односторонней: в качестве знака может быть осмыслена фонетическая или графическая сторона знака, его тело (см., например у В.М. Солнцева [11, с. 238—239]) или же, наоборот, его значение (А.Ф. Лосев отмечал: "значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста" [12, с. 125]). И все же, когда мы воспринимаем дым как знак костра или след на песке как знак человека, мы осмысляем эти величины лишь в определенном конвенциональном отношении, восстанавливая либо привычную связь двух явлений, либо прямое указание одного явления на другое. В языковом знаке всё происходит несколько сложнее: хотя план выражения знака и связан "неразрывно" с планом его содержания и хотя асимметрия знака имеет, действительно, место, такая асимметрия обладает своим собственным диапазоном для каждого отдельно взятого знака. К тому же вряд ли можно считать, что две стороны знака полностью рядоположны: утверждая, что тело знака имеет некую форму (звуковую или графическую), мы указываем на нечто, имеющее онтологический статус, однако утверждая, что знак имеет значение, мы не можем приписать значению такой же модус существования, как, скажем, последовательностям *дерево* или же *arbor* [13, с. 15]). Точно так же, исходя из любого конвенционального знака, мы должны прийти к его одному или нескольким, но определенным значениям, но идя от какого-либо концепта, мы приходим к достаточно разнообразным языковым формам (ср. решение кроссвордов). Таким образом, хотя метонимический или синекдохальный принципы и дают возможность считать одну из двух сторон знака знаковой сущностью (ср. *pars pro toto*), понятно, почему концепция знака как односторонней сущности получила меньшее распространение, чем двухсторонняя, которую развивает и Р. Якобсон.

Защищая преимущества подобной трактовки знака, он отмечает вместе с тем, что "структура этого единства только с недавних пор стала предметом систематического исследования, и ученым предстоит еще очень много сделать в этом направлении" [10, с. 42]. Наибольший вклад в проблему строения знака внес, по его мнению, Ч.С. Пирс, которого он считает родоначальником семиотики и про которого пишет: "Если бы работы Пирса не остались большей частью неопубликованными вплоть до тридцатых годов или если бы, по меньшей мере, его опубликованные работы были известны языковедам, они, несомненно, оказали бы ни с чем не сравнимое влияние на развитие лингвистической теории в мировом масштабе" [1, с. 103]. По сути дела, концепция знака, предлагаемая Якобсоном, представляет собой глубокое развитие нескольких положений Ч. Пирса, с той только разницей, что в трудах Якобсона они получают достаточно четкое и конкретное истолкование

и — что особенно для нас важно — лингвистическое осмысление. Показательно поэтому, что изложение своих собственных взглядов Якобсон почти всегда начинает с изложения взглядов своих предшественников. Акт семиозиса, например, он рассматривает, вслед за Пирсом, как состоящий в том, что некая материальная сущность становится способной представлять нечто за пределами этой сущности. Черная кошка, перебегающая дорогу, представляет не ее саму, а опасность или неприятности. Точно так же звуковая последовательность *arbor* в системе латинского языка существенна не как определенным образом организованное следование звуков, но как возбуждающая представление о дереве.

Материальность, субстанциональный характер знака, наличие у него собственного "тела" — это такое же неотъемлемое свойство знака, как передаваемое им содержание, и этой стороне знака надо уделять не меньшее внимание, чем его значению. Якобсон любил в этой связи цитировать тезис Пирса о том, что *signans* — воспринимаемо, осязаемо, тогда как *signatum* — схватываемо разумом, постижимо, интерпретируемо (*intelligible*) или, как часто разъяснял это Якобсон, — переводимо (*translatable*) [14, с. 268, 274—275, 345, 565]. Именно это определение знака и подвергается в работах Якобсона всестороннему исследованию, т.е. приводит его к формулировке важнейших постулатов знаковой теории.

Так, если знак материален, коды или семиотические системы, построенные с участием разных по своей субстанции знаков, воспринимаются по-разному и нетождественны по своему положению в жизни общества: знак воспринимаем, но зрительный знак воспринимается не так, как слуховой, аудитивный, а слуховой — не так, как тактильный и т.п. Абстрактная живопись нередко вызывает раздражение, ибо мы привыкли видеть за зрительными сигналами нечто реальное; напротив, слыша музыку, мы не ждем, что она как-то соотносится с реальностью [14, с. 335 и сл.]. Для визуальных знаков огромную роль играет категория пространства, для аудитивных — категория времени [14, с. 338]. Тела знаков тесно связаны с функциями, которые они могут выполнять, а потому далеко не безразлично, с какой модальностью связано знаковое средство и то, как оно репрезентирует нашему уму содержание знака. Все пять чувств несут в современном обществе свою собственную семиотическую функцию, и все связанные с ними знаки могут классифицироваться прежде всего по той субстанции, которая оказывается знаконосителем, — и рев сирены, и витрины магазинов, и улыбка на лице человека выступают для нас как репрезентирующие конкретные смыслы, и можно выявить предрасположенность знаков определенной модальности к передаче известного, конвенционального содержания.

Устная и письменная речь, демонстрирующие использование разных по своему типу знаков, обладают специфическими особенностями своей организации уже потому, что для графических знаков в принципе существует возможность использовать их зрительные и пространственные характеристики (двухмерность плоскости становится важным ориентиром в понимании текста, точно так же зрительная закрепленность текста позволяет при необходимости возвращаться к любому месту текста, а шрифтовая разбивка иконически свидетельствует об иерархическом подчинении одной части текста другой и т.п.).

Уже на пути простейшей классификации знаков по той субстанции, которая оказывается знаконосителем, возможно подойти к пониманию особенностей языковых знаков, да и различить разные типы таких знаков, но в классификации знаков надо использовать и другие параметры: так, например, все языковые знаки интенциональны, т.е. специально предназначены для передачи значения. В то же время следы на песке отнюдь не

оставлены для того, чтобы кого-то опознать, а температура у человека поднимается не с целью свидетельствовать о его болезни.

Особое отношение Jakobsona к телесности знака делает его первым лингвистом, который, в отличие от Соссюра, считавшего знак психической сущностью, объединяющей акустический образ знака (обычно — слова) с понятием, полагал, что знак сочетает не две ментальных сущности, а материальную с идеальной. Устройство знака он объясняет не его соотношением с неким объектом вне знака или же его референтом, как это обычно делается, но его внутренней организацией, внутренним строением. Классификацию знаков, которую в семиотической теории интерпретируют чаще всего как построенную на учете соотношения разных типов знаков с объектами вне знака [15], Jakobson неизменно характеризует как зависимую исключительно от того, как тело знака определенной природы репрезентирует свое содержание, т.е. от того, как соотносятся между собой *signans* и *signatum* знака. Комментируя Пирса, он выделяет вслед за ним три типа знаков, указывая, что "действие иконического знака основано на фактическом подобии означающего и означаемого", а действие индекса — "на фактической, реально существующей смежности означающего и означаемого", тогда как действие символа основано на "установленной по соглашению, усвоенной смежности означающего и означаемого" [1, с. 104].

Подобно тому, как Соссюра мы можем считать первым в области семиотической трактовки собственно языковых знаков, Jakobsona мы можем по праву считать первым ученым, который, разъяснив суть классификации знаков у Пирса, продемонстрировал наличие в языковой системе не только идеальных знаков-символов, но и обязательное присутствие в ней индексальных знаков, которые он специально описал под именем шифтеров, а также иконических знаков и явлений так называемого диаграмматического иконизма. Сложность языковой системы предстала тогда перед нами не только как манифестируемая особой организацией знаков разного типа, но и как проявляющаяся в ее гетерогенности, наличии в разных ее участках индексов, иконических знаков и символов. Как прекрасно сформулировал позднее Ю.С. Степанов, в классификации семиотик и, по всей видимости, самих знаков "необходимо учитывать различные ступени знаковости" [16, с. 82].

Классификацией Пирса-Jakobsona наносится сильный удар по тезису Соссюра о немотивированности и произвольности знака и существенно пополняется тезис о линейности знаков.

Так, указывая на важность взаимодействия знаков при функционировании языка и на то, что, действительно, как подчеркнул Соссюр, язык характеризуется двумя типами связывания знаков, позднее названными синтагматическим и парадигматическим связыванием, Jakobson отмечает, что М. Крушевский не только тоже выделял два названных типа отношения, но и дал им более приемлемое, на его взгляд, объяснение и имя — он противопоставлял ассоциации знаков по смежности и по сходству. Такое точно связывание Jakobson усматривает и в строении знаков, отмечая, что языковые знаки, т.е. символы, организованы по принципу смежности (*contiguity*), ибо две стороны знака предполагают друг друга [14, с. 273]. Продолжая эту мысль, можно было бы сказать, что иконический знак использует вторую из указанных возможностей, ибо здесь означаемое и означающее знака объединены в силу их сходства. Более того, в отличие от Соссюра и Крушевского Jakobson отмечает, что и отношения смежности, контакта знаков в линейной цепи должны быть уточнены. "Es ist Statteinander zum Unterschied vom Miteinander und vom Nacheinander" [14, 274], — пишет Р. Jakobson, фактически предлагая различать в сочетаемости знаков либо линейную, синтагматическую, последовательную аранжировку знаков — цепочку (*Kette*), либо симультанный

пучок признаков, одновременное соединение и даже "наложение" знаков (Bündel). Именно по последнему образцу устроен и знак, изоморфный в этом отношении музыкальному аккорду, одновременному сплаву и слианию, — здесь единству означаемого и означающего.

Таким образом, параллельно бодуэновскому противопоставлению *Nebeinander* и *Nacheinander*, параллельно соссоровскому противопоставлению (дихотомии) знаков *in praesentia* знакам *in absentia*, наконец, параллельно глоссематическому противоположению конъюнкции "и — и" и дизъюнкции "или — или" надо признать важным и якобсоновскую оппозицию двух типов комбинаторики знаков — линейной сочетаемости и симультанной совместимости. В устройстве знака можно видеть тогда именно этот последний признак: смежность и ассоциацию означаемого и означающего.

Рассмотрев последствия постулата о том, что знак воспринимаем, обратимся теперь к постулату о том, что знак объясним, осмыслен, т.е. перейдем к анализу второй стороны знака — его означаемого. Думается, что с современной точки зрения вопрос о значении знака должен быть сформулирован как вопрос о том, какое концептуальное или когнитивное образование подведено под "крышу" знака, какой квант информации выделен телом знака из общего потока сведений о мире. Ведь в самом общем виде значение знака может быть, по всей видимости, определено как "концепт, связанный знаком" [17, с. 70; 18, с. 106]. "Семантика, — пишет Р. Якобсон, — это ядро лингвистики и вообще любой теории знака" [19, с. 134], и, что самое важное, "значение может и должно определяться в терминах чисто лингвистических разграничений и отождествлений" [20, с. 236]. Подобная установка фактически отличает Якобсона не только от "реистов", которые уверены в возможности выявить значение знака объективным путем, через указание на обозначенный объект, но и от "формалистов", стремящихся определить значение знака через его формальное положение в семиотической системе. Резкой критике подвергаются Якобсоном и те и другие. Нельзя, например, не признать убедительности доводов ученого, когда он описывает реальные трудности чисто остенсивного определения значения в ситуации указания индейцу на пакет сигарет "Честерфилд" [14, с. 565]. Феномен неопределенности остенсивных указаний мы описали и в становлении детской речи [21, с. 177 и сл.]. Если ребенку демонстрируют люстру с горящими лампочками и повторяют при этом "огонек", как может узнать ребенок, что именно имеют при этом в виду — всю люстру в целом, отдельные лампочки, свет от них или еще что-либо? Вместе с тем скептическая оценка возможности остенсивного определения, идущая еще от Л. Витгенштейна, оправдана лишь для единичных актов референции. В условиях же повторного опыта, постоянного уточнения при соотнесении обозначаемого и его имени, в практической деятельности с объектом и т.п. остенсивные указания обладают, конечно, огромной важностью и помогают, путем исключения одних смыслов и подчеркивания других, выявить значение имени с достаточной степенью определенности [18, с. 104]. Акцент Якобсона на необходимость дать значению лингвистическое истолкование касается прежде всего поэтому не столько отрицания самого референтного аспекта значения, сколько невозможности ограничиться одним этим аспектом.

Семантическая концепция Якобсона привлекает своей ясностью, четкостью постановки проблемы и весьма перспективными направлениями поиска ответа на поставленные вопросы. Чтобы понять знак, нужно его интерпретировать. Интерпретация знака — это операция, достигаемая при замене исходного знака другим знаком или — более обычно — набором знаков. Значение любого знака, в частности слова, неопределимо без обращения к вербальному коду. К тому же никакие отсылки к объектам не могут объяснить феномен значения, хотя, быть может, и могут помочь, как мы

видели выше, установить отдельное значение имени. Кардинальное свойство знака — передавать значение — Якобсон сводит к понятию интерпретируемости или же переводимости знака, т.е. к возможности представить его содержание другими, более эксплицитными, развернутыми знаками. Хотя сам Якобсон ссылается при этом на Пирса, у которого уже сформулировано семиотическое определение значения символа как его "перевода в другие символы" [20, с. 236], аналогичные мысли высказывались и другими семиотиками. Так, К. Бриттон уже указывал на то, что значение знака X складывается из всех тех знаков того же языка, которые взаимозаменяемы с X по правилу, причем последнее замечание вводится в аналитическое определение значения знака, ибо в языке существуют слова, у которых нет референта, но которые, подобно словам *нет*, *некий* или *немного*, могут быть заменены другими знаками [2, с. 63—64].

Для определения значения знака ему следует поставить в соответствие эквивалентное ему выражение, а это достижимо тремя разными способами: 1) используя другой знак того же кода, т.е. синоним, 2) используя другие знаки того же кода, т.е. парафразу или же 3) используя знаки другого семиотического кода, т.е. прибегая к переводу. Таким образом, способное установить значение знака является обнаружение для него равнозначных преобразований: операции такого рода именуются Якобсоном "метаязыковыми" (ср. также [14, с. 260]; вслед за Якобсоном их именуют также операциями "знак за знак" [22, с. 15]). Центральной проблемой семантики становится тогда установление семантической эквивалентности двух языковых выражений, обнаружение их равнозначности, лингвистического тождества и нетождества. При таком ракурсе рассмотрения в новом свете предстают отчасти исследования Ю.Д. Апресяна о лексической синонимии [23], работы о грамматической синонимии (из последних работ этого направления см., например [24]) и, конечно же, семиотическая грамматика Ю.С. Степанова [25]. Все исследования этого рода можно считать вкладом в решение проблемы исчисления интерпретационных возможностей знака, в связи с чем обращает на себя внимание и интерпретация того же вопроса в словообразовании, при изучении номинализаций и установлении семантических сходств и различий у разноструктурных обозначений одного и того же объекта (см. подробнее [26]).

Как отмечает Ю.С. Степанов, путь к решению проблемы семантической эквивалентности лежит в разделении планов выражения и содержания, а далее — в разделении плана содержания на денотативную, или экстенциональную, сферу и понятийную, сигнификативную, или интенциональную. С помощью такого разделения можно прийти к разрешению вопроса об эквивалентности нескольких предложений, которая оказывается в одних случаях эквивалентностью по денотату — это то, что устанавливается посредством парафраз, а в других — эквивалентностью по сигнификату — это устанавливается посредством трансформаций [25, с. 136]. Таким образом, специализированные или же формализованные операции "знак за знак" позволяют обнаружить разные аспекты значения, а полисемия может трактоваться как способность знака быть интерпретированным несколькими аналитическими дескрипциями, не сводимыми друг к другу. Интересно также вспомнить о мысли Якобсона, которая заключается в том, что чем более развернут знак, чем более эксплицитным он является, т.е. чем объемнее его дефиниция, тем большую роль играет он в коммуникации в том отношении, что снимает многозначность знака (ср. [27, с. 313]). Возможно предположить в связи с этим, что протяженность знака отражает иконически его семантическую сложность (ср. одинаковые по денотату, но разные по способу представления их значения разноструктурные номинации типа

*швейник* в отличие от *работник швейной промышленности, трубочист* или *тот, кто чистит дымовые проходы, трубы* и т.д.).

Важной частью семантической концепции Якобсона является также использование им понятия знаковой интерпретанты. Заимствованное у Ч.С. Пирса, оно приравняется в более ранних работах Якобсона к понятию значения. Так, в 1952 г. он подчеркивает, что по Пирсу, чтобы понять знак, нужна интерпретанта — то, как может быть объяснен знак или как он может быть переведен; в интерпретанте — ключ к решению семантических проблем, "база для изучения значения" [14, с. 565]. Продолжая эту линию отождествления интерпретанты знака с его значением, он указывает, что интерпретанты у знака две — одна связывает его с кодом, а другая — с контекстом его использования [14, с. 244]. Но если интерпретантами знака могут называться все языковые конструкции, отвечающие правилам семантической эквивалентности как в системе языка, так и в дискурсе, если вообще один знак может быть объяснен другими цепочками знаков, разными по своему характеру, — дефинициями, аналитическими дескрипциями, парафразами, трансформациями и т.д., — тогда в теории можно вполне закономерно поставить вопрос о том, нельзя ли разграничить понятие языкового значения, с одной стороны, и понятие интерпретанты, с другой.

Комментаторы Ч.С. Пирса не раз отмечали, что у него самого понятие интерпретанты носит весьма неясный характер [28, с. 597], но все-таки при ссылках на Ч.С. Пирса в виду имеется эффект, производимый знаком. "Обобщенное учитывание", о котором говорит Ч. Моррис в связи с объяснением понятия интерпретанты, тоже, при всей своей неопределенности, относится прежде всего к воздействию знака на его интерпретатора. Представители естественной морфологии, предлагающие использовать это понятие для более адекватной характеристики акта семиозиса, объясняют интерпретанту знака как то в его содержании, что указывает скорее на способ представления значения в знаке. Интерпретанта знака — это то, в каком отношении произведено обозначение объекта данным знаком [22, с. 15], — указывает В. Дресслер, цитируя К. Бюлера. Впрочем, тут же им приводятся и другие определения интерпретанты, делающие данное понятие достаточно расплывчатым. Думается в то же время, что заслуга Р. Якобсона, обратившего внимание на необходимость вернуться к понятию интерпретанты у семиотиков прошлого, — заслуга исключительная и что с помощью этого понятия можно продолжить выделение в знаке не только денотативного, сигнификативного и коннотативного аспектов его значения, вычлняя в составе коннотаций знаков разные начала, как это делает В.Н. Телия [29]. Можно, однако, пойти и по другому пути, противопоставляя когнитивно-фактуальную информацию, передаваемую знаком, прагматике знака. Можно, наконец, предложить достаточно расчлененную серию интерпретант — так, чтобы с их помощью раскрывались разные стороны значения знака — когнитивно-информационное, концептуальное, прагматическое, эмоциональное и экспрессивное и т.д.

Возникая в акте семиозиса, знаки приобретают в этом акте свое строение и свое внутреннее устройство — в зависимости от того, как они соотносят свое означаемое со своим означающим. Их дальнейшее функционирование тесно связано с тем, какому модусу этого соотношения они следуют — иконическому, индексальному или же символическому. Как подчеркивает В.А. Виноградов, знаки ведут себя по-разному в языке и в речи, что можно интерпретировать прежде всего как их способность к разным организациям и объединениям в системе и тексте. По всей видимости, можно полагать, — указывает В.А. Виноградов, — что вообще система языка (код) и дискурс (текст) имеют разные семиологические характеристики: система ориентиро-

вана на символизацию, текст — на иконичность, и это различие является одним из факторов языковой динамики [30, с. 2433]. Продолжая эту интересную линию анализа, можно было бы сказать, что ориентация на разные типы знаков имеет свои глубокие основания: так, иконичность знаков легче всего проявится в тексте из-за его пространственного расположения, прежде всего линейной протяженности текста. Напротив, индексальности могут способствовать такие свойства устной речи, как возможность менять ее ритм, звучность, тембр и т.п. Произвольность же знаков в идеальном случае подходит для символизации еще и потому, что это обеспечивает отсутствие ограничений на множество создаваемых знаков, обладающих этим качеством. Слова с условным соотношением их формы и содержания идеальны для номинации; предложения, организованные "в одну сторону", своим способом такого развертывания легко делают схему предложения иконическим образом ситуации. Реализация предложений в определенном порядке открывает возможности диаграмматического иконизма, тогда как в строении самой системы иконизм может проявиться только там, где отдельные участки этой системы должны быть иерархизированы. Для сферы номинации может быть, конечно, использована и индексация — существуют целые терминологические системы, где индексальные знаки выполняют особую роль, и т.д.

Если число подлинно иконических знаков связано чисто онтологически реальным сходством объектов или сходством расположения их частей, если число индексальных знаков тоже ограничено объективной экзистенциальной смежностью объектов или же связанностью объектов в определенной структуре деятельности, то произвольность символов ничем и не ограничена. Однако самые большие и интересные последствия имеет возможность создания знаков смешанного типа — производных и сложных слов, где иконичность пронизывает все устройства знака в целом, а символизация относится лишь к внутренней организации его частей. Если по аналогии с синтаксисом словосочетаний и предложений ученые уже давно говорили о внутреннем синтаксисе производных и сложных слов, сегодня можно было бы дать этому факту и семиотическую интерпретацию, а также начать серию исследований о глубоком изоморфизме слова и предложения в чисто конструктивном смысле: композиционная сложность предложения и композиционная сложность развернутых морфологических структур в дериватах разных типов могут получить свое объяснение только с единых позиций. В комбинаторике же знаков разного типа могут быть обнаружены разные закономерности. Таким образом, путь, открытый Якобсоном, еще надо пройти до конца: ориентированный на глубокое понимание того, что знаки разной модальности и разного типа выполняют в обществе разные семиотические функции и что в языке это различие имеет свои собственные рефлексии, путь исследования предполагает и более глубокое изучение самого акта семиозиса в разных его ипостасях. Освоение наследия Якобсона может быть конструктивным шагом в этом направлении.

Хочется в заключение вернуться еще к одному моменту творчества Р. Якобсона — его любви к предшественникам, к традициям прошлого. Обладая острым критическим умом и зачастую опровергая многие устоявшиеся мнения, он вместе с тем учил нас бережному отношению к тем крупницам мудрости, которые находил у тех, кто предшествовал ему. Именно эти уроки Якобсона и не следует забывать.

В "Основаниях теории знаков" Ч. Моррис отмечает, что, согласно учению стоиков, процесс семиозиса описывался как включающий три или же четыре фактора: то, что выступает в качестве законосителя (тела знака); то, на что указывает знак, или то, к чему он отсылает; воздействие знака и, наконец, его интерпретатора [10, с. 39]. Знак только

потому знак, что он интерпретируется как знак неким интерпретатором, т.е. имеет некую интерпретанту. Более того. Понять то, к какой интерпретанте готовит интерпретатора знак, можно только путем обращения к другим знакам. Знаки живут в системе, данной интерпретаторам, и не случайно одно из определений знака гласит, что знак существует исключительно как единица определенной семиотической системы. Но систему эту создали люди: без человека нет знака. Вот почему, принимая многие замечательные идеи Р. Якобсона об устройстве знака и особенностях его функционирования, в адекватной концепции знака к его определению должны быть подключены сведения и об интерпретаторе, и о воздействии знака. Как подчеркнул Ю.С. Степанов, в развитых знаковых системах знак имеет особенно сложное устройство, так как со знаком контактируют, по крайней мере, еще две материальные системы, которые, к тому же, контактируют и между собой. Знак — это посредник между человеческим мозгом и миром, а системы знаков объединяют их в еще более высокую целостность. Отсюда и все более сложные модели знаков, с упоминания которых мы начали настоящую статью.

Возвращаясь сегодня к определению знака, используя и эти модели (ср. [22, с. 15]), мы можем сказать, что знак — это нечто воспринимаемое, образующее тело знака и представляющее в языковом коллективе как сообществе интерпретаторов некое содержание, которое заменяет означаемое или обозначаемое в языковых и метаязыковых операциях в каком-то отношении (интерпретанта<sub>1</sub>) и для достижения определенного эффекта (интерпретанта<sub>2</sub>). В таком определении кажется существенным упоминание интерпретатора и интерпретанты, которая — если использовать не только мысли Р. Якобсона, но и К. Бюлера, К. Бриттона, многих других выдающихся семиотиков, — представляет собой тот (новый) знак или знаки, которые рождаются в голове человека на базе исходного знака или оказываются с ним связанными, т.е. которые включают знак в цепочку знаков. Знака нет, с одной стороны, если нет системы знаков [16, с. 81]. Знака нет, с другой стороны, если нет его интерпретатора, который интерпретирует знак с помощью семиотического кода, используя определенную интерпретанту знака или создавая на основе кода новую. Развитие теории знака можно ожидать поэтому с разных сторон, но не вызывает сомнения, что многие новые пути развития такой теории были заложены Р. Якобсоном.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
2. Spang-Hanssen H. Recent theories on the nature of the language sign. Copenhagen, 1954.
3. Petöfi J.S. Some aspects of the construction of text meaning from the point of view of reception // Vorabdruck der Plenarvorträge. XIV. Intern. Linguistenkongress. B., 1987.
4. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
5. Гадамер Г.Г. Философские основания XX века // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
6. New vistas in grammar: Invariance and variation / Ed. by Waugh L.R., Rudy St. Amsterdam, 1991.
7. Иванов Вяч.Вс. Лингвистический путь Романа Якобсона // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
8. Якобсон Р. Лингвистика в ее отношении к другим наукам // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
9. Якобсон Р. Звук и значение // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
10. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. М., 1963.
11. Solncev V.M. Sign and meaning // Proc. of the Twelfth Intern. Congr. of linguists / Ed. by Dressler W.U., Meid W. Innsbruck, 1978.
12. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.

13. Lyons J. Basic problems of semantics // Proc. of the Twelfth Intern. Congr. of linguists. Innsbruck, 1978.
14. Jakobson R. Selected writings. V. II: Word and language. The Hague; Paris, 1971.
15. Бейтс Е. Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика. М., 1984.
16. Степанов Ю.С. Семиотика. М., 1971.
17. Никитин М.В. Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974.
18. Никитин М.В. Комментарий // Палмер Ф. Семантика. М., 1982.
19. Якобсон Р. К общему учению о падеже // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
20. Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
21. Кубрякова Е.С. Роль номинации в онтогенезе семантического компонента речевой деятельности и проблемы соотношения значения и обозначения на ранних стадиях развития речи // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991.
22. Dressler W. Introduction // Dressler W., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W. Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam, 1987.
23. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
24. Скрелина Л.М. Грамматическая синонимия. Л., 1987.
25. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика. М., 1987.
26. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
27. Якобсон Р. Речевая коммуникация // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985.
28. Степанов Ю.С., Булыгина Т.В. Комментарии // Семиотика. М., 1983.
29. Телия В.Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
30. Выиноградов В.А. Иерархия категорий в грамматической типологии // Proc. of the Fourteenth Intern. Congr. of linguists. B., 1991.

© 1993 г. КЛИМОВ Г.А.

**ЕЩЕ ОДНО СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕБЫВАНИЯ  
АРИЙЦЕВ В ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ**

Постановка в повестку дня исследования проблемы переднеазиатских (месопотамских) арийцев открыла новую страницу не только в этнической истории Ближнего Востока, но и весьма плодотворно сказалась в нескольких других отношениях. К настоящему времени эта проблема располагает уже немалой традицией изучения, доминирующая роль в которой несомненно принадлежит ее лингвистическому аспекту. Действительно, наиболее достоверные свидетельства своего существования оставлены этим этносом в ряде языковых источников, сообщивших, в частности, очередной стимул развитию индоевропеистики (ср. [1—3] и др.).

Как известно, реликты архаического индоарийского языка обнаружены главным образом в различных источниках, имеющих прямое или косвенное отношение к истории хурритского государства Митанни, существовавшего в середине II тыс. до н.э. Эти реликты прослеживаются в тронных именах митаннийских царей XV—XIV вв. до н.э., в династических именах владетелей северносирийских и палестинских городов-государств, в именах хурритских божеств, зафиксированных в ряде документов эпохи. Некоторую опору предоставляет в этом плане и хеттский материал (ср. широко обсуждавшуюся в недавнем прошлом коневодческую терминологию в гиппологическом трактате Киккули, предполагаемые лексические заимствования из арийского в хеттском), а также такие источники, как аккадские тексты из Нузы, касситская ономастика, отражающая касситско-арийские контакты, восходящие, как полагают, в эпоху до XVII в. до н.э., и некот. др.

В силу очевидного разнообразия языковых свидетельств уже на раннем этапе исследования проблематики сложилось впечатление о значительной роли, которую играл арийский этнос в древней Передней Азии вплоть до его ассимиляции соседними племенами. С дальнейшим прогрессом исследования идея о существовании переднеазиатской ветви арийцев получила достаточно убедительное обоснование, а обращенная в ее адрес критика была по существу направлена лишь против преувеличения значимости этой ветви в исторических судьбах ближневосточного региона.

Последовавшие работы показали, что круг вовлеченного в исследование материала может быть расширен за счет поисков свидетельств об этом этносе и в других источниках, и в частности в современных языках народов, в той или иной степени способных отражать лингвистический ландшафт древней Передней Азии. В этой связи следует упомянуть, что в некоторых арменистических публикациях уже с начала 30-х годов указывалось на отдельные лексические параллелизмы между армянским языком и древнеиндийским, которые должны быть обязанными не единому для них индоевропейскому наследию, а вероятным — возможно, опосредованным — контактам протоармян и арийцев. Так, например, Г.А. Капанцян полагал, что такие армянские лексемы, как *arev* "солнце", *inz* "барс", *tarmîn* "тело" и др. "заимствованы у древнемалоазийских индийских племен, у которых многое переняли и хурро-митанийцы... и даже хетты" [4, с. 32]. Несколько

позднее В. Порциг, показав, что некоторые характерные элементы древнеиндийской религиозной поэзии замещают в армянском общеиндоевропейское наследие, пришел к выводу, что "общие особенности арийского и армянского языков не являются показателями индоевропейской диалектной общности, как это было с общими особенностями греческого и армянского языков, а отражают такое время, когда предки армян... на некоторое время оказались под влиянием складывавшейся ведийской культуры" [5, с. 238—241].

В этом контексте естественно возникла мысль о возможности обнаружения аналогичных отложений и в картвельских языках. Основываясь, как можно видеть, преимущественно на некоторых экстралингвистических данных, Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов полагают, что "еще в конце IV и начале III тысячелетий до н.э. южнее Кавказа, в пределах первоначальной территории обитания индоевропейских племен, были распространены различные арийские диалекты, один из которых документально зафиксирован в митаннийском арийском в середине II тысячелетия до н.э. Носители этих диалектов, оснащенные колесницами и лошадьми, могли совершать дальние переходы как в восточном направлении, что привело определенную часть их в Афганистан и историческую Индию, так и в западном (митаннийские арийцы), северном и южном направлениях. Северное направление таких переходов и могло привести определенные арийские племена через Закавказье на Северный Кавказ. Следы подобных передвижений индоевропейских племен на Северный Кавказ можно проследить и археологически" [6, с. 917]. Согласно другому высказыванию авторов, следы "передвижений носителей древних индоевропейских диалектов, и в частности, индоарийского, на территории Закавказья и Северного Кавказа можно было бы видеть в наличии целого ряда слов в кавказских языках" [6, с. 919], в подтверждение чего ими приводятся такие картвельские лексемы, как *а́сиа*- "лошадка" и *parto*- "широкий". Аналогичные соображения высказывались и в некоторых других работах. Так, Е.Г. Хачатурова писала, что "экстралингвистические данные позволяют говорить с наличием контактов отдельных индоарийских языков с картвельскими во II тысячелетии до н.э. Одним из контактирующих языков мог быть и митаннийский арийский" [7, с. 103].

В настоящее время имеется, как представляется, возможность поставить эту гипотезу на реальную лингвистическую почву, обращением к несколько более широкому материалу, отражающему древние картвельско-арийские контакты, которые могли иметь место в первой половине II тыс. до н.э. где-то в полосе к югу от картвельской языковой области. Должно быть естественным, что накопленные наукой соответствующие материальные параллелизмы скорее всего следует приписывать соприкосновению картвелов с той ветвью арийцев, которую принято называть переднеазиатской, или месопотамской.

Фактическая база настоящей заметки отложилась как составная часть работы автора, посвященной изучению более широкой проблематики древнейших картвельских индоевропеизмов. Совокупность последних, удостоверяющих соответствующие ареальные контакты в прошлом, в большинстве случаев не позволяет усматривать их antecedенты преимущественно в какой-либо определенной ветви индоевропейских языков (заметим, в частности, что накопленный в науке материал подтверждает высказанное еще в середине 60-х годов мнение Г.В. Церетели, согласно которому в картвельских языках существует слой индоевропеизмов, обнаруживающих в своем вокализме более архаичную ступень развития сравнительно с протоиндоиранским [8, с. 045]). Вместе с тем выявлен и лексический материал, указывающий, по всей вероятности, на его индоарийский источник (хронология филиации индоиранского состояния на индийский и иранский в последние годы существенно углублена и определяется ныне IV тыс. до н.э.).

Об индийском происхождении этого материала свидетельствует некоторый набор признаков как формального (прежде всего фонетического), так и семантического порядка. Так, среди первых следует назвать наблюдаемые в нем характерные для индийской ветви рефлексы индоевропейского вокализма (ср. гласный *a* на месте этимологических *e* и *o*, повторение общей вокалической схемы основы) и консонантизма (помимо общего с иранскими языками перехода *s* > *ʃ* в позиции после *u* ср. отражение реализации закона Грассмана, сохранение начального *s*, а также отсутствие спонантизации древних индоевропейских звонких и глухих смычных, обособляющие этот материал от его иранских аналогий).

В то же время в нескольких случаях отмеченные формальные черты материала дополняются его особой семантической близостью именно к соответствующим индоарийским формам. В плане самой общей семантической характеристики приводимого ниже лексического кадастра существенно, что его понятийное содержание охватывает концепты, соответствующие периоду освоения древними картвелами более низменных территорий в ходе снижения высотности своих мест обитания, предполагающихся первоначально в зоне горного ландшафта, ср. [9, с. 37; 6, с. 917—919]. С одной стороны, здесь встречаем лексемы, связанные уже со специфическими природными условиями речных долин Закавказья [ср. "стоять засухе", "иссушать (землю)", "песок", "галечник в русле реки"]. С другой стороны, здесь оказываются слова, имеющие более или менее ощутимую культурную окрашенность (ср., в частности, две-три основы, связанные с коневодством).

Коротко комментируемый ниже кадастр составляют всего семнадцать единиц, одна из которых — наиболее проблематичная — претендует на свою соотнесенность с общекартвельским состоянием, проецируемое скорее всего в эпоху не позднее конца III тыс. до н.э., шесть восходят к грузинско-занскому периоду, охватываемому в грубом приближении II тыс. до н.э., в то время как остальные могли проникнуть в картвельские языки и несколько позже (естественно, уже через некоторые опосредствующие звенья). Необходимо подчеркнуть, впрочем, что хронологическая атрибуция последней группы весьма условна и в основном определяется невозможностью построения для ее составляющих грузинско-занских архетипов. В нижеследующем списке мы старались исключить материал, допускающий скорее апелляцию к иранскому или единому индоиранскому источнику. Здесь тем более не относится к индоаризмам неисконный картвельский материал, выявляющий признаки соответствующей рефлексации индоевропейских архетипов, но не находящий своих прямых антецедентов в древнеиндийском.

Грузинско-занская глагольная база *\*bandy-* "сплетать, связывать", помимо своего вокализма, обнаруживает особую формальную близость к др.-инд. *bandh-* "связывать", характеризующемуся следами реализации закона Грассмана. Ее конечная консонантная последовательность представляет собой результат преобразования звонкого придыхательного *dh* в типичный для фонемной синтагматики картвельских языков гармонический комплекс депессивного ряда.

Реконструируемое для грузинско-занского состояния *\*guda-* "бурдюк, кожаная сума", обозначающее, по словам И.А. Джавахишвили, один из древнейших атрибутов материальной культуры картвелов, сопоставляется с др.-инд. *guda-* "кишки, апус" (< и.-е. *\*gudo-m* "кишка", другие континуанты которого стоят дальше фонетически, ср. [10, с. 64; 11]). Для объяснения расхождения слоев в семантике существенно учитывать, что традиционная для Ближнего Востока практика изготовления бурдюков из кишок скота по сей день сохраняется в некоторых его регионах.

Восходящая к этому же состоянию глагольная основа *\*gwal-* "стоять засухе" была сопоставлена еще в начале столетия [12, с. 31] с др.-инд.

*jvalati* "пылает, горит в жару" (< диал. и.-е. \**gual-* "пылающий уголь"). Засвидетельствованные германские и кельтские продолжения этой основы стоят дальше семантически, поскольку сохраняют ее архаическое значение, ср. [13, с. 450].

Грузинско-занская глагольная база \**sxal-* : *sxl* "срывать(ся) с места, поскользнуться", лежащая в основе производного по существу той же семантики \**sxl-et-* : *sxl-t-*, сопоставляется в специальной литературе [14, с. 333] с др.-инд. *skhálate* "спотыкается, шатается" (< и.-е. \**skel-* "оступаться, спотыкаться"). Усматривать здесь зависимость от формально очень близкого арм. *sxalim* "ошибаться" невозможно как вследствие большего семантического отличия последнего, так и ввиду того, что картвельские арменизмы, относясь к весьма поздней эпохе (едва ли ранее VII—VI вв. до н.э.), не обуславливали наблюдаемого в этой картвельской основе аблаутного чередования<sup>1</sup>.

Два формальных признака, указывающих на индоарийский antecedent, выявляет грузинско-занская глагольная основа \**s<sub>1</sub>uš-* "иссушать (землю); сохнуть, заживать (о ране)", сближающаяся с др.-инд. *śus-* "сохнуть" (< и.-е. \**saus-*, *sus-*). С одной стороны, это консонант *š*, отражающий свершившийся в индоиранской ветви сдвиг *s* > *š* в соседстве с *и*, с другой — это начальное *s<sub>1</sub>*, обособляющее ее от иранского продолжения основы. К сопоставлению см. [17, с. 300].

Наконец, еще одна простая грузинско-занская глагольная база \**prut-* : *prtw-* "фыркать (о лошади)" является аналогом "диалектного" и.-е. \**preut(h)* : *prut(h)*- той же семантики. В нарушение "ареальной нормы" соответствующих дескриптивных образований, характерных для остальных автохтонных языков Кавказа, она оказывается особенно близкой к др.-инд. *prōihati* "фыркает (о лошади)", в то время как германские соответствия последней стоят как фонетически, так и семантически значительно дальше, ср. [18, с. 810].

Вместе с предшествующей (и, по-видимому, со следующей) основой груз. *aśua-* "лошадка" (детское слово) может отражать особую роль индоевропейцев в распространении лошади в Закавказском регионе и подтверждать известное наблюдение о большом числе арийских заимствований, связанных с коневодством, в древних языках Передней Азии (происхождение более или менее сходных — но всегда не столь ярких — севернокавказских параллелей слова представляется неясным). Грузинская лексема особенно близка к др.-инд. *áśva-* "лошадь", что было замечено еще Ильей Чавчавадзе в его лингвистических записках [19, с. 16].

Грузинская глагольная основа *dag-* "жечь (каленным)" сближается в первую очередь с др.-инд. *dagh-* > *dah-* "жечь", восходящим к и.-е. \**dheg<sup>h</sup>-* "жечь, гореть", широко представленному в других ветвях индоевропейских языков с устойчивым вокализмом *e* [18, с. 240]. К. Боуда, предложивший это сопоставление, имел некоторое основание сказать, что грузинское заимствование должно восходить к "доиранскому" состоянию [17, с. 300].

Груз. *dro-* (> мегр. *rdo-*) "время, срок" сопоставимо с др.-инд. *rtú-* "время, период; порядок, правило" [17, с. 300—301], обнаруживая сужение семантики слова, относящегося к сфере сакральной лексики. Вопреки возникающему внешнему впечатлению, мегрельская форма вторична, будучи обязанной характерной для языка метатезе *r*.

Следующую параллель образуют груз. *saraš(a)-* "пчелиные соты" и др.-инд. *sāraghá-*, переводимое М. Майрхофером как "von der Biene stammend,

<sup>1</sup>В арменистике существует мнение, согласно которому становление этого считающегося обычно эксклюзивным армяно-индийского соответствия также обязано заимствованию из древнеиндийского, ср. [15, с. 219; 16, с. 28]. Считают, впрочем, что само индийское слово может оказаться сравнительно поздним.

Viene" [20, с. 119] и являющееся, как отмечает Т.Я. Елизаренкова, производным от *saragh-* "пчела". Подобно некоторым другим старым культурным заимствованиям, уже почти вытесненным из сферы литературной нормы, грузинское слово представлено несколькими диалектными разновидностями — лех. *saraža-*, имер. *saraž-*, *saraça-*, нижн.-имер. *sarañça-* [21, с. 493]. Хотя с ним несомненно связаны мегр. *sarañž-* и сван. *saraž-* этой же семантики, весь приводимый материал, как свидетельствует его единообразный вокализм, иллюстрирует процесс распространения формы из одного картвельского языка в иные. Особый интерес вызывает то обстоятельство, что, по сведениям, любезно предоставленным нам А.Л. Ониани, в нижнебалльском диалекте сванского языка обозначение сот, наполненных медом, зафиксировано в виде *saräg-*. Корректность этого сопоставления получает свою поддержку в том, что вариативность консонантизма исхода картвельских слов согласуется с аналогичной вариативностью в самой древнеиндийской основе, исход которой столь же сложно взаимодействует с падежными показателями, ср. [22, с. 119—120].

Груз. *silá-* [> мегр. (*p*)*silá-*] "песок" естественно сопоставить с др.-инд. *śilā-* "скала, камень, осколки скалы" (при пали *silá-* т.ж.), не имеющим скольконибудь надежных соответствий в других ветвях индоевропейских языков [23, с. 343].

Изолированное груз. *trp-* "испытывать чувство любви" (ср. производное образование *za-trp-o* "возлюбленная") сближается с др.-инд. *tṛpyati* "насыщается, испытывает чувство удовлетворения" (< и.-е. *\*terp-*, *trp-*) [14, с. 336—337]. Об особой формальной близости этой основы к индоарийскому материалу позволяет говорить аномальная с точки зрения моделей картвельского словообразования форма соответствующего масдара *trp-ial-*, обнаруживающая отмеченный вокализмом *ia* деривационный элемент, присущий только основам звукосемантической природы.

Груз. *parto-* (> мегр.) "широкий" находит, как уже неоднократно указывалось, ближайшую аналогию в принадлежащем к *Dichtersprache* др.-инд. *prthú-* т.ж., ср. [24, с. 333]. Ср. идентичную передачу конечного вокализма древнеиндийского слова в приведенном выше грузинском обозначении времени, срока<sup>2</sup>. Арм. *hart* "широкий", с которым иногда сопоставляют этот адъектив, стоит от него несколько дальше (если учесть, что само армянское слово, как нередко полагают, зависит от индоиранского источника, ср. [26, с. 53], то все же не исключено, что в этом случае налицо пример заимствования, опосредованного протоармянской формой *\*part-*).

Изолированное груз. *pria-* "крыло, перо" при допущении метатезы в его консонантном комплексе находит ближайшую параллель в др.-инд. *patra-* той же семантики (< и.-е. *\*petr-*, *petero-*). Неисконность лексемы позволяет предполагать то обстоятельство, что она приходит на смену продолжению груз.-зан. *\*zwe-* "крыло, перо". Остальные индоевропейские когнаты древнеиндийского слова и, в частности, греч. птеров, с которым иногда сопоставляют грузинскую форму, стоят от нее дальше фонетически, ср. [18, с. 826].

Представляют интерес также два слова, сохранившиеся соответственно только в мегрельском и сванском языках. Одно из них — мегр. *reka-*, *reqa-* "галечник (в русле реки)", иногда выступающее и в топонимике, — еще в конце прошлого столетия было сопоставлено с др.-инд. *rēka* "нанос, вынос" и

<sup>2</sup> Известны по крайней мере еще два примера такого же соотношения вокализма, от учета которых в настоящее время целесообразно воздержаться. С одной стороны, это др.-груз. *pilo-* "слон" ~ скр. *pilu-* т.ж., представленное в аналогичной форме и в аккадском (ср. [25, с. 296]), при совершенно неясной истории лексемы. С другой стороны, это картв. *qoqob-* "фазан" ~ др.-инд. *kukubha-* т.ж., которые могут иметь независимые ономастопозитические основания.

др.-перс. *raika* "песок, намытый рекой или морем" [27, с. 204]. Другое — сван. *ɣwase-, ɣwese-* "нутряное сало, шпиг" — принадлежащее к числу несомненных заимствований, отмеченных развитием типа *Verschärfung*, посредством которого преодолевается не характерное для сванского языка анлаутное губнозубное *v*. Эта изолированно стоящая в картвельском корнеслове лексема восходит к др.-инд. *vāsā, vasā* той же семантики, чем она и обособляется от остальных известных продолжений и.-э. \**ues-* "сыреть, мокрый", имеющих иные значения, ср. [28, с. 40—41; 18, с. 1172]. Если исходить, как это иногда допускается, из древности вокализма *e* в сванском слове, то перед нами может оказаться одно из наиболее ранних индоиранских заимствований эпохи еще до передвижения *e > a*.

Следует, наконец, остановиться еще на одном, по всей вероятности, менее надежном параллелизме, претендующем на наибольшую хронологическую глубину. В виду имеется общекартвельская глагольная база \**lag-*: *lg-* с основным значением "сажать (растения)", располагающая коннотацией "класть" в грузинском и "укреплять, прикреплять" — в сванском и образующая в форме нулевой ступени огласовки необычную для картвельского корня консонантную последовательность. База уже давно сопоставлялась с и.-е. \**legh-* "класть, лежать" [14, с. 337]. Она характеризуется вокализмом, сближающим ее с ожидаемым, но, как принято считать, отсутствующим индийским продолжением последнего, что в свете семантики сванского слова заставляет вспомнить др.-инд. *lag-* "укреплять, прикреплять".

В аспекте определения вероятного центра иррадиации рассмотренного материала существенно учитывать несколько фактов лингвоареального характера. Так, с одной стороны, несколько картвельских индоаризмов повторяются и в армянском языке, обнаруживающем в своей истории отчетливый восточный вектор распространения (наиболее ранний слой армянских картвелизмов составляют заимствования из мегрельско-лазского источника, с которым в настоящее время армянский не соприкасается). С другой стороны, часть нашего материала в самой картвельской языковой области характеризуется западным центром тяготения [ср. *reka-, saraž(a)-, ɣwase-*]. И, наверное, особенно существенно отсутствие каких-либо его параллелей в дагестанских языках за возможным исключением в виде широко распространенного по всему региону древней Передней Азии обозначения лошади (ср. в последней связи, может быть, несколько категоричное, но в принципе справедливое утверждение В. Шульце, согласно которому мы не располагаем какими-либо ареальными или историческими свидетельствами о контактах санскрита с восточнокавказскими языками [29, с. 232]). Означенная ареальная дистрибуция наших фактов довольно определенно указывает на их диффузию в Закавказье откуда-то с юга.

Конечно, в каких-то случаях не исключается и северокавказский — синдский — их источник (синды северо-западного Кавказа неоднократно упоминаются в средневековых грузинских хрониках<sup>3</sup>). В частности, если аффриката в картвельском *saraž(a)-* "пчелиные соты" восходит не к *ḍ* или *ṭ*, а к чередующемуся с ними в древнеиндийской основе *gh*, то вероятен именно его синдский источник, поскольку аффрикатизация заднеязычных смычных характерна главным образом для сванского языка. Однако в целом с подобной возможностью плохо согласуется минимум индоаризмов, усматриваемых в сванском, занимавшем некогда всю северо-западную полосу картвельской языковой области, а также отсутствие соответствующих промежуточных звеньев, которые ожидалось бы в этом случае в

<sup>3</sup> Заметим, что степень знакомства индоарийцев с Кавказом отражена, по-видимому, в самом названии региона, которое, согласно господствующей в науке традиции, этимологизируется на древнеиндийской почве [30, с. 105—107].

абхазско-абазинских диалектах (из приводимого выше материала в абхазском повторяется только обозначение пчелиных сот, явно зависимое от мегрельской формы слова).

Сопоставление картвельских и армянских индоаризмов выявляет между ними заметные качественные различия. Так, представляется существенным, что приведенные факты в своем большинстве отсутствуют в армянском, что может служить некоторым указанием на незаисимость их усвоения от армянского посредства (не приходится, конечно, отрицать наличия в картвельских языках и индоаризмов, позднее распространявшихся *via Armenia* и поэтому не учитываемых в нашем материале<sup>4</sup>). Вместе с тем, если в армянском эта категория лексем восходит к элементам поэтической — прежде всего сакральной — по своему характеру лексики, то в картвельских языках она, по-видимому, изначально составляет достояние нейтральных пластов словаря. В свете подобных различий естественно предположить, что и сами социальные предпосылки (а по всей вероятности, и хронологические рамки) соответствующих контактов должны были существенно различаться.

Следует иметь в виду, что приведенный выше материал отражает лишь начальный этап систематизации фонда древнейших картвельских индоевропеизмов. Воздерживаясь от сколько-нибудь категорических формулировок, можно сказать, что он не противоречит встречающимся в литературе высказываниям о вероятном индоарийском вкладе в картвельский словарь. Возможность его хронологического соотнесения как с грузинско-занским состоянием, так и с последовавшей эпохой поддерживает основанную на других лингвистических и археологических фактах (ср., в частности, находки в Закавказье колесниц [31]) точку зрения, согласно которой пребывание ариев в Передней Азии — в регионе где-то к югу от картвельской языковой области — являлось не относительно кратковременным эпизодом, как это иногда представлялось в прошлом, а скорее характеризовалось более или менее длительным периодом их проживания бок о бок с другими местными этносами. В прошлом высказывалось даже предположение о том, что редукция пятичленной системы индоевропейского вокализма в трехчленную в арийском обязана многовековому воздействию со стороны местного семитского субстрата [32, с. 16—17].

Естественно думать, что если на некотором более раннем этапе истории региона — в частности, в первой половине II тыс. до н.э. — картвельско-индоарийские языковые контакты могли быть непосредственными, то на более позднем этапе индоаризмы должны были здесь заимствоваться лишь через некоторое посредство. Если оставить в стороне лексемы, которые, подобно груз. *arçiv-*, распространялись, начиная с последних веков до н.э., через армянский, то для более ранней эпохи наиболее вероятным опосредствующим звеном между этими языками должны были служить хурритско-урартские (сохранявшиеся, как полагают, в отдельных районах Закавказского нагорья по крайней мере до VI—V вв. до н.э., а возможно, и позднее), подобно тому как некоторые индоаризмы проникали в хеттский и другие языки древней Передней Азии. И здесь наша проблема упирается в фактическую неизученность вопроса о хурритско-урартском вкладе в картвельский словарь, в плане рассмотрения которого имеются лишь разрозненные высказывания, оперирующие минимумом лингвистического материала, встречающиеся главным образом в работах Г.А. Меликишвили. В этих условиях тем более неподготовленной оказывается почва для серьезного обсуждения

<sup>4</sup> Примером подобных лексем может служить активно обсуждавшееся в индоевропеистике обозначение орла, отразившееся в груз. и мегр. *arçiv-* "орел". Это совпадающее с армянским слово утверждается в письменных памятниках весьма поздно, приходя на смену форме *orb-*, решительно господствующей в грузинском переводе Библии, относящемся к V в. н.э.

противоречивых гипотез о направлениях миграций индоарийских племен через Кавказ [33, с. 222].

В заключение необходимо подчеркнуть, что несмотря на безусловную актуальность разработки проблемы кавказской и переднеазиатской ареальной лингвистики, неоднократно отмечавшуюся в специальной литературе (ср. [8, с. 049]), данные таких современных языков, как картвельские и армянский, все еще не вовлечены в должной мере в соответствующее исследование. Между тем введение в обиход науки материала этих едва ли ни единственных сохранившихся до наших дней представителей древнего лингвистического ландшафта Передней Азии способно внести существенный вклад в решение вопросов истории региона как в собственно лингвистическом, так и историко-культурном плане. На роль еще одного подобного источника в пределах Кавказа мог бы в какой-то степени претендовать и наиболее южный ингредиент лезгинской группы нахско-дагестанских языков — удинский, во многом разделявший в прошлом исторические судьбы двух других выдающихся языков древнего Закавказья. Так, если оставить в стороне не имеющее отношения к рассматриваемой проблематике удинское обозначение лошади *ek* (характеризующееся фарингализованным гласным в анлауте, а также формой мн. числа *ek-urix*), заинтриговавшее в свое время А. Неринга [34, с. 107—108], то фактом, возможно, имеющим прямое отношение к нашей теме, может оказаться удин. *bixax-ux* "бог" (образование типа *pluralia tantum*, собственно — "боги, пантеон"), допускающее сопоставление с индоевропейским материалом. Попытки его истолкования на лезгинской почве наталкиваются на трудности<sup>5</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mayrhofer M.* Die Indo-Arier im Alten Vorderasien. Wiesbaden, 1966.
2. *Mayrhofer M.* Die Arier im Vorderen Orient. — Ein Mythos? Mit einem bibliographischen Supplement. Wien, 1974.
3. *Kammenhuber A.* Die Arier im Vorderen Orient. Heidelberg, 1968.
4. *Капанян Г.А.* К происхождению армянского языка. Ереван, 1946.
5. *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
6. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I—II. Тбилиси, 1984.
7. *Khachaturova E.G.* On some armeno-kartvelian etymologies // Second international symposium of Armenian linguistics. Erevan, 1987.
8. *Церетели Г.В.* О теории сонантов и аблаута в картвельских языках // Гамкрелидзе Т.В., Мачавариани Г.И. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965.
9. *Климов Г.А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
10. *Джаукян Г.Б.* Взаимоотношение индоевропейских, хурритско-урартских и кавказских языков. Ереван, 1967.
11. *Климов Г.А.* Еще одна индоевропейско-семитско-картвельская параллель // Этимология, 1982. М., 1985.
12. *Джанашвили М.* Картвельский язык и славяно-русский. Точки соприкосновения между этими языками // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 31. Отд. 4. Тифлис, 1902.
13. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, Lf. 7. Heidelberg, 1956.
14. *Vogt H.* Armenien et Caucasicque du Sud // NTS. 1938. Bd. IX.
15. *Джаукян Г.Б.* Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 1967.
16. *Хачатурова Е.Г.* Древнейшие армяно-индийские языковые контакты: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Ереван, 1975.
17. *Bouda K.* Beiträge zur etymologischen Erforschung des Georgischen // Lingua. 1950. V. II. № 3.
18. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd I. Bern, 1959.

<sup>5</sup> Автор глубоко признателен Т.Я. Елизаренковой и В.Н. Топорову, ознакомившимся со статьей в рукописи и высказавшим ему ряд ценных замечаний.

19. *Глонти А.А.* Вопросы общего и грузинского языкознания в художественно-философском наследии И.Г. Чавчавадзе (К 150-летию со дня рождения) // ИАН СЛЯ. 1988. № 2.
20. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Lf. 23. Heidelberg, 1972.
21. *Глонти А.А.* Словарь грузинских народных говоров. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).
22. *Pisani V.* Die Deklination von ai. *sarāgh-* "Biene" // Z. für vergleichende Sprachforschung. 1938. Bd. 65. Hf. 1/2.
23. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Lf. 22. Heidelberg, 1970.
24. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Lf. 13. Heidelberg, 1957.
25. *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Lf. 12. Heidelberg, 1957.
26. *Ачарян Гр.* Этимологический корневой словарь армянского языка. Т. III. Ереван, 1977. (на арм. яз.).
27. *Müller Fr.* Kleine Mitteilungen // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1897. Bd XIV.
28. *Charpentier J.* Zur arischen Wortkunde // Z. für vergleichende Sprachforschung. 1914. Bd 46.
29. *Schulze-Fürhoff W.* How can class markers petrify? Towards a functional diachrony of morphological subsystems in the East Caucasian languages // The Non-Slavic languages of the USSR. Linguistic studies. N.S. Chicago, 1992.
30. *Трубачев О.Н.* Indoiranica. Этимологии // Этимология, 1981. М., 1983.
31. *Piggot St.* The earliest wheeled vehicles and the Caucasian evidence // Proc. of the Prehistoric Society. N.S. 1968. 34.
32. *Szemerényi O.* Structuralism and substratum — Indo-Europeans and Aryans in the Ancient Near East // Lingua. 1964. V. 13. № 1.
33. *Charachidzé G.* // Revue des Études géorgiennes et caucasiennes. 1986. № 2. Rec: Gamqrelize / Ivanov. Les Indo-Europeens et le Caucase.
34. *Nehring A.* Studien zur indogermanischen Kultur und Heimat // WBKL. 1936. 4.

© 1993 г. ЛИБЕРМАН А.С.

**МЯГКИЕ И ТВЕРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ В ИСТОРИИ  
ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ**

(К постановке вопроса)

И через некоторое время  
у поручика Кижэ родился сын,  
по слухам похожий на него.

Ю.Н. Тынянов

В книгах по истории германских языков постоянно упоминаются палатализованные и веляризованные согласные. Носителями этих признаков являются сонанты *l, n, r*, а среди шумных — заднеязычные *k, g* и *h, x*. Как ни странно, о мягких и твердых согласных в западногерманском не существует ни одной итоговой работы. Лучше обобщены факты скандинавских языков, но и здесь не достигнуто ни полноты, ни ясности. Рассмотрим несколько наиболее типичных примеров.

Р. Берндт, автор "Введения в среднеанглийский язык" [1], не выделил сведения о палатализованные и веляризованные согласных в специальный раздел, но ссылки на них разбросаны по всему тексту. В частности, одна из частей называется "Эпентеза *i* между *θ* и палатализованными группами согласных" (автор называет эти группы палатальными, но я буду переводить его "palatal" как "палатализованный"), и в ней сказано, что перед *ndž, ntš, ns, nř* и *nt* гласный *e* часто развивал глайд и что при этом особенно сильная палатализация приходилась на доно *n*. Берндт не поясняет, чем сильная палатализация отличается от слабой и можно ли, например, вообразить палатализованное *ř* в *nř*. В среднеанглийский период слова типа *singed* "опалил", *French* "французский", *length* "длина", *lent* "весна" часто имели формы *seynd, freinsch, leinθ, leinten*; аналогичные процессы зарегистрированы во французских заимствованиях [1, с. 65].

Вместо *fell* "упал" у Чосера и его современников встречается *fill*; *self* "сам" имело вариант *silf*, а *silly* "глупый" вошло с *i* даже и в литературный язык (др.-англ. *sælig* "счастливый"). Ср.-англ. *sē(o)kne* "болезнь", современное *sickness*, должно было превратиться в \**seckness*, и среднеанглийская форма *sēkness* существовала, но верх взял дублет с *i*. Повышение *e* в *i* традиционно приписывается умлауту от передних гласных на *i*, но так как в *fill, silf, sickness* и т.п. умлаут не мог развиваться, но причину перехода видят в палатализованном согласном. Так же Берндт говорит и о палатализованных *l* и *k* [1, с. 71]. Из той же книги мы узнаем, что дифтонги, аналогичные *ei* в *seynd, freinsch, leinθ, leiten*, но, конечно, с задним глайдом, возникали и перед велярным *l*; таковы *ou* и *eu* в *coupen* "ударять" < ср.-франц. *solper, couper* (совр. англ. *cope* "справляться с чем-л."), *peutre* "слово" < ср.-франц. *peaultre, peutre* (совр. англ. *pewter*) и ряд других [1, с. 103]. Широко известно изменение, произошедшее в словах типа англ. *folk* "народ", *talk* "говорить", *psalm* "псалом". Во всех них до сих пор пишется, но не произносится *l*: оно выпало между *a, o* и периферийным согласным и было, по всеобщему мнению, велярным [1, с. 202].

Как нечто само собой разумеющееся, Берндт пишет, что уже в древнеанглийском перед гласным *i*, возможно, в интервокальной позиции *l* было палатализованным, а в середине слова перед согласным и в исходе *l* произносилось как велярный сонант. На севере Англии исконное переднеязычное *l* не развилось в велярное, якобы вследствие господствующей в этом районе более сильной напряженности артикуляции. Берндт ссылается на книгу Хорна-Ленерта (о которой ниже) и напоминает, что в древнеанглийском на Севере преломление кратких гласных перед группами *l* + согласный было редким явлением. Связь древнеанглийского преломления (т.е. возникновения у передних гласных заднеязычных глайдов) с велярностью *l* принимается за аксиому [1, с. 163].

Я выбрал в качестве образца книгу Берндта, потому что в ней нет оригинальных мыслей и по ней легко составить себе представление об уровне, достигнутом исторической фонетикой английского языка к середине нашего века: Берндт повторяет то, что узнал из других источников, и почти всегда воспроизводит лишь апробированные мнения и выводы. Этот уровень не превзойден и в наши дни. В пересказанных выше цитатах речь идет о палатализации, не зависящей от древнего или сохранившегося *i*; столь же "спонтанен" и велярный тембр согласных. В частности, говорится, что *l* было светлым перед любым гласным и темным перед любым согласным в исходе слова. Так же и *k* в ср.-англ. *sek-* палатализовано как бы по природе, а не по положению (др.-англ. *seoc* принадлежало к основе на *-a*). В формулировке Берндта темное и светлое *l* распределены дополнитительно, т.е. они больше похожи на аллофоны одной фонемы, чем на самостоятельные единицы. Однако непонятно, почему *l* было светлым (мягким) перед любым гласным.

Наиболее определенно по поводу темного и светлого *l* в английском высказался Хорн. По его мнению, в современном литературном английском (британском) есть два *l*: светлое перед гласным и темное перед согласным и в исходе, но его примеры на светлое *l* — *lip* "губа", *blind* "слепой" и *valley* "долина" — ясно показывают, что "перед гласным" означает "перед передним гласным". Он приводит формы *milk* "молоко", *all* "все", *apple* "яблоко", в которых *l* — темное, и из его замечаний о *call* (с темным *l*) / *calling* (со светлым *l*) следует, что речь идет об аллофоническом варьировании [2]. Дальнейшее изложение истории *l* в его книге посвящено диалектам английского языка, в которых два *l* существуют, но распределены по-иному. Повторяя своих предшественников, Хорн замечает, что древнеанглийское преломление было вызвано велярным (темным) *l*.

К. Луик, автор самого авторитетного труда по исторической фонетике английского языка [3], озаглавил раздел о преломлении "Влияние темных поствокальных согласных на передние гласные" (с. 138); к темным согласным он причисляет *w*, *h*, *r* и *l*. Хотя Луику были близки фонологические идеи в диахронии и он сформулировал их на двадцать лет раньше, чем Трубецкой, его коллега по Венскому университету, в вопросе об английских согласных он ничем не опередил свое время. Он объясняет древнеанглийское преломление (в основном уэссекское), т.е. переходы *e* > *eo*, *a* > *ea*, *i* > *io*, ассимиляцией. Как правило, *w* не называют среди преломляющих согласных, но для Луика было важно начать именно со слов типа *niowol* < \**niwal* "крутой" (о склоне), *hweowol* < \**hwewal* "колесо", так как *w* имеет два фокуса: оно произносится с выпяченными губами и с поднятой задней спинкой языка, и получилось, что изменение *e* > *eo* и *i* > *io* можно объяснить, исходя из предвосхищения артикуляции *w*. Но и *l*, *r*, *h* должны были иметь, по Луику, "некоторую велярную окраску" (эта реконструкция восходит к Зиверсу). Луик также полагал, что "после *s* гласный был несколько светлее" и что поэтому в \**selcan* артикуляторное расстояние между [e] и [i] было большим, чем в *melcan*. Преломлению в древне-

английском могли препятствовать *i* и *j* следующие за согласным. По Луику, перед *i* и *j* преломляющие согласные "в определенных рамках были слегка палатализованы" [3, § 143]. К мысли о палатализованном *s* Луик возвращается и позднее, когда объясняет древнеанглийские переходы *sio- > sie-* и *sel- > sil-* [3, § 282].

В реконструкции Луика менее всего удовлетворяет постулат о наличии слегка палатализованных и более или менее палатализованных согласных. Если речь идет об аллофонах одной и той же фонемы, то они сами определены контекстом и их реализация не может быть фактором дальнейших изменений. Но правило о двух разновидностях *l* мало похоже на правило об аллофонах. Почему, например, *l* перед любым согласным было велярным и откуда это известно? В группе *eld, ild* (между передним гласным и дентальным) велярная артикуляция *l* требует специально объяснения. Если *l* было велярным и в *æld*, и в *ælh* (а преломление происходило перед обеими группами), значит, дело не в фонетическом контексте.

В принципе, некая фонетическая характеристика может быть конститутивным элементом гласного или согласного, минуя сеть фонологических оппозиций. Например, в британском варианте английского языка /r/ реализуется с сильным огублением, и если через тысячу лет историк языка, рассматривая формы типа [prú:sz:d] *proceed* "продолжать" и [pru'pensiti] *propensity* "склонность" (транскрипции по Д. Джоунсу), придет к выводу, что в XX в. *r* было лабиализовано, то будет совершенно прав. Но лабиализация не позиционное, а скорее факультативное свойство *r*, и едва ли можно сформулировать правило, в каких точно случаях оно встречается. К тому же и переход [prə'si:d] и [pru'si:d], вызванный артикуляцией *r*, не обязателен и может, видимо, происходить когда угодно, а древнеанглийское преломление имело определенные хронологические рамки и, следовательно, не могло быть вызвано только велярностью *l*. Спирант *x* тоже был заднеязычным как бы "от века", и его велярность не могла вдруг начать действовать на предшествующий гласный. (Ср. рассуждение о фонемах и рыбах в конце данной работы.)

Если же светлое и темное *l* были разными фонемами, то несколько озадачивает их дополнительная дистрибуция. Во всем этом есть еще одна трудность, скрытая за бинарной терминологией. Темное *l* не обязательно предполагает велярность или лабиализацию: русское [л] в *лык* и *лук* — твердое в отличие от [л] в *лик* и *люк*. Оно ничем не похоже на польское /ł/. Несмотря на смутность используемых ниже терминов, можно сказать, что в русском маркировано /л'/ — мягкое, а твердое воспринимается как его беспризнаковый оппозиит. Чтобы представить себе преломление, вызванное темным *l*, надо, как кажется, допустить, что именно оно было маркированным. В подобном допущении, хотя оно еще требует серьезного теоретического анализа, в принципе нет ничего невероятного. В одном верхнесилезском диалекте немецкого языка (Шёнвальд), описанном в начале века, группа *old* превратилась в *oud*, а *Stall* "стойло" произносилось [steo] [4]. Автор описания полагал, что эти сдвиги произошли под влиянием польского *l* (Шёнвальд был окружен польскоязычным населением), и его идею поддержал Бехагель [5]. История английских слов типа *folk* [fouk] "народ" и нидерландских типа *zout* "соль" (ср. англ. *salt* [so:lt] свидетельствует, что дифтонги в группах *ol* + согласный возникают в германских языках и без польского окружения, но понять эти процессы можно, только восстановив фонологические условия, в которых они произошли. Заметим, что в соответствии с традиционными взглядами преломление произошло в дописьменном древнеанглийском, а дифтонгизация в *folk*, *zout* и т.п. — на тысячу лет позже, но под влиянием все того же велярного *l*.

Даже в готском допускается точная параллель к среднеанглийской

дифтонгизации. Этимология глагола *kaupaþjan* "давать пощечину" не выяснена, поскольку параллели в других языках отсутствуют. Давно предполагалось, что источник этого глагола — какое-нибудь слово, начинающееся с *kol*, типа лат. *colaphus* "оплеуха" (из греческого). Развивая эту идею, Брюх выводил *kaupaþjan* из \**colþidare* с велярным *l* [6], в чем его поддержал Матцель; по мнению последнего, гот. *l* в отличие от лат. велярного *l* не было лабиализованным [7]. Если *kaupaþjan* произошло из \**colþidare*, оно представляет собой поразительный дублет к обсуждавшемуся выше англ. *cope* (франц. *coupe*) < *colper*: перед нами тот же глагол из того же этимона, с дифтонгом, проделавшим тот же путь развития под влиянием велярного плавного. Интервал между возникновением готского и среднеанглийского слов — примерно пятнадцать веков.

В истории германских языков сильнейшая активность приписывается и палатализованным согласным. Удобнее начать рассмотрение этого вопроса со сравнительно менее известных примеров. В древнеанглийском в эпоху, когда *i* и *j* вызывали палатальную перегласовку (умлаут), имел место и умлаут на *h*. Он заключался в переходе дифтонгов *eo*, *io* и монофтонга *e* в *i* перед конечными *xt*, *xz*, *xþ* и, возможно, перед этими же группами, когда за ними следовало *e*. Отсюда др.-англ. *cnihht* "мальчик", *riht* "правый", *hlīhð* "смеется" и пр. [8]. Источник палатального спиранта в грамматиках не разъясняется, но, по давней традиции, всякий переход *e* в *i* рассматривается как параллель к умлауту на *i*, о чем уже говорилось в связи с историей слова *sickness*.

Другая консонантная перегласовка — древнеисландский умлаут на *R*. *R*, возникшее из *z* в результате ротацизма, первоначально не совпадало со старым *r* и, судя по всему, было палатализованным. Примеры умлаута на *R* — др.-исл. *ker* "сосуд" (гот. *kas* < \**kaz*), др.-исл. *gler* "стекло" (ср. нем. *Glas*, англ. *glass*), др.-исл. *kýr* "корова" (вин.п. *kú*), др.-исл. *dýr* "животное" (гот. *cius* < \**diuz*), др.-исл. *eyra* "ухо" (гот. *auso*) [9]. Об источниках палатализованности в *R* было высказано несколько гипотез, но ни одна из них не может считаться вполне убедительной. О древнеанглийском же умлауте на *x* фонологических работ нет, возможно, потому, что аналогия с немецким *ich-Laut* ом создает иллюзию естественности всего процесса. А вместе с ним в современном норвежском, в котором *l* твердое, палатализовано конечное *r* (как в *ord* [u:r] "слово"), а в шведском палатализовано конечное *k* (например, в *takk* "спасибо"), но ни норвежцы, ни шведы (кроме профессиональных фонетистов) не подозревают об этой палатализации, и, разумеется, ни в *ord*, ни в *takk* нет умлаута ни на *r*, ни на *k*, так что ничего "естественного" в древнегерманских консонантных умлаутах нет (ср. ниже о рипуарском умлауте на *r*).

Итак, авторы исторических грамматик предполагают, что на протяжении по меньшей мере полутора тысяч лет в германских языках существовали палатализованные и велярные варианты *l*, распределенные дополнительно, но тем не менее активно влиявшие своей артикуляцией на произношение предшествующих гласных. Наиболее яркий пример такого влияния представляет собой древнеанглийское преломление. Поскольку преломление происходило перед группами "*l, r, h* + согласный", а также перед отдельно стоящими *x* и *w*, следует допустить, что *r* перед согласными тоже было велярным и что *x* было велярным во всех случаях. Велярность *r* доказывается еще судьбой *R*: возникнув на основе ротацизма. *R* было воспринято как палатализованное. Сюда можно добавить и то обстоятельство, что *r* часто смыкается с *x* по воздействию на гласные: перед *r* и *x*, а также перед (бифонемным?) *hw* имело место готское преломление, т.е. переход *i* > *e* и *u* > *o* (если повышение гласных — это реакция на палатализацию последующих согласных, то их понижение

естественно связать с велярностью), причем они же препятствовали умлауту от *a* на *i* в древненемецком (как правило, в составе групп *hi*, *hs*, *rw*, но *h/x* могло и само мешать изменению  $a > e$ ). В южнонемецких диалектах к запрещающим группам относятся и *l* + согласный. Набор фонем, связанный с преломлениями и умлаутом, примерно одинаков в готском, древнеанглийском и древненемецком.

С другой стороны, в древнеанглийском постулируется еще палатализованное *x*, но оно встречается только в сочетаниях *xi*, *xs*, *xþ*, т.е. рядом со звуками с дентальной артикуляцией. Непонятно лишь, почему в др.-англ. *meaht* "мощь", *eatha* "восемь", *weaxan* "расти" и т.п. (с  $ea < *æ$ ), в которых *h* /x/, по предположению, было велярным (ср. аналогичные группы в древненемецком), это же *h* /x/ впоследствии стало палатализованным, причем *eo*, *io*, т.е. дифтонги, возникшие в результате преломления, повысились перед ними в *i*. В дальнейшем (в позднедревнеанглийском и в среднеанглийском) два варианта *x*, и именно перед *i* и в удвоении, вновь возникают в описаниях истории английского языка, но теперь они уже распределены, как современные немецкие *ich-Laut* и *ach-Laut*, и почему-то зависят не от последующих согласных, а от предшествующих гласных. В среднеанглийском *eight* "восемь", *brought* "принес" и *laughter* "смех" имели дифтонги *ei* (с передним глайдом перед *ç*) и *ou*, *au* (с задним гласным перед *x*).

На протяжении веков англ. *r* очень сильно изменило свою артикуляцию, но еще сравнительно недавно англ. *er* превращалось в *ar* (отсюда британское произношение слов типа *clerk*, орфографические дублеты типа *sergeant/Sargent* и реальные типа *person/parson*), т.е. в новоанглийском, как и в готском, *e* понижалось перед *r*. О причинах перехода  $er > ar$  известно так же мало, как о причинах готского преломления.

Наиболее загадочна история *l* в скандинавских языках. В современных шведских и норвежских говорах встречается не только обычное "европейское" *l*, но и так называемое толстое *l*, на слух нечто среднее между *l* и *r*. Артикуляция, история и фонологический статус этого необычного сонанта рассмотрены М.И. Стеблин-Каменским [10]. Толстое *l* встречается на конце слова после гласного (но обычно не после *ei*, *i*, *y*) между гласным и (чаще) недентальным согласным и между (чаще) недентальным согласным и гласным. Тонкое же *l* встречается во всех прочих позициях: в удвоении, после *ei*, *i*, *y* и перед дентальными согласными. Ни в одном диалекте данное правило никогда не соблюдается; оба *l* нарушают дополнительную дистрибуцию и оказываются фонологически противопоставленными, но тяготение толстого *l* к периферийным, а тонкого *l* к дентальным согласным не вызывает сомнения.

А. Кок и А. Нуреев реконструировали два *l* и в древнеисландском. Частично они следовали традиции возводить некоторые изменения гласных к разным тембрам согласных и результатам ассимиляций (эта сторона дела лучше видна у Кока), но не меньшее влияние оказали на них и факты современных диалектов. По мнению М.И. Стеблин-Каменского и некоторых его предшественников, современное толстое *l* возникло из *rd* и не продолжает велярное *l*, но Нуреев уже в раннем издании своей "Древнеисландской грамматики" называл два др.-исл. *l* соответственно дентальным и толстым, т.е. использовал термины современной ему диалектологии. Его правило таково: в древнеисландском дентальное *l* встречалось по соседству с другими дентальными, в удвоении и в начале слова, а толстое *l* — во всех прочих положениях [11]. В последующих изданиях правило сформулировано так же, но оговаривается, что толстое *l* встречалось и перед дентальным, если причина контакта — синкопа. О синкопированных формах Нуреев написал отдельную, очень важную статью [12].

Уэссекское преломление происходило перед группой "l + любой согласный", и это обстоятельство частично губит реконструкцию велярного в древнеанглийском. Это преломление, как предполагается, было и в *ld*, и в *lx*. Древнеанглийское толстое *l* выглядит более правдоподобным. В древнеанглийском краткие гласные удлинялись только перед гоморганными группами, особенно регулярно перед *ld* и *nd*. В древнеисландском же удлинение происходило как раз перед негоморганными сочетаниями типа *lf*, *lm*, *lk*, и Нуреен делает вывод, что удлинение причинно связано с толстым *l*. Этот вывод чрезвычайно интересен, но не имеет прямого отношения к теме данной статьи. Заметим лишь, что открывается возможность реконструировать древние согласные не только по результатам умлаутов, преломлений и дифтонгизаций, но и по количественным сдвигам в закрытых слогах. Возникает также вопрос, правомерно ли говорить об общегерманских вариантах *l*: пока что получается, что *l* в др.-англ. *ld* было велярным, а в др.-исл. *ld* — дентальным.

Как показал Нуреен, древнеисландское толстое *l* может быть продуктом сравнительно недавней (для древнеисландского) синкопы. Не исключено, что и другие дополнительные признаки согласных возникли как компенсация за утрату основообразующих гласных, суффиксов и окончаний. В отношении палатализации эта гипотеза может считаться доказанной. Истоки веляризации и какуминализации (толстое *l* по характеристике М.И. Стеблин-Каменского, — раскатистый какуминальный сонант) скрыты более глубоко.

В западногерманских языках согласные, кроме *r*, стоявшие между кратким гласным и согласным + *j*, удваивались; поэтому, например, готским *bidjan* "просить" и *skapjan* "творить" соответствуют др.-англ. *biddan* и *scieppan*. Мысль о том, что удлинившиеся согласные были также и палатализованными, высказывалась неоднократно, но дальше разрозненных замечаний дело не пошло. Та же судьба постигла изучение палатализованных согласных, препятствовавших древнеанглийскому преломлению: и здесь литература полна лишь случайных соображений и намеков. Поскольку результатом древнеанглийского преломления были дифтонги с велярным глайдом, закономерно, что такие дифтонги не возникли перед сохранившимся *i*, т.е. в словах типа др.-англ. *nerian* "спасать", *werian* "защищать", *herian* "прославлять". Но нет преломления и в др.-англ. *tellan* "рассказывать", *sellan* "передавать", *hell* "ад", хотя *ll* образует позицию для преломления: ср. *feallan* "падать", *eall* "весь", *heall* "зал". Дело в том, что *ll* в *tellan*, *sellan*, *hell* возникли из *lj* (ср. др.-исл. *telja*, гот. *saljan*, *halja*). Западногерманская геминация, видимо, старше преломления, и не исключено, что преломлению препятствовало и *ri*, и палатализованное *ll*; в таком случае *l* не просто удвоилось перед *j*, а как бы вобрало его в себя. Во многих словах велярные дифтонги все же возникали перед *i*, *j* и впоследствии подверглись умлауту (например, в др.-англ. *eald* "старый" дифтонг возник по преломлению, а в форме сравнительной степени *ieldra* он умлаутирован; ср. гот. *alpeis*, *alpiza*), так что ни о каком четком правиле не может быть и речи; однако с возможностью существования палатализованных геминат в древнеанглийском нельзя не считаться [13]. Луик [3, § 142] предлагает некоторые соображения о хронологии описываемых здесь процессов.

Особенно существенны для истории палатализации изменения, связанные с умлаутом на *i*. В теориях умлаута издавна конкурируют два взгляда: в соответствии с одним из них, корневой гласный сдвинул свою артикуляцию под непосредственным влиянием *i/j*; в соответствии с другим, посредником в этом процессе был поствокальный согласный. Второй вариант реконструкции находит параллель в славянском падении безудар-

ных гласных, в наследство от которого русскому и польскому достались мягкие и твердые согласные, а не передние и задние гласные. Брауне относился к палатализованным согласным в германском скептически. В связи с этим он поставил ряд вопросов, на которые не смог ответить даже Зиверс, что, впрочем, не помешало ему всю жизнь оставаться при своем мнении. Вопросы Брауне следующие. 1) Если отпадение *i/j* привело к возникновению палатализованных поствокальных согласных, то где же эти согласные в современных германских языках? 2) Если умлаут на *i* предполагает палатализованные согласные, то почему умлаут на велярные гласные не нуждался в параллельном ряде веляризованных согласных? Когда же после выступления Тводела восторжествовала модель фонологизации аллофона и умлаут стали объяснять так, как это сделано, например, в работах М.И. Стеблин-Каменского [14], палатализованным согласным уже не нашлось места в теории умлаута. К тому же Пенцл, развивавший взгляды Тводела, заявил, что реконструкция палатализованных согласных противоречит фонологической точке зрения на умлаут, и так как никому не хотелось прослыть ретроградом, о них забыли.

Пенцл не объяснил, почему гипотеза о палатализованных согласных несоместима с фонологией и как в таком случае быть со славянским материалом. Скорее всего, однако, он хотел сказать, что данная гипотеза несоместима с его концепцией умлаута, которая, по его мнению, и представляет фонологию в наиболее выгодном свете. Что же касается вопросов Брауне, то на них мы можем сейчас дать частичный ответ. Палатализованные согласные широко распространены в современных германских диалектах, но в литературных языках их нет (именно поэтому наиболее последовательные сторонники палатализации в теории умлаута — диалектологи). Велярные согласные как продукт велярных умлаутов тоже могли существовать, но это особая проблема. Чуть ли не единственный надежный результат изучения умлаута в новейшее время состоит в том, что историки языка отказались от надежды вывести единую формулу перегласовок. Где-то обошлось без палатализации, а где-то она, по всей вероятности, была. Наиболее показательны факты древневерхненемецкого языка.

В древневерхненемецком умлауту подверглось только краткое *a*: под влиянием *i* следующего слога это *a* перешло в *e* и обозначалось буквой *e*, как и старое *e*; перед определенными группами согласных, о которых шла речь выше, не было даже этого изменения. Все остальные гласные подверглись перегласовке лишь в средневерхненемецком, и совершенно не понятно, почему процесс умлаутизации растянулся в немецком на много веков и почему древневерхненемецкий не пошел по тому же пути, что древнеанглийский и древнеисландский. Статус *e* (умлаутного) тоже неясен. Поскольку *ë* (старое) в *erde* "земля" и *e* в *ferit* "едет" (совр. нем. *fährt*) обозначались одной и той же буквой, то новое *e*, видимо, слилось со старым, но в ряде современных диалектов их рефлексy представлены разными фонемами, из чего делается вывод, что это различие восходит к эпохе умлаута: *e* и *ë* были якобы разными аллофонами фонемы */e/* и впоследствии фонологизовались.

Еще более неожиданно то, что "заградительные" группы, препятствовавшие умлауту в древневерхненемецком, потеряли свою силу в большинстве средневерхненемецких диалектов, и *mahti* (мн.ч. от *maht* "сила") стало *mehte* (совр. *Mächte*). Обычно это третье *e* сливалось с *ë*, но в некоторых диалектах существуют три фонемы, и последователи Тводела-Пенцла реконструировали еще один аллофон (перед *ht* и т.п.), чтобы было чему в средневерхненемецком фонологизоваться. Если оставить игру в аллофоны прошлому, то всю картину можно реконструировать примерно так. В древ-

неверхненемецком *a* перешло в *e*, и это новое (умлаутное) *e* совпало со старым; никаких *ę* и *ě* тогда еще не существовало, отчего они и писались одной буквой. Однако в немецком умлаут был как бы славянского образца (и в этом допущении и состоит основа моей гипотезы) и затронул не столько корневые гласные, сколько поствокальные согласные. В *ferit*, как я полагаю, произносилось палатализованное *r* (кстати, палатализованное *r* встречается в современных немецких диалектах, а в рипуарских говорах есть даже умлаут на *r*) [15]. Аналогично и в *mahti* группа *ht* должна была быть палатализованной. Заграждающие группы — это те сочетания, которые палатализовались особенно легко и не "пропускали" умлаут дальше.

В средневерхненемецком корреляция по мягкости пала. О причине этого события можно только гадать, но оно не выходит из рамок основных фонетических изменений в германских языках: все сдвиги приводили к тому, что максимум информации сосредотачивался в корневом гласном, а поствокальный согласный начинал маркировать тип слогового примыкания (эта тенденция более заметна в западногерманском). Таким образом, перед формами *ferit*, позже *fert*, с палатализованным *r* и *ert-* (вариант *erde* в сложных словах) был выбор: либо перестать отличаться по фонемному составу, либо сохранить противопоставление. Диалекты, легшие в основу литературного языка, пошли по первому пути. В тех диалектах, которые выбрали второй путь, *e* в *fert* приобрело качество иное, чем в *ert-*, т.е. вместо /er/ : /er'/ возникло /ër/ : /er/; передача различительного признака согласным гласному и была моментом возникновения нового *e*. И в *mahti* группа *ht*, утратив палатализацию, передала ее гласному, перед которым стоял тот же выбор, что и перед *fert*. Обычно, когда в словах типа *mahti* умлаут доходил, наконец, до гласного, этот гласный совпадал с одним из двух имеющихся *e*; в исключительных случаях возникала еще одна фонема. Принято думать, что *ę* (древний умлаут от *a*) было максимально закрытым, *ě* (старое) — среднего подъема, а *ä* [как в *mehte* (продукт так называемого вторичного, или младшего, умлаута)] — максимально открытым, но в диалектах подъем *e* далеко не всегда определяется этимологическими соображениями.

Свою реконструкцию умлаута в немецком я изложил в специальной статье [16]. Мне хорошо известны ее уязвимые места (например, почему в *ferit* было и палатализованное *r*, и умлаутное *e*, а в *mahti* только *h't'*?; в южнонемецких диалектах вторичный умлаут часто так и не наступал, но где в них палатализованные группы? чем лучше реконструкция палатализованных согласных, чем аллофонов гласных? и т.п.), но я не буду останавливаться на подробностях. Некоторые обстоятельства объясняются моей гипотезой хорошо. Таков факт, что умлаут от *a* писался в древневерхненемецком через *e*. Таковы и случаи типа нем. *füllen* "наполнять", *hören* "слушать". В готском были *fulljan* и *hausjan*, а в древневерхненемецком *fullen* и *horen*. В средневерхненемецком — чуть ли не через тысячу лет после исчезновения *j* — *fullen* превратилось в *füllen*, а *horen* в *hören*. Где же искать источник умлаута, если не в *ll* и *r*? И в целом лучше иметь дело с реальной палатализацией, чем с аллофонами, только для того и сконструированными, чтобы превратить их в фонемы (обстоятельство, замеченное еще Я.Б. Крупаткиным [17]. Об уровне традиционно-фонологической реконструкции немецкого умлаута можно судить по соответствующим разъяснениям М.И. Стеблин-Каменского [18], хотя немецким он никогда специально не занимался и в своем обзоре он воспроизвел то, что обнаружил у специалистов. В контексте данной статьи главным было обратить внимание на возможную роль палатализации в истории умлаута, а не доказывать каждую мелочь. Если главная идея моей гипо-

тезы верна, проясняется и история двух  $\bar{a}$  в древнеанглийском (рефлекс  $*e_1$  и умлаут от  $\bar{a} < ai$ ): поначалу эти  $\bar{a}$  произносились одинаково, но в среднеанглийском (в части диалектов) сузились в разные  $\bar{e}$  и в дальнейшем продолжали раздельное существование.

Подведем некоторые итоги. В истории германских языков многочисленные изменения гласных приписываются влиянию соседних согласных, но о самих согласных известно сравнительно мало и поэтому их способность воздействовать на гласные либо переоценивается, либо недооценивается. Например, Нуреен замечает, что древнеисландскому преломлению (т.е. переходу  $a$  в  $ia$  или в  $iq/io$ ) мешали  $v$ ,  $w$ ,  $l$  и  $r$ , стоявших до  $e$  (поэтому, например, мы имеем *gialda* "платить", но *vefa* "ткать", а не  $*vjafa$ ) [12, § 90, примеч. 8]. Но что это за "закон", воспроизведенный всеми историческими грамматиками скандинавских языков? В соответствии с описанием того же Нуреена, преломление было вызвано воздействием  $a$  и  $u$  второго слога на корневое  $e$ : перед  $a$   $e > *ea > ia$ , перед  $u$   $e > *ea > *ia > iq (io)$ . Если верно, что  $e$  дифтонгизовалось перед отпавшим окончанием, то как могли сонанты, стоявшие до гласного, помешать переходу  $e$  в  $ia$ ,  $iq$ ?

С другой стороны, древнеисландское и древнеанглийское преломление, а также древнеанглийский велярный умлаут — явления одного порядка, но почему-то первый и третий из названных процессов были, как принято думать, спровоцированы гласными последнего слога, а второй — поствокальными согласными. Еще удивительнее то, что готское преломление, ничем не похожее на древнеанглийское, по общепринятому мнению, произошло перед определенными согласными, т.е. получается, что сходные (даже идентичные) факторы вызвали принципиально различные реакции, а принципиально разные факторы приводили к идентичным результатам. Разумеется, фонетический контекст, позиция — не генераторы изменений, и гласные не могут понизиться лишь потому, что стоят перед  $h$  или  $r$ , как не может в миске появиться рыба, только если налить в нее воды, но без воды рыба все-таки не появляется на свет: что-то в определенную эпоху происходило именно перед  $r$ ,  $h$  или  $c'$ ,  $r$ ,  $h$ , отчего  $i$  и  $u$  превратились в  $e$ ,  $o$ .

Вполне вероятной кажется гипотеза, что на протяжении веков сонанты и заднеязычные шумные были палатализованными и веляризованными (относительно  $k$ ,  $sk$ ,  $g$  и возникших из них аффрикат так всегда и говорилось), но эта гипотеза, особенно в том, что касается сонантов и  $x$ , нуждается во всесторонней проверке (литература о начальных  $k$ ,  $sk$ ,  $g$  очень велика; особого внимания заслуживает [19]). Например, необходимо составить полный список древнеанглийских слов, подвергшихся преломлению и избежавших его. Этимологический анализ покажет, можно ли связать преломление и дополнительный признак поствокальных согласных с падением основообразующих гласных. Нужно перечитать исторические грамматики германских языков, собрать все примеры предполагаемого воздействия согласных на гласные и все вскользь брошенные замечания о мягких и твердых согласных и установить, насколько единодушны были исследователи в своих оценках; кое-какие разногласия обнаруживаются сразу же: ср. объяснение гласного  $/i/$  в форме *sick*, данное Луиком [3, § 386, примеч. 2]. Важно установить, о позиционных или независимых признаках идет речь, к какой эпохе относятся различия между двумя типами и какую роль в их истории играет маркировка.

Реконструкция палатализованных и веляризованных согласных (не только заднеязычных шумных) может способствовать решению некоторых трудных задач. Подобно тому, как средневерхненемецкий умлаут приобретает совершенно мистический характер, если не допустить вмешательства палатализованных согласных, так и "младшие" умлауты и преломления

перед неотпавшими гласными останутся загадкой без учета истории согласных. Можно понять, почему др.-исл. \*berga "гора" и \*bergu (мн.ч.) дали bjarg и björg, но почему hjarta "сердце" и hjalpum "помогаем" не остались \*herta и \*helpum? Если дифтонгизация была результатом передачи признака поствокальным согласным гласному, то отпадение гласного уже не имело никакого значения. Ср. также историю æ₁ и æ₂ в среднеанглийском языке. Но сразу возникает сомнение, не флогистоном ли мы пользуемся в своем описании. Таких горючих элементов предлагалось множество. Хорн, например, любое изменение, от e > i в англ. pretty "хорошенький" до великого сдвига гласных объяснял подъемом голоса в эмфазе.

Особенно запутана ситуация в скандинавском ареале, где, кроме толстого и тонкого /l/, есть еще "сегментированные" и палатализованные ll и ll̥. Этой темой занимались довольно много, и ей посвящены подробные работы Ю.К. Кузьменко [20, 21]. В настоящее время история палатализованных и веларизованных согласных в германских языках не интересует никого, и нельзя рассчитывать, что в этой области исторической фонетики неожиданно начнется бум, ибо относящийся к делу материал не собран, а результаты могут оказаться скромнее, чем ожидается. Попытка проникнуть в историю германской палатализации (если ее когда-нибудь предпримут) будет иметь больший шанс на успех, если будет исходить от специалистов, в чьем родном языке есть мягкие и твердые согласные и которые смогут поэтому опереться как на свои артикуляторно-акустические навыки, так и на научную традицию, недоступную людям, изучавшим лишь классическую, романскую и германскую филологию.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Berndt R. Einführung in das Studium des Mittelenglischen. Halle (Saale), 1960.
2. Horn W., Lehnert M. Laut und Leben. II. B., 1954. S. 887—889.
3. Luick K. Historische Grammatik der englischen Sprache. Leipzig, 1914—1940.
4. Gusinde K. Eine vergessene deutsche Sprachinsel im polnischen Oberschlesien (die Mundart von Schönwald bei Gleiwitz). Breslau, 1911.
5. Behaghel O. // Literaturblatt für germanische und romanische Philologie. 1912. Bd 35. Rec.: Gusinde K. Eine vergessene deutsche Sprachinsel im polnischen Oberschlesien.
6. Bruch J. Got. kaupatjan "ohrfeigen" // Z. für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 1951—1952. Bd 83.
7. Matzel K. Anlautendes pl- und fl- im Gotischen // Die Sprache. 1962. Bd 8. (Gesammelte Schriften. Heidelberg, 1990. S. 186—187).
8. Campbell A. Old English grammar. L., 1962. §§ 304—311.
9. Noreen A. Altnordische Grammatik. 5-te Aufl. Tübingen, 1970. §§ 71—72.
10. Стеблин-Каменский М.И. Об одно норвежско-шведской фонологической тенденции развития ( альвеолярные и какуминальные в норвежском и шведском) // Стеблин-Каменский М.И. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966.
11. Noreen A. Altisländische und altnorwegische Grammatik. Halle (Saale), 1892. §§ 40. 111. 3.
12. Noreen A. Etymologisches // IF. 1894. Bd 4.
13. Sievers E., Brunner K. Altenglisches Grammatik. Halle (Saale), 1951. § 85.
14. Стеблин-Каменский М.И. Что такое "умлаут" // Материалы Первой научной сессии по вопросам германского языкознания. М., 1959.
15. Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М.; Л., 1956. С. 193.
16. Liberman A. Complementary distribution as a tool of phonological analysis with a note on the e sounds in Old High German // General linguistics. 1987. V. 27.
17. Крупаткин Я.Б. Фонологический вариант фонемы и несмыслоразличительные оппозиции // ВЯ. 1971. № 3.
18. Сравнительная грамматика германских языков. Т. 2. М., 1962. С. 148—150.
19. Einarsson S. Some notes on E. Prokosch's "A comparative Germanic grammar" with special reference to his treatment of the Scandinavian languages // The journal of English and Germanic philology. 1941. V. 40. P. 41—47 (Einarsson E. Studies in Germanic philology. Hamburg, 1986).
20. Кузьменко Ю.К. Выражение маркированности у членов противопоставлений /l¹/ — /l²/, /n¹/ — /n²/ в датских диалектах // Лингвистические исследования. 1976. М., 1976.
21. Кузьменко Ю.К. Судьба исконных противопоставлений /l/ — /ll/, /n/ — /nn/ в скандинавских языках // Уч. зап. ЛГУ. 1978. Т. 399: Scandinavica 3.

© 1993 г. ЯКОВЛЕВА Е.С.

**О НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ ПРОСТРАНСТВА  
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА**

"Пространство — та однородная, ни в одной из возможных точек ничем не выделяющаяся, по всем направлениям равноценная, но чувственно не воспринимаемая разъятость?"

*М. Хайдеггер*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

**0.1. Постановка задачи.**

Выявление пространственных моделей проводилось на основе семантического и референциального анализа наречий, традиционно объединяемых в синонимические ряды: *далеко* — *вдали*, *вдалеке* и *близко* — *вблизи*, *по близости*, *рядом*, *неподалеку*, *недалеко*. Однако формирование семантических описаний этих слов было лишь промежуточной задачей. Главную же цель работы мы видели в том, чтобы, опираясь на найденные семантические характеристики, выявить скрытые от непосредственного наблюдения представления о пространстве в русской языковой картине мира, нашедшие отражение в этих словах. Конкретным воплощением этой цели стало описание некоторых моделей пространства, свойственных русскому языковому сознанию.

Важно учитывать, что рассматриваемые наречия образуют целостную систему противопоставлений, составляющих в совокупности законченный фрагмент пространственной картины мира, только в эгоцентрическом употреблении — когда 2-я валентность наречия явно или неявно заполняется говорящим (*Иван недалеко; Москва рядом; Вдали виднеются горы* — во всех этих высказываниях объект описывается относительно говорящего). Реально же в работе рассматривалось эгоцентрическое употребление с незаполненной 2-й валентностью, и, кроме того, материал ограничивался высказываниями, в которых наречия отвечают на вопрос "Где?". Высказывания же типа *Иду я далеко* исключались из анализа по той причине, что в них наречия на -о не сопоставимы с другими дистанционными показателями, не способными отвечать на вопрос "Куда?".

Наблюдение за употреблением слов с семантикой "далеко"/"близко" позволяет увидеть некоторые особенности отражения пространственных характеристик в русском языковом сознании, в частности, — языковую релевантность многих "донаучных" понятий (архетипических, мифологических представлений человека о пространстве).

Представляется целесообразным предварить конкретный лингвистический анализ слов с пространственной семантикой обсуждением некоторых общих вопросов, связанных с пониманием самого "пространства".

**0.2. Пространство геометрическое vs. семиотическое.**

В работе "Пространство и текст" В.Н. Топоров пишет о двух пониманиях пространства: по Ньютону и по Лейбницу. В первом случае про-

странство — "нечто первичное, самодостаточное, независимое от материи и не определяемое материальными объектами, в нем находящимися...". Во втором случае пространство — "нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком сосуществования вещей..." [1, с. 228].

Вопрос, взятый нами в качестве эпиграфа к данной работе, говорит о наличии "проблемы пространства". Постановленный М. Хайдеггером в такой форме, этот вопрос по существу является и ответом, вариантом решения, справедливость которого философ прослеживает на примере художественного пространства скульптуры: оно неоднородно, неравноценно, вторично по отношению к вещам, его заполняющим (см. [2]). Ср. в этой связи приведенные в [3, с. 198] строки о Павла Флоренского о феномене художественного пространства "Божественной комедии": "И, наконец, самое пространство — не одно только равномерное бесструктурное место, не простая графа, а самосвоеобразная реальность, насквозь организованная, нигде не безразличная, имеющая внутреннюю упорядоченность и строение".

На принципиальную разнородность художественного пространства и пространства геометрического (ньютоновского) указывает Ю.М. Лотман в работе о художественном пространстве в прозе Н.В. Гоголя, ср.: "Пространство не образуется простым рядоположением цифр и тел... понятие пространства не есть только геометрическое" [4, с. 274]. Поскольку, как пишет Ю.М. Лотман, "художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений" [4, с. 252—253], сама "пространственная терминология" наполняется особым содержанием: признак "далекости" может коррелировать с *внешним, иным* (в пределе *чужим и чуждым*), а признак "близости" — соотноситься с *внутренним, своим*.

Таким образом, можно считать, что искусство основывается на лейбницеvском понимании пространства (упорядоченного, структурированного). Если ньютоновское пространство является некоторой объективацией идеи пространства, принципиальным отвлечением от фактора восприятия пространства человеком, то у Лейбница пространство "одушевляется" человеческим присутствием, оно трактуется, "прочитывается" человеком. Ньютоновское пространство принадлежит физике и геометрии; лейбницеvское же относится, скорее, к области человеческих представлений о мире, так сказать, "наивной философии" мира. "Постулаты" этой философии лежат в основании картины мира.

Идея пространства в архаической модели мира, как отмечает В.Н. Топоров, сводится к его "собиранию", "оживанию", "освоению": "Некогда в начале творения пространство было про-стерто, раз-бросано, повсюду (уровень Творца в чистом виде). Но через мир вещей и через человека (последующий уровень творца вещей) пространство собирается как иерархизованная структура соподчиненных ему смыслов" [1, с. 242].

Существенно то, что язык описывает уже это "обжитое" человеком пространство. В.Н. Топоров приводит многочисленные примеры "очеловечения" "вселенского пространства через его связь с членами тела": *подножье горы, горный хребет, устье реки* [1, с. 244].

Идею антропоцентричности языка в настоящее время можно считать общепризнанной: "...для многих языковых значений представление о человеке выступает в качестве естественной точки отсчета" [5, с. 31]. Одним из следствий антропоцентричности является субъективность многих языковых категорий (см. об этом [6—8]). В применении к нашей теме антропоцентричность обычно понимается как "присвоение субъектом простран-

ства" [9, с. 141], отсюда — вывод об относительности пространственных характеристик (там же).

Вообще говоря, пространство в языке и пространство в геометрии (физике) отличаются уже тем, что в первом есть принципиальная возможность охарактеризовать объект в терминах "далеко"/"близко". В пространстве же геометрическом такие (субъективные) характеристики исключены, там местоположение определяется в точных метрических терминах.

Пространственные модели, выявленные с помощью семантического анализа дистанционных показателей, свидетельствуют о том, что и языковому сознанию свойственна семиотизация пространства, восприятие пространства как текста. Наблюдение за употреблением пространственных наречий позволяет говорить о релевантности для русского языкового сознания таких понятий, как "обживание" пространства, его "собираение". Картина пространства в русском языковом сознании не сводима ни к какому физико-геометрическому прообразу (= "трехмерной пустоте"): пространство (по крайней мере, в этой его части) мыслится носителями русского языка как неоднородное; его нельзя считать непрерывным; пространство не является простымместищем объектов, а, скорее, наоборот — конституируется ими, и в этом смысле оно вторично по отношению к объектам. Поскольку часто пространство ощущается, воспринимается именно через "эманацию" вещей, его заполняющих [по Платону, пространство — "материя чувственно являемого мира" (цит. по [10, с. 270])], для описания пространственных отношений релевантны такие признаки, как "положение наблюдателя", "характер и условия восприятия" (язык описания "пространства непосредственного восприятия" — первичного дейксиса — разработан Ю.Д. Апресяном (см., например [5]), и здесь мы используем его терминологию).

## ЯЗЫКОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

### 1. Фактор непосредственного восприятия, "наблюдения" при описании пространственных отношений.

"Наблюдение" передается наречиями *вдалеке, невдалеке, вблизи, вдали* в тех случаях, когда, как пишет Ю.Д. Апресян, у них "не реализована 2-я валентность" [5, с. 19], т.е. пространственным ориентиром, относительно которого указывается местоположение объекта, является "наблюдатель" (как правило, это сам говорящий)<sup>1</sup>, например: *Вдали показался парус; Невдалеке виднеется церковь*. "Наблюдение" предполагает взгляд со стороны на предмет описания. Ю.Д. Апресян отметил естественное следствие такой семантики, а именно — невозможность употребления указанных наречий при самоописании (\**Вдали показался я верхом на лошади; \*Вдалеке стояли мы с Володей*). Слова с семантикой "наблюдения" противопоставлены не отмеченным этим признаком наречиям *далеко, недалеко, близко, рядом, неподалеку, поблизости*. Последние способны описывать и говорящего относительно какого-либо объекта, например: *Скоро придем, мы уже близко*.

Наличие непосредственного восприятия в семантике слов типа *невдалеке* предопределяет их связь реальным модальным планом высказывания —

<sup>1</sup> В настоящей работе мы сознательно опускаем вопрос о "носителе" точки зрения и понятие "говорящий" используем в предельно широком значении — не делая специальных оговорок для речевого и нарративного режима употребления языка. "Говорящий" в дальнейшем может обозначать и субъекта речи, и субъекта сознания, и наблюдателя (ср. использование этих дефиниций в работах Е.В. Падучевой [11, 12]). Для нас говорящий — это тот, кто осуществляет языковой выбор, использует анализируемое слово, т.е. является носителем языкового сознания.

они в принципе исключены в контексте ирреальных наклонений, гипотезы и под. Можно сказать: *Будьте поблизости/неподалеку* и плохо: *\*Будьте невдалеке/вдали/вблизи*.

Семантика "наблюдения" влияет и на выбор предикатов для описания местоположения объектов: если у слов *неподалеку, поблизости* объект может быть *расположен*, он может *находиться, пролегать* (т.е. описываться в терминах неактуальных, по Т.В. Булыгиной [13], предикатов), то у наречий *невдалеке, вдали, вдалеке* объект *виднеется, поблескивает, высится*. Ср.: *Печальные ели // Темнеют вдали без движенья* (В. Соловьев) при сомнительности *\*Вдали растут ели / посажены ели*.

"Перцептивность" таких наречий, как *невдалеке, вдали, вдалеке*, определяет их притяжение к изобразительному функциональному типу речи, по Г.А. Золотовой [14]. Поскольку повседневная речевая практика в основном оперирует информативным функциональным регистром, данные наречия в ней относительно редки. Ср. естественность использования *невдалеке* в повествовании (письме, рассказе): *Как хорошо кругом! Невдалеке шумит ручей...* и неуместность этого наречия в чисто информативном тексте: *Осторожно! ?Невдалеке стоит милиционер* (нужно: *неподалеку*).

Таким образом, помимо употребления в высказываниях с реальной модальностью для слов с семантикой "наблюдения" характерно употребление в актуальных высказываниях с интенцией "изобразительность", а не "информативность".

## 2. Неоднородность пространства: абсолютная и относительная модели.

Наречия с семантикой "далеко"/"близко" задают две, совершенно различные, модели (интерпретации) пространственных отношений: *близко, недалеко, рядом, далеко* являются относительными оценками удаленности объекта от говорящего, а остальные слова (*неподалеку, поблизости, невдалеке* и др.) выражают абсолютные оценки.

Поясним суть этого противопоставления на таком примере.

Во фразе *Смотри, вон вдали показался Иван* слово *вдали* указывает, что Иван находится на максимальном расстоянии от говорящего, при котором он все же доступен визуальному восприятию (можно сказать, что Иван, условно, где-то у линии горизонта). В подобной ситуации высказывание *Иван поблизости* было бы неуместно, а фраза *Смотри, Иван близко* не противоречила бы предметной ситуации в том случае, если бы расстояние до Ивана характеризовалось не само по себе, а в сравнении с гораздо большим расстоянием (скажем, Иван приближался бы к финишу марафонской дистанции).

Аналогично, высказывание *Магазин поблизости* всеми потенциальными адресатами будет понято более или менее одинаково — на расстоянии нескольких минут ходьбы; фраза же *Магазин близко* не задает расстояние до объекта столь однозначно: для девушки, любящей ходить по магазинам, расстояние в несколько кварталов — *близко*, а для старика — нет (для него *близко* — это в соседнем доме).

Абсолютные оценки действуют в пределах некоей условной "окрестности говорящего". Так, слова с семантикой "наблюдение" не только задают непосредственно воспринимаемый участок пространства "окрест" субъекта, но и распределяются по дистанционным поясам: то, что находится у линии горизонта, не может квалифицироваться как *вблизи/невдалеке* лежащее, и наоборот. Ср.: *Город наполовину терялся вдали (\*вблизи/невдалеке), скрытый покатосями местности* (Б. Пастернак). Дистанционная закрепленность слов с перцептивной семантикой отчетливо ощущается в контексте предиката *виднеется*: можно сказать *Невдалеке виднеется церковь* и плохо *\*Вблизи виднеется церковь* (предикат предполагает взгляд

на предмет описания с расстояния, большего, чем задает показатель ближайшего дистанционного пояса).

Но среди показателей абсолютных оценок есть и свободные от условия непосредственного восприятия — наречия *поблизости*, *неподалеку*. Они подчеркивают функциональную доступность предмета описания. Не связанные семантикой "наблюдения", эти локализаторы обладают свободой передвижения по "окрестности", т.е. реально могут задавать разные дистанции (*Поблизости сидит/живет Иван*). Но и они абсолютны в том смысле, что не способны к описанию объектов за пределами "окрестности говорящего". Между тем относительные оценки никак не связаны с фактором конкретных расстояний. Объект может быть *близко* или *далеко* с точки зрения говорящего и в пределах одной комнаты и за пределами страны, материка и т.д. (*Луна близко*). Именно здесь сказывается, по выражению Ю.Д. Апресяна, "релятивизм наивной геометрии пространства", "зависимость нормы расстояния от параметров текущей ситуации": "важны не столько фактические физические пространства..., сколько способ их восприятия говорящим" [5, с. 16].

Из сказанного, в частности, следует, что относительные оценки более субъективны — они передают мнение конкретного говорящего о характере расстояния, их выбор связан с индивидуальной мерой дальности и потому не может быть оспорен с объективных позиций, т.е. всегда корректен.

В отличие от абсолютных, относительные оценки открыты "творческой деятельности": они допускают добавочные модификации (уточнение, градуирование), ср.: *очень далеко*, *так близко*, *сравнительно рядом*. При некорректности: \**очень поблизости*, \**так вдалеке*. Абсолютные показатели не градуируются и практически исключают добавочные модификации, ведь это уже готовые, "объективировавшиеся", оценки.

Мера дальности у относительных показателей часто зависит от сравнения описываемого расстояния с предшествующим<sup>2</sup>. Например: *В прошлом году Игорь был далеко — в Австралии, а нынче он близко — в Польше*. Эта "динамичность" относительных оценок определяет возможность их употребления при описании изменения расстояния между говорящим и объектом описания (*Х уже/еще далеко*). Абсолютные же показатели, вследствие своей "статичности", не используются в тех случаях, когда описываемый объект является целью движения, пунктом назначения или лежит на пути движения. Ср. у А.С. Пушкина: *Жадрино должно быть недалеко*. Если бы Жадрино оставалось в стороне от дороги, показатель типа *неподалеку* был бы вполне уместен.

Семантические особенности абсолютных и относительных показателей определяют и их синтаксическое поведение.

Показатели относительных оценок тяготеют в высказывании к позиции ремы, часто они выступают в роли предикатов, что исключено для тех абсолютных оценок, которые отмечены признаком "непосредственное восприятие". Если мы сравним "динамичное" *недалеко* со "статичным" *недалеке*, то увидим, что последнее (слово с семантикой "наблюдения"), как правило, занимает в высказывании позицию "кулис": *Недалеке сидит Иван; недалеко*, напротив, находится в высказывании в фокусе внимания: *Иван сидит недалеко*. В тематической позиции "кулис" *недалеко* используется редко. "Статичные" *недалеке*, *вблизи*, *вдали*, *вдалеке* тематичны, поскольку они являются простыми "фиксаторами" того места "окрестности",

<sup>2</sup> Ср. у А. Вежбицкой: "Близко вторично по отношению к *ближе*, наречие *далеко* вторично по отношению к *дальше*. Высказывание *От А до В близко (далеко)* должно быть представлено как *От А до В ближе (дальше), чем можно ожидать*" [15].

в котором разворачивается соответствующее действие. Например: *Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием* (Б. Пастернак). Можно сказать, что выбор того или иного дистанционного показателя в этом случае навязывается говорящему самой предметной ситуацией, и вопрос об оценке расстояния находится на периферии внимания. Картина иная для относительных показателей: их выбор субъективен, он может быть связан с индивидуальными представлениями о мере дальности, может зависеть от сравнения описываемого расстояния с предшествующим (большим или меньшим). Поэтому именно здесь актуализируется вопрос об оценке расстояния: оно не просто констатируется (как у абсолютных показателей), но именно оценивается. Для оценки же характерна позиция ремы, предиката предложения.

Таким образом, наречия с семантикой "далеко"/"близко" способны к выражению разных точек зрения на конкретное физическое расстояние, к разным интерпретациям пространственных отношений: *далеко, близко, рядом* представляют расстояние между говорящим и предметом описания как относительное — обусловленное, главным образом, функциональными аспектами ситуации (из высказывания *Иван недалеко* нельзя сделать каких-либо выводов о реальной удаленности Ивана от говорящего); слова *вблизи, поблизости, недалеко, неподалеку, вдали, вдалеке* выражают, по существу, абсолютные оценки расстояния (высказывание *Иван неподалеку* со всей однозначностью указывает, Иван находится где-то в сравнительно малой окрестности говорящего).

"Окрестность говорящего" (абсолютная модель) предполагает известность, освоенность, так сказать, "исхоженность" описываемого участка пространства, некий образ пространства, связанный с поверхностью земли (ср. освоение, обживание пространства в архаической модели мира, по В.Н. Топорову). В самом деле, находясь в метро (не на поверхности земли!), мы не говорим о функционально близких станциях *Пушкинская неподалеку/поблизости*. В этой ситуации используются относительные показатели *недалеко, близко, рядом*.

Дихотомия пространственных оценок, получившая языковое воплощение в словах с семантикой "далеко"/"близко", вносит существенные коррективы в общепринятые представления о том, что "...членение пространства... должно быть сугубо относительным" [9, с. 141]; тот или иной способ описания может и навязываться говорящему картиной мира.

### 3. "Давление" на язык "среды обитания"<sup>3</sup>.

Принадлежность к "окрестности говорящего" связывает абсолютные показатели и таким условием: они применимы только при описании объектов, расположенных на горизонтальной плоскости (поверхности). Если же описываемый объект находится над или под говорящим (субъектом восприятия, "наблюдателем"), о нем нельзя сказать, что он *вдалеке/вдали*. Приведем примеры, в которых с необходимостью используются относительные оценки, поскольку объект описания находится за пределами горизонтальной плоскости: [*пастух спускается с гор*] *Как только он вышел на косогор, в лицо ему ударил шум воды. Далеко внизу всеми рукавами мутно блестела дельта Кодора* (Ф. Искандер); *В это время далеко наверху стукнула дверь. "Это он вошел", — с замиранием сердца подумал Поплавский* (М. Булгаков). Как видим, показатели относительных оценок не требуют обязательной горизонтальной ориентации объектов описания, поскольку они не ограничены "окрестностью говорящего".

<sup>3</sup> Выражение Н.Д. Арутюновой — "потребность связать язык со средой его обитания" [16].

Рассмотренные факты позволяют предположить, что категория дистанции в русском языке тесно связана с горизонтальной ориентацией пространства, т.е. в этой области языковой семантики находит отражение, так сказать, "плоскостное", "равнинное" мышление говорящих (язык отразил наиболее типичный ландшафт). Ведь картина, в принципе, может быть и другой — например, для языков горных народов. Так, в [17] отмечается, что в будухском языке "стратификация по вертикальной оси... накладывается на дистанционные значения": слово может одновременно характеризовать местоположение объекта по линии близости/дальности и по вертикальной ориентации, например, *аҕе* значит "тот далекий, ниже меня" (там же).

#### 4. Пространство "прочитывается" по объектам, его заполняющим.

Анализ показал, что из всех рассматриваемых нами слов к описанию "пустого" пространства (т.е. пространства безобъектного, безсобытийного) способны только *рядом, поблизости, вблизи*: можно сказать *Рядом нет ни одного магазина; Поблизости/вблизи все тихо* и нельзя *\*Вдалеке все тихо; \*Невдалеке никого нет; \*Неподалеку нет ни одного магазина*<sup>4</sup>.

В столь различном поведении наречий можно видеть языковое отражение архаического понимания пространства, согласно которому пространство "не предшествует вещам, его заполняющим, а наоборот, конституируется ими" [1, с. 234]. В самом деле, наречия *рядом, вблизи, поблизости* употребляются в тех случаях, когда пространство определяется через говорящего; говорящий — это тот объект, та "вещь", которая конституирует описываемое пространство. Остальные же наречия — *неподалеку, невдалеке, вдали* и под. — являются характеристиками пространства, внешне его по отношению к говорящему, пространства объектов ("вещного пространства", по В.Н. Топорову). Без объектов внешнее пространство как бы не существует — не поддается описанию.

По признаку «способность к описанию отсутствия, "пустоты"» с показателями "места говорящего" сходны такие координатные слова, как *сзади, впереди, слева, справа, сверху, внизу*. Ср.: *Впереди никого нет*. Интересно, что и они могут описывать только "близлежащее отсутствие", ср.: *Далеко впереди виднеются огни большого города* при невозможности *\*Далеко впереди никого нет / ничего не видно*.

Итак, мы находим еще один пример диктата вещей при описании пространства: "...вещи не только конституируют пространство через заданные его границы, отделяющих пространство от не-пространства, но и организуют его структурно, придавая ему значимость и значение (семантическое обживание пространства)" [1, с. 242].

#### 5. Пространство физическое vs. умозрительное.

До сих пор при выявлении специфических черт языкового отражения пространства мы оперировали примерами, в которых языковой интерпретации подвергались расстояния до конкретных физических объектов. Если мы расширим сферу рассматриваемого материала (привлечем к анализу высказывания о нереферентных объектах либо об объектах с неизвестным местоположением и под.), то мы увидим, что и в этих случаях абсолютные и относительные дистанционные показатели обладают разными возможностями употребления.

"Окрестность говорящего" (абсолютная модель) — это конкретное физическое пространство (трехмерное, гомогенное, протяженное). Поэтому

<sup>4</sup> Относительные показатели не участвуют в этом противопоставлении, поскольку их употребление в тематической позиции затруднено — одинаково плохо сказать: *Близко сидит Иван* и *Близко никого нет*.

абсолютные показатели всегда конкретно референтны, сфера их описания ограничена объектами с конкретной локализацией.

Относительные показатели не связаны этим условием: свобода от границ "окрестности" (= конкретного физического пространства) позволяет им описывать объекты, местоположение которых неизвестно, неопределенно или даже неопределимо. Например: [об арестованном] *Как вы думаете, Коля еще здесь, в городе, или уже далеко?* (Л. Чуковская). Локализация описываемого в данном случае объекта (арестованного) не может быть определена в конкретно-пространственных терминах типа "неподалеку" (Ср. преимущественное использование именно относительных показателей в вопросах.)

Неопределенность локализации может быть и принципиальной для описания объекта: не существенно, где он, важно — "близко" это или "далеко" (т.е. оценка расстояния в таких случаях является смысловым акцентом пространственного указателя). Например: *Но окно тюрьмы высоко // Дверь тяжелая с замком, // Черноокая далеко. // В пыльном тереме своем* (М. Лермонтов). "Дальность" здесь не является собственно пространственной — это, скорее, некий символ разъединенности: далеко значит "не рядом", "не вместе". В подобных случаях выбор конкретного локализатора является косвенным указанием на отсутствие (*далеко*) или наличие (*близко*) объекта. При этом отсутствие символизирует как бы функциональное небытие (ведь если "бытие означает присутствие" [18], то указание на отсутствие может означать небытие объекта).

Наполняясь особым содержанием, дистанционные показатели формируют некое новое — "бытийное" — квазипространство, с иной системой отношений, иными характеристиками самого "пространства".

5.1. Бытийное квазипространство — это умозраительное (не непрерывное, не гомогенное) пространство с различной значимостью частей, пространство полюсов "далеко"/"близко". Между полюсами нет промежуточной зоны: описываемая в этих случаях область не обладает одной из фундаментальных характеристик пространства физического (трехмерного) — протяженностью. Квазипространство дистанционной оценки не разворачивается, не простирается, как физическое пространство. И *далеко*, *близко*, *рядом* в данной системе отношений — это уже готовые оценки, стереотипизировавшиеся как опосредованный способ описания наличия/отсутствия объекта.

Как кажется, нереперентное употребление относительных показателей (которому способствует их потенциальная свобода от "определенности", "известности") является частным случаем этой "квазипространственности", ср.: *Москва далеко, а начальник близко; Хорошо, когда рядом друг; Когда ты далеко, все кажется иным*. Пространство, понимаемое обобщенно, — это, в сущности, то же пространство бинарных оппозиций — не непрерывное, не равноценное.

Тезис о том, что полюса "далеко"/"близко" являются уже готовыми оценками, подтверждается невозможностью какой-либо их добавочной модификации, уточнения, как это бывает в случае "естественных", собственно пространственных, указаний, ср.: *Москва еще очень далеко; Хорошо, когда совсем рядом друг* (совсем проецирует высказывание на какую-то конкретную ситуацию, известную говорящему).

Тезис же о "заместительной" роли пространственных показателей особенно убедительно подтверждается употреблением слова *далеко*. Ср. такой диалог: [о выкинутом в мусорницу черновике] — *Где он?* — *Далеко*. В данном случае объект может находиться на расстоянии вытянутой руки, но он сброшен со счетов, деквалифицирован функционально и по-

этому перемещается в область семантического небытия: его нет, сообщает умозрительное *далеко*. Важно, что такой "заместитель" не допускает каких-либо собственно дистанционных, метрических уточнений: ответ типа *очень/совсем/слишком далеко* сориентировал бы адресата неправильно относительно всей ситуации в целом. Смысл функциональной дисквалификации при таком ответе был бы утерян, ср.: — *Где книга?* — *Очень/слишком далеко*. Наличие добавочного модификатора имплицитно подразумевает существование (функциональное бытие) книги: "Книга слишком далеко, чтобы я мог тебе ее принести" и под.

Приписывание объектам свойства "бытие"/"небытие" с помощью указания на их близость/дальность относительно говорящего по существу равносильно включению объектов в "личную сферу говорящего" (*близко, рядом*) либо, напротив, выключению их из "личной сферы" (*далеко*). Введенное в лингвистический обиход Ю.Д. Апресяном (см., например [5]), понятие личной сферы говорящего базируется на широкой (не чисто пространственной) трактовке значения "близко". Согласно Ю.Д. Апресяну, "в эту сферу входит сам говорящий и все, что ему близко физически, морально, эмоционально или интеллектуально — некоторые люди, плоды труда человека, его неотъемлемые атрибуты и постоянно окружающие его предметы..." [5, с. 28]. "Личная сфера говорящего" оказывается продуктивной при интерпретации весьма разнообразных языковых явлений (звательная форма, слова-названия эмоций, некоторые особенности СВ). Как кажется, использование *далеко* в качестве показателя небытия предмета является одним из средств "исключения объектов из личной сферы говорящего" [5, с. 29], ср.: [из "Кошмаров" И. Анненского] *Послушайте!... Я только вас пугал: // Тот далеко, он умер... Я солгал*. Или у Ф. Сологуба: [*Никто не убивал, // Он тихо умер сам, — // Он бледен был и мал, // Но рвался к небесам.*] *А небо далеко, // И даже — неба нет.*

Замечание. Умозрительное квазипространство как область действия нереперентных (обобщенных) *далеко/близко* отличается от своего конкретно-референтного аналога — пространства, о котором шла речь в последних примерах. Обобщенные *далеко/близко* — равноценные полюса симметричного бытийного квазипространства, в котором *близко (рядом)*, — это "наличие" объекта, его функциональное "бытие", а *далеко* — это "отсутствие" объекта, равноценное его функциональному "небытию". Можно сказать и так: обобщенные *далеко/близко* описывают некое ирреальное, гипотетическое пространство<sup>5</sup> — пространство, не обладающее протяженностью, но обладающее однородностью, равноценностью полюсов. Конкретно-референтный фактор вносит асимметрию в бытийное квазипространство: полюса *далеко/близко* здесь не равнозначны в плане реальности (= наличия конкретно-пространственных ассоциаций)/ирреальности (= отсутствия осязаемой связи с пространственной семантикой). Полюс *близко* реален в том смысле, что он находится в конкретно-пространственной зоне, а полюс *далеко* ирреален, так как символизируя семантическое небытие, он теряет связь с самой идеей пространственной локализации. Из сказанного следует, что к умозрительному бытийному квазипространству в этом случае относится только *далеко*; *близко* же прочитывается в терминах физического пространства, оно не несет заместительной функции и поэтому допускает любые дистанционные уточнения. Ср.: *Зачем самим решать, ведь Иван совсем близко (рядом): его и спросим* и *Сами мы решить ничего не можем, а Иван далеко* (в кабинете у начальника).

Бытийное квазипространство — это один случай выхода относительных показателей за пределы пространства физического. Рассмотрим другой случай.

**5.2. Пространство инобытия.** Умозрительные *далеко, близко, рядом* формируют не только пространство наличия/отсутствия каких-либо физи-

<sup>5</sup> Мысль о принадлежности гипотезы и обобщения к одной понятийной сфере не нова. Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев, описывая в [19] различные средства номинализации, замечают, что "генерализованное понимание номинативной пропозиции влечет ее гипотетический статус.

ческих объектов; они (и только они) способны реализовать в пространстве (понимаемом широко — как некая область существования) объекта не физические: духовные, психические и под. сущности. Область этой реализации мы и называем пространством инобытия. Примеры: ...*И что ж? Глаза его читали, но мысли были далеко* (А. Пушкин); — *О чем вздохнули так глубоко, // Нельзя ль узнать? // — Я был далеко: // Я время то воспоминал, // Когда надеждами богатый, // Поэт беспечный, я писал // Из вдохновенья, не из платы* (А. Пушкин).

Далеко здесь — это в другой системе координат, некоем "ментальном пространстве". В последнем примере далеко сообщает о реальном, духовном, отсутствии объекта на фоне его видимого (физического) "наличия". Важно, однако, что, в отличие от рассмотренных выше примеров (*Москва далеко.*; *Черновик далеко* [в мусорнице]), пространственный показатель не выполняет в этих случаях "заместительной" функции; он, скорее, сигнализирует о "перемещении" объекта описания (его духовной ипостаси) в какую-то иную область, сопредельную видимой физической пространственности.

В пространстве инобытия далеко и близко — это соприсутствие, сосуществование, ср.: *А хмурое небо низко — // Покрыло и самый храм. // Я знаю: Ты здесь. Ты близко. // Тебя здесь нет, Ты — там* (А. Блок); *В час полный, близ потока // Ты взгляни на небеса: // Совершаются далёко // В горнем мире чудеса* (А. Хомяков)<sup>6</sup>.

Если бытийное квазипространство является областью вторичного использования пространственных показателей — язык пространственных отношений применяется как средство описания несобственно пространственных смыслов, — то в пространстве инобытия дистанционные показатели используются по своему прямому назначению, не "заместительно": объекты инобытия сосуществуют с реальными физическими объектами в непересекающихся, взаимонепроницаемых пространственных зонах. Об этой взаимонепроницаемости и свидетельствует наш языковой выбор — невозможность применения к инобытию абсолютных оценок, сферой описания которых является пространство физическое, трехмерное, протяженное. Чтобы показать разницу между абсолютными и относительными оценками, приведем примеры, в которых рядом описывает "инобытийную" близость — сосуществование двух миров, посю- и потустороннего: *Я чувствую твоё присутствие рядом; Я чувствую, что ты рядом*. Поскольку речь идет о близости душ, смысл приведенных фраз не тождествен таким, например, высказываниям: *Я чувствую, что ты поблизости/неподалеку*. В последнем случае объект описания находится в одном пространственном измерении с говорящим.

В.С. Соловьев, говоря о метрическом, "реально-определенном и ограничивающем нас пространстве", делал акцент на "общих принудительных пределах действительного пространства" [10, с. 269]. "Субъективная свобода" от "оков пространства", согласно В.С. Соловьеву, возможна в пространстве сна, грез, которому чужды такие понятия, как разъединенность, непроницаемость, протяженность. В сущности, пространство "воображения" — это то же инобытийное пространство, сосуществующее с реальным, физи-

<sup>6</sup> Б.А. Успенский предложил считать *далёко* маркированным оппозиционным партнером нейтрального *далеко* при описании квазипространственной или инобытийной "дальности". Т.е. для современного носителя языка пространственное *далёко* — это всегда либо "небытие", либо "инобытие". В пользу этого предположения свидетельствует неспособность пространственного *далёко* к каким-либо добавочным модификациям — \**совсем/еще далёко* — или градуированию: \**очень/так/сравнительно далеко*. Скорее, временной перенос оставляет возможность сочетаний типа *совсем/так далёко*; в применении же к пространству подобные сочетания кажутся некорректными.

ческим, ср. у А. Ахматовой: [Наше будущее] ...стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом (вряд ли бодлеровский Париж мог бы притаяться поблизости или неподалеку). В подтверждение того, что "инобытие" рядом, но не поблизости, ср. такую пару высказываний: *Я вижу рядом героев Элады* и *Я вижу поблизости героев Элады*. В первом случае *рядом* может пониматься как граница между реальным и воображаемым миром, а во втором — *поблизости* со всей однозначностью указывает, что *герои Элады* находятся в одном физическом измерении с говорящим — реальном пространстве говорящего.

Замечание. По способности к описанию "инобытийности" различаются и такие дейктические показатели, как *вот/вон, тут/здесь; тут/там*, ср.: *Вот он стоит у окна* (*вот* может задавать референцию и к воображаемому пространству — грез, воспоминаний) и *Вон он стоит у окна* (*вон* однозначно свидетельствует, что речь идет о реальном, конкретном физическом пространстве); *Я чувствую, что он здесь* (*здесь* может описывать и инобытийную близость, ср. блоковский пример: *Я знаю: Ты здесь. Ты близко...*) и *Я чувствую, что он тут* (*тут* подразумевает конкретно-пространственную локализацию объекта). В отличие от *тут* и *вон*, у *там* возможны "инобытийные" референтные соотношения: о сидящем рядом собеседнике можно сказать *О чем он там* (ср.: *\*тут* думает?; *Что он там (\*тут) замышляет?*) *Там* в этих случаях задает референцию к ментальному, а не реальному физическому пространству. Указание на "дальность" этого пространства подчеркивает взаимонепроницаемость инобытийного и физического пространств, "суверенность" чужого внутреннего мира. Слово же *тут* во фразе *О чем вы тут думаете?* будет однозначно задавать референцию к месту.

Нетрудно догадаться, что у слов *вон, тут* ограниченность физическим пространством определяется их перцептивностью (в исконном пространственном значении): *тут* — это всегда некий обозримый локус — ср.: *Он сейчас здесь (\*тут), в России*, — а *вон* — это визуальное восприятие: шум мотора, напр., не может служить основанием для высказывания *Вон он едет*.

## ИТОГИ

Проведенный анализ позволяет говорить о четырех видах (моделях) пространства, которые задают наречия с семантикой "далеко"/"близко" в эгоцентрическом употреблении, т.е. при описании положения объекта относительно говорящего.

I. Относительная, динамическая модель. Ее "носители": *далеко, близко, рядом, недалеко*. Примеры: *Европа рядом; Магазин недалеко*. Характеристики модели: 1) говорящий и описываемый объект — физические сущности; 2) оба находятся в одном, физическом, пространстве; 3) оценивается расстояние до объекта; оценка относительная, функциональная (= субъективная, градуируемая).

II. Абсолютная, статическая модель — "окрестность говорящего". Ее "носители": *вдали, вдалеке, невдалеке, неподалеку, поблизости, вблизи*. Примеры: *Школа неподалеку; Громада туч росла вдали...* Характеристики модели: 1) говорящий и описываемый объект — физические сущности; 2) оба находятся в одном, физическом, пространстве; 3) оценивается расстояние до объекта; оценка абсолютная, неградуируемая; имеет три значения (навязывается говорящему извне): *вблизи, поблизости* — ближайший дистанционный пояс; *невдалеке, неподалеку* — средний пояс; *вдали, вдалеке* — дальний пояс "окрестности".

III. Бытийное квазипространство. "Носители" модели: *далеко, близко, рядом*. Примеры: *Когда ты рядом, хочется жить; — Где Иван? — Далеко* [в кабинете у начальника]. Характеристики модели: 1) говорящий и объект описания — физические сущности; 2) объект находится в пространстве говорящего (*близко, рядом*) / за его пределами (*далеко*); принадлежность объекта пространству говорящего означает доступность к взаимодействию, функциональное бытие; внеположенность объекта равносильна

его небытию; 3) оценка бинарная; оценивается не столько расстояние, сколько ситуативное расположение объекта относительно говорящего с точки зрения его доступности к взаимодействию, т.е. по существу, с помощью *далеко/близко* указывается область локализации — "вне"/"внутри" бытийного пространства.

IV. Пространство инобытия. "Носители" модели: *далеко, близко, рядом*. Примеры: *Я знаю: Ты здесь, Ты близко...*; *Я чувствую, что ты опять далеко*. Характеристики модели: 1) объект описания — ментальная сущность; говорящий совмещает ментальную и физическую сущности; 2) ментальный объект существует и находится либо в области чувственного контакта с говорящим (*близко, рядом*), либо за ее пределами (*далеко*); 3) оценка бинарная; оценивается достижимость чувственного контакта (взаимодействия).

Перечисленные пространства являются разными интерпретациями расположения объекта описания относительно говорящего, и в этом смысле они сопоставимы друг с другом. Кажется естественным называть эти пространства языковыми моделями, присущими русскому языковому сознанию, а их совокупность — пространственным фрагментом русской языковой картины мира.

Известно, что "наивные физики пространства и времени, явленные в дейктических словах различных языков, обнаруживают некоторые универсальные черты и ряд особенностей, специфических для каждого естественного языка" [5, с. 7]. В нашем случае универсальными, бесспорно, являются относительные показатели *далеко, близко, рядом, недалеко* и формируемые на основе их употребления модели; к разряду же специфических (характеризующих именно русское языковое сознание), по-видимому, должны быть причислены абсолютные показатели-носители модели "окрестность говорящего". Проведенный анализ позволяет говорить, что характерной особенностью языкового отражения пространства является семантизация расстояния. Именно этот критерий лежит в основе выделения языковых моделей пространства.

Существование в русском языке, наряду с относительными, абсолютных оценок расстояния свидетельствует о релевантности (и даже фундаментальности) для описания пространства такого параметра, как человеческое измерение (в данном случае имеются в виду не реальные размеры человека, а его функциональные возможности<sup>7</sup>). Абсолютность показателей "окрестности говорящего" определяется не только семантикой "наблюдения" у некоторых из них, априори задающей дистанционную закрепленность соответствующего показателя и "разворачивающей" пространство по горизонтали от говорящего. И не обладающие семантикой непосредственного восприятия наречия *поблизости, неподалеку* указывают на обжитое пространство. "Окрестность говорящего" — это результат освоения собирания пространства. Именно в рамках этой модели абсолютное расстояние значимо, поскольку оно оценивается с точки зрения непосредственных возможностей человека. Функциональная близость в применении к "окрестности" подразумевает возможность человека достичь соответствующей точки в пространстве, не прибегая к услугам сверхмощных (= не стандартных) транспортных средств. "Стандартность" же подразумевает достижение цели путем передвижения по поверхности земли ("исхоженность" пространства). "Окрестность говорящего" можно

<sup>7</sup> Ср.: "... мы оцениваем размеры животных, соотнося их с нормальными размерами человеческого тела. Слоны, носороги и бегемоты — большие животные, потому что они больше человека, а зайцы, кошки, хомяки — маленькие животные, потому что они меньше человека" [5, с. 31].

было бы назвать архаической моделью пространства, поскольку она отражает восприятие пространства древним человеком, а именно — это та часть пространства, которую он способен непосредственно воспринять, в той или иной мере самостоятельно освоить и узнать.

Для относительной пространственной модели характерна незначимость абсолютного расстояния. Семантическую оценку расстояния в рамках этой модели можно охарактеризовать так: относительная трудность достижения данной точки пространства обусловлена ее удаленностью. Функциональность относительных показателей (иррелевантность фактора протяженности пространства, конкретных расстояний) снимает вопрос об "образе" пространства: для этой модели несущественно условие горизонтальной ориентации объектов по отношению к говорящему, "исхоженность" пространства. Свобода относительных показателей от фактора пространственной протяженности позволяет им участвовать в формировании пространства не физического — умозрительного, идеального: поляризуясь и оцениваясь, они конституируют квазипространство бытийности; освобождаясь же от "тяжести" физической конкретики, они описывают инобытийную близость/дальность.

Таким образом, наличие в русском языке наряду с полифункциональными относительными дистанционными оценками абсолютных позволяет выявить динамику пространственных представлений носителей языка. Языковое отражение "наивной философии пространства" носит явные черты архетипических представлений, что позволяет говорить об архетипической основе соответствующих языковых воплощений.

Выявленный нами пространственный фрагмент формируется на основе эгоцентрического употребления — дистанционной точкой отсчета описываемого пространства является говорящий. Снятие фактора эгоцентричности — а происходит это при заполнении 2-й валентности наречия объектом, отличным от говорящего (вследствие чего, как отмечает Ю.Д. Апресян, реализуется "недейктическая стратегия понимания высказывания" [5, с. 11]), — кардинально меняет картину системных отношений в пределах рассматриваемой группы. Прежде всего становится несущественным само понятие "окрестности говорящего" (с его человеческим масштабом, "образом" пространства и пр.): наречие получает возможность соотноситься с самыми различными ориентирами. Вследствие этого:

1) появляется возможность употребления абсолютных показателей в нереперентных высказываниях, например: *Обычно магазины строятся неподалеку от центра города* (ср.: *Магазины строятся неподалеку*, где речь идет о конкретных, известных говорящему *магазинах*);

2) поскольку в этом круге употребления у слов типа *невдалеке* реализуется "недейктическая стратегия", появляется возможность их использования при самоописаниях, например: *Я был невдалеке от дома, когда услышал выстрелы*;

3) теряет отчетливость и противопоставленность наречий по линии "динамичность"/"статичность", ср. корректность употребления *неподалеку от* в "динамической" ситуации, по отношению к цели движения: — *Что вы молчите? — нетерпеливо окликнул он Кириллова уже неподалеку от дома* (Ф. Достоевский);

4) то обстоятельство, что говорящий перестает быть наблюдателем, снимает необходимость наличия у него непосредственного восприятия в случае употребления таких слов, как *невдалеке*, *вдали*; как следствие для этих слов открывается возможность употребления в высказываниях, не соотношенных с реальным модальным планом, ср.: *Хорошо бы оказаться сейчас где-нибудь невдалеке от экватора*;

5) отсутствие эгоцентрической ориентации снимает необходимость согласования пространственных показателей по признаку "ближнее"/"дальнее", ср. примеры, где пространственные показатели взаимно согласованы, с такими, в которых это согласование вовсе не обязательно: *Там вдали, по дремучим урочищам, // Этой ночью весеннюю белой // Соловьи славословьем грохочущим // Оглашают лесные пределы* (Б. Пастернак) и *Там, вблизи от больших городов, вам будет лучше; Здесь, вдали от Москвы, живет спокойнее;*

6) возможность соотнесения дистанционного показателя с самыми различными ориентирами фактически делает нерелевантным пространственный масштаб "окрестности говорящего": становятся возможны сочетания *невдалеке от материка/от страны* и пр.

С исчезновением "окрестности" в самой оппозиции абсолютность/относительность происходит переориентация, в частности, осуществляется некоторый обмен функциями между отдельными показателями абсолютных и относительных оценок: для описания близости/дальности с названиями объектов, не обладающих конкретно-пространственными характеристиками (в этом смысле абстрактными), легче употребляются такие показатели крайних точек "окрестности", как *вблизи/вдали*, и практически неупотребимы выразители относительных оценок *далеко/близко*. Ср.: *вдали/вблизи от цивилизации* при невозможности *\*далеко/близко от цивилизации*.

Именно заполнение 2-й валентности объектом, отличным от конкретно-физического, ведет к потере "образных" пространственных ассоциаций у таких слов, как *вдали*. Само понятие пространства в данном случае преобразуется, семантизируется, прочитывается не метрически — как некая протяженность, — а функционально — как разъединенность (ср. бытийное квазипространство). При этом непреодолимость барьера не связана всецело с фактором пространственной локализации (удаленности), она определяется, скорее, содержательным разрывом. Т.е., как и в случае бытийного квазипространства, указание на пространственную удаленность символизирует нечто другое — содержательную несовместимость, несоединимость: ведь пребывать *вдали* *взыскательных невежд* (А. Пушкин) можно, реально находясь в одном с ними "локусе".

Семантическая мотивация употребления предложно-наречных сочетаний *вдали от* и *далеко от* отчетливо видна в примерах, устроенных по одному и тому же синтаксическому образцу. Так, высказывания *Я живу вдали от Большого театра* и *Я живу далеко от Большого театра* не тождественны по смыслу: *вдали* высвечивает момент содержательной разъединенности, разобщенности между субъектом и Большим театром (его делами, интересами и под.), как следствие глагол *жить* прочитывается в плане "существования", а не "местоположения"; *далеко* же несет чисто пространственные характеристики, и *жить* в контексте этого наречия обозначает именно местоположение.

Не связанные условием эгоцентричности, пространственные показатели приобретают новые смысловые нюансы, вследствие чего вырисовываются и новые системные отношения между ними.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.
2. Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание Европейской культуры XX века. М., 1991.
3. Иванов Вяч.Вс. П.А. Флоренский и проблема языка // Механизмы культуры. М., 1990. С. 198.
4. Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Ю.М. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.

5. *Апресян Ю.Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. 1986. Вып. 28.
6. *Бенвенист Э.* О субъективности в языке // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
7. *Степанов Ю.С.* Референция и дейксис // Степанов Ю.С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
8. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988.
9. *Цивьян Т.В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
10. *Соловьев В.С.* Пространство // Соловьев В.С. Собр. соч., Т. 10, СПб., 1914.
11. *Падучева Е.В.* К семантике дейктических элементов в повествовательном тексте // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. М., 1990.
12. *Падучева Е.В.* Говорящий: субъект речи и субъект сознания // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
13. *Булыгина Т.В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
14. *Золотова Г.А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
15. *Wierzbicka A.* Semantic primitives. Frankfurt-am-Main, 1972. P. 98.
16. *Арутюнова Н.Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988. С. 315.
17. *Крылов С.А.* К типологии дейктических систем // Лингвистические исследования. Типология. Диалектология. Этимология. Компаративистика. Ч. I. М., 1984. С. 140.
18. *Хайдеггер М.* Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 144.
19. *Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения // ВЯ. 1989. № 3. С. 53.

© 1993 г. ЛУКИН В.А.

## КОНЦЕПТ ИСТИНЫ И СЛОВО *ИСТИНА* В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(Опыт концептуального анализа  
рационального и иррационального в языке)

В центре нашего внимания будет истина, рассмотренная с точки зрения ее определения. Это предполагает постановку по крайней мере двух вопросов: 1) как определяется истина в том или ином случае и что следует из принятого способа определения? 2) что есть в истине, обуславливающее возможность того или иного ее толкования? В поисках ответа мы не связываем себя установкой на его единственность, ответов на один вопрос может быть несколько — в разной мере удачных, общих или частных, рациональных или иррациональных... Говоря об истине, кажется вполне возможным отказаться от истинности в логическом смысле, не оценивая каждый раз определения только как истинные или ложные. Главное в этом случае — объяснительная сила концепции, а не ее непротиворечивость. Это тем более верно, что в основе рациональных дефиниций лежит комплексный способ осознания истины — слова и концепта, — слагающийся из рационального и иррационального моментов. Поэтому наша цель — определить истину как инвариант ее явлений, и прежде всего языковых.

### 1. КОНЦЕПТ ИСТИНЫ

Инвариант различных явлений истины, преломленных в языке, — это и есть концепт истины. Иными словами, концепт истины вбирает в себя обобщенное содержание множества форм выражения истины в естественном языке, а также в тех сферах человеческой жизни, которые предопределены языком и немыслимы без него. Такая трактовка термина "концепт" основывается по существу на семантике латинского *conceptus* (*pari. pf.* к *concipio*), имеющего, в числе прочих, следующие значения: 1) "собирать, вбирать в себя"; 2) "представлять себе, воображать"; 3) "написать, сформулировать"; 4) "образовывать"; 5) "происходить, появляться, возникнуть" (ср. с последним *conceptum* — "утробный зародыш") [1, с. 222, 224].

С точки зрения цели, поставленной перед настоящим исследованием, содержание латинского *conceptus* может быть подытожено в виде общего значения «сформулированный (воображаемый) как собирающий, вбирающий в себя [содержание множества форм] и являющийся [их] началом ("зародышем")» (см. также о термине "концепт" [2, 3])<sup>1</sup>.

Сообразуясь с этим значением, мы очертим далее обобщенные контуры концепта истины, а затем обратимся к фактам современного словоупотребления, этимологии и отчасти культуры с тем, чтобы наполнить схему конкретным содержанием и одновременно обосновать ее адекватность.

<sup>1</sup> Ср. у Джемса: "Функция ума, при помощи которой мы выделяем, обособляем и отождествляем между собой численно разные объекты речи, называется концепцией" [4, с. 140].

## 1. Истина: соответствие или тождество?

Какое бы явление истины мы ни рассматривали, мы всегда обнаружим в нем существенные свойства концепта истины. Поэтому начнем с самого простого — с толкования слова *истина* в словаре.

Практически во всех толковых словарях современного русского языка слово *истина* определяется так, что в толковании оказываются рядоположенными две идеи: *истина* — (1) то, что соответствует действительности, и (2) то, что существует в действительности. Первое — это, очевидно, слово, высказывание, т.е. в общем нечто сказанное (*X*) о действительности; второе — то, о чем сказано, сама действительность (*Y*). И первое (*X*) есть *истина*, и второе (*Y*) есть *истина*, значит, *истина* есть и *X*, и *Y* — и сказанное, и то, о чем сказано, тождество сказанного и соответствующего ему фрагмента мира.

С другой стороны, предикат *соответствовать* не предполагает полного тождества *X* и *Y* [5, с. 31], и истина, следовательно, не нечто единое, а итог "двоения мира и орудие двоения понятий" [6, с. 22].

Несовместимость соответствия и тождества дает основание для того, чтобы поставить вопрос о правомерности одной из двух составляющих толкования *истины*. И каким бы ни был ответ на этот вопрос, он неизбежно выводит нас из сферы лингвистики в философию.

Так, Н.Д. Арутюнова считает верным определение *истины* через соответствие [6, с. 25], тогда истинным может быть только суждение, высказывание, но не объект высказывания. Это вполне отвечает классической (корреспондентской) теории истины, имеющей длительную историю и множество сторонников от Аристотеля до Тарского. Однако данный подход не является единственным: можно предпочесть толкование истины через тождество — и в этом случае перед нами весьма солидная философская традиция. Речь идет о всех тех воззрениях на истину, подчас различных, которые объединены определением истины через тождество — тождество идеи (одного) и порожденной ею вещи (иного) (Платон), сущности и бытия (Гегель), мышления и бытия (Хайдеггер)...<sup>2</sup>

Следует ли из сказанного, что, пытаясь сформулировать концепт истины, необходимо отказаться либо от тождества *X* и *Y* в пользу соответствия, либо, наоборот, от соответствия в пользу тождества? Или же возможно согласиться одновременно и с тем и с другим, как это делается в словарном толковании *истины*?

Обратимся к традиции "от Платона до Хайдеггера". Истина у Платона зависима от более общей категории идеи, идея — "госпожа истины" [7, с. 270]. Для того чтобы понять, что есть истина, нужно сначала выяснить, что есть идея и как она соотносится со своей противоположностью — вещью.

Идея — единое, порождающее все сущее, в том числе и противоположное ей иное, т.е. вещь. В силу этого между ними должно быть нечто общее, но это общее, согласно Платону, не является третьей сущностью. Идея приобщена к вещи непосредственно, а это значит, что они тождественны: «... в какой мере единое отлично от другого, в той же мере другое отлично от единого, и, что касается присущего им свойства "быть отличными", единое будет обладать не иным каким-либо отличием, а тем же самым, каким обладает другое. А что хоть как-то тождественно, то подобно» [8, с. 148]. Идея (единое) и вещь (иное) тождественны и различны одно-

<sup>2</sup> Излагая далее взгляды на истину философов из линии "от Платона до Хайдеггера", мы стремимся показать, что вполне возможно определять истину так или иначе; никакого самостоятельного философского анализа при этом не предельвается, подбор точек зрения, таким образом, имеет иллюстративный характер.

временно в одном и том же отношении: "И вот, в силу того, что единое обладает отличием от другого, по этой же самой причине каждое из них подобно каждому, ибо каждое от каждого отлично" [8, с. 148].

Познать истину — значит увидеть "несокрытое" (в сущем, в вещи). Это зрение даруется идеей, творящей мир, идея наделяет человека зрением, которое позволяет ему видеть идею как несокрытое в вещи [7]. Вместе с тем сама истина и есть не-сокрытое — ἀ-λήθεια, — поэтому обладание истиной тождественно обладанию сущностью вещи. Итак, именно зрением и стоящей за ним идеей обусловлено тождество субъекта (X) и объекта (Y) зрения, т.е. истина как несокрытое определяется у Платона через тождество.

Однако это зрение не просто даруется идеей, но требует усилия, человек должен преодолевать себя для обретения вместо старого и несовершенного зрения нового и правильного. Так постепенно Платон от истины через тождество переходит к истине через соответствие. "Истина становится ορθότης — правильностью восприятия и высказывания.

В этом изменении существа истины совершается одновременно подмена места истины. Как несокрытость она есть лишь основочерта бытия. Но как правильность взгляда она становится чертой человеческого действия с сущим" [7, с. 270].

Здесь нет противопоставления: из истины как несокрытости (X тождествен Y) следует истина как соответствие (X соответствует Y). Об этом говорит Хайдеггер, истолковывая Платона, и это становится одним из центральных пунктов теории истины самого Хайдеггера. Делая акцент на сущем, сотворенном идеей, он предваряет и обуславливает им способность человека видеть идею в вещи: "Veritas как *adaequatio rei (creandae) ad intellectum (divinum)* дает свободу для *veritas* как *adaequatio intellectus (humani) ad rem (creatam)*" [9, с. 11]. Отсюда и рациональная истинность высказывания (*∑ есть P*) является следствием истины как несокрытости. "Принадлежащая к экзистенции присутствия разомкнутость бытия делает возможным первичное раскрытие сущего и раскрытость, или истину, этого сущего. В разомкнутости как истине (непотаянности) бытия коренится раскрытость как истина (непотаянность) сущего, которая, в свою очередь, фундирует предикативную истинность высказывания" [10, с. 79].

Так отношение "тождество как возможность соответствия" снимает противопоставленность этих предикатов, равно участвующих в формировании концепта истины, но все же не исчерпывает всего богатства содержания истины — концепта и слова.

## 2. Истина: тождество и различие.

Говоря об определении истины через тождество или через соответствие, мы лишь в первом случае эксплицитно ссылаемся на более сильную, чем истина, абстракцию тождества. Между тем за соответствием, понятием не одного порядка с тождеством, кроется комплексное содержание, также сводимое к тождеству, но не полному, а частичному, наряду с которым имеет место различие. Впрочем, всякий раз, когда в центре внимания оказывается тождество, оно закономерно влечет за собой рассмотрение и различия.

Не касаясь истории вопроса (см. [11]), остановимся (исключительно для примера) на одном высказывании Л. Витгенштейна.

Пусть "имеется много предметов, все свойства которых являются общими для них, — тогда вообще невозможно указать ни одного из этих предметов.

Потому что если предмет ничем не выделяется, то я не могу его выделить, — ведь в этом случае получилось бы, что он выделяется" [12,

с. 33]. Но каким образом можно узнать, что перед нами именно множество предметов? Ведь если все их свойства являются общими, то это один предмет. Однако опять-таки мы говорим "все их свойства". Это значит, что есть нечто, что позволяет Витгенштейну рассуждать о многих тождественных; это нечто — отличительно свойство каждого из них, принадлежащее всем их свойствам, которые тождественны. В ответ на полученное противоречие можно было бы возразить, что нет тождественных вещей, но есть тождественные объекты. Однако речь идет не об этом, а о тождестве как таковом. Природа отождествляемого в этом случае не важна. Во-первых, потому, что граница между вещью и объектом условна [13, с. 67], а во-вторых, как показал Хайдеггер, придание исключительно онтологического смысла закону тождества — всякая вещь тождественна самой себе — не более, чем отличительная черта "поздней метафизики" [14]. Преодоление этого, верного лишь отчасти, истолкования закона тождества совершается в языке, который "есть наиболее нежное и восприимчивое всепроникающее вибрирование в парящем здании сбывающегося. Поскольку наша сущность обособилась (*vereignet*) в языке, мы обитаем в Событии" [14, с. 70]. "Событие" употребляется Хайдеггером в значении со-бытия мышления (человека) и бытия. Со-бытие, соотносимое с идеей Платона, есть растворенность и взаимопринадлежность того и другого, вырастающая из органичности языка. "Различное — бытие и мышление — мыслятся здесь как то же самое" [14, с. 71].

Итак, рассматривая тождество как таковое, мы всегда имеем дело с "двумя" (ведь даже утверждая о тождестве всякого сущего с самим собой, мы удваиваем это сущее), которое есть "одно", но к чему-либо "одному" предикат *тождество* приложим только тогда, когда это "одно" есть "два". Перед нами вновь возникает диалектическая антиномия единого и иного, описанная Платоном в "Пармениде" [8]. Ее суть во взаимобусловленности, взаимовыводимости различия из тождества и тождества из различия. И если учесть, что истина определяется через эти предикаты, то нужно признать — истина в основе своей парадоксальна. "Другими словами, истина есть антиномия, и не может не быть таковою, — пишет П.А. Флоренский в своей работе "Столп и утверждение истины"<sup>3</sup>. Его истолкование истины основано именно на антиномии тождества и различия: "... множество элементов абсолютно синтезировано в Истине, так что "другое", — в порядке сосуществования, — есть в то же время и "не другое" *sub specie aeternitatis*, — если  $\epsilon\tau\epsilon\rho\tau\eta\varsigma$ , "инаковость", отчужденность "другого" есть только выражение и обнаружение  $\tau\alpha\upsilon\tau\omicron\tau\eta\varsigma$ , тождественности "этого же" [15, с. 46]. Парадоксальность истины обнаруживается и в аспекте ее всеобщности. "Рассудочная формула тогда и только тогда может быть превыше нападений жизни, если она всю жизнь вберет в себя, со всеми... имеющими быть противоречиями", а потому "истина есть такое суждение, которое содержит в себе и предел всех отменений его, или, иначе, истина есть суждение само-противоречивое" [15, с. 147]. Важно, что самопротиворечивость истины — это не порок и не неизбежное зло, а предпосылка к познанию: "Мистическое единство двух есть условие ведения и, значит, — явления, дающего это ведение Духа истины" [15, с. 430].

Взгляд на истину как на антиномию тождества-различия не только примиряет тождество и соответствие, но и утверждает их взаимозависимость, необходимость того и другого для вскрытия всей полноты содержания истины.

<sup>3</sup> Знаменателен эпиграф к этому сочинению: "Предел любви — да двое едино будут" [15].

### 3. Феноменология истины.

Существенным дополнением к представлению о концепте истины будет ответ на вопрос: как и в чем являет нам себя истина? — В языке и через язык, — отвечает Х.-Г. Гадамер [16]. Полностью соглашаясь с таким ответом философа, воспроизведем ход его рассуждений.

Живя в мире, человек не просто снабжен языком как "инструментом", "но на языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть мир" [16, с. 512]. Язык дает нам способность видения мира, в нем "становится видимой та действительность, которая возвышается над сознанием каждого отдельного человека" [16, с. 520]. Причем роль языка — это не роль посредствующего звена между человеком и миром, так как : нем не только свершается бытие человека, "в языке выражает себя (sich darstellt) сам мир" [16, с. 524]. Таким образом, в языке мир выражает себя для нас, и в сфере языка мы обретаем видение мира, а это значит, что язык осуществляет единение мира и мысли, являя нам истину. Из сказанного не следует, что язык лишь средство со-единения мира и человека, союз которых порождает истину, напротив, «язык, на котором мы говорим, несет в себе свою собственную истину, то есть "раскрывает" и вызывает на свет нечто такое, что отныне становится реальностью» [16, с. 446]. И в этом смысле «язык, в котором "нечто обретает язык", не становится и не находится в распоряжении того или иного из собеседников» [16, с. 444], точно так же, как он не принадлежит ни миру, ни человеку. Но, подобно со-единению мира и человека, язык как разговор, у которого "своя собственная воля", делает возможным взаимопонимание говорящих на нем и открывает им истину. "Как говорили греки, посередине между собеседниками кладется нечто, к чему оба причастны и на чем происходит обмен между ними" [16, с. 444]. Участники разговора "оказываются во власти самой истины обсуждаемого ими дела, которая объединяет их в новую общность" [16, с. 444—445].

Истина, по Гадамеру, — открытость бытия человеческой мысли, открытость, которая является в языке через со-единение мышления и бытия. Иными словами, язык, будучи "в существе своем языком разговора", — это универсальная феноменология, являющая нам истину как со-единение говорящих на нем: мира, выражающего себя в языке, и человека, обретающего в языке видение мира; Я понимающего и Я понимаемого; говорящего и слушающего вообще.

Поэтому определение концепта истины невозможно без указания на способ явления истины — всегда языковой.

\*

Итак, наиболее кратким и емким определением концепта истины будет его определение как антиномии. Истина — это и "знак двоения", и тождество. Тождество и соответствие (как тождество и различие) в предельно абстрактной формулировке концепта истины являются не двумя его значениями, а двумя центрами одного общего значения, между которыми складываются отношения взаимоотрицания и взаимовыводимости одновременно. "В речи" вполне возможно выпадение какого-либо одного из центров общего значения, что приводит к осознанию истины либо как тождества, либо как соответствия. Зависит это от того, как являет нам истину естественный язык.

В силу универсальности естественнойязыковой семантики [17, с. 139—140] логично предположить, что различные участки семантического пространства языка организованы по-разному. В одном случае достаточно рационально, приближаясь в той или иной мере к научной картине ми-

ра, — здесь истина явлена нам как соответствие; в другом случае языковая картина мира иррациональна, соотносима, например, с мифологическими представлениями, лежащими вне законов классической логики, — тогда мы имеем дело с истиной как тождеством. И, наконец, язык, будучи всеобъемлющим целым, являет нам истину как антиномю.

## II. СЛОВО ИСТИНА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Содержание концепта истины распределено в русском языке на множестве значений слов, фразеологизмов, предложений и текстов. В центре нашего внимания будут прежде всего слова.

### 1. Семантическое поле ИСТИНЫ-ЛЖИ.

Закономерное обращение к понятию семантического поля приводит к необходимости рассматривать не только слова со значением истины, но и слова со значением лжи (см. теорему об антиномии [18, с. 108—111]). Поэтому наше семантическое поле состоит из двух подмножеств:

1) слова со значением истины (И-слова): *истина, правда, безошибочный, бесспорный, верно, верный, действительно, действительный, достоверность, достоверный, истинность, истинный, истый, настоящий, неподдельный, несомненный, очевидный, подлинность, подлинный, подтвердить, подтверждение, полуправда, правдивость, правдивый, правдолюб, правдоподобный, правильность, правильный, правота, проверенный, проверить, реальный, справедливость, справедливый;*

2) слова со значением лжи (Л-слова): *ложь, неправда, кривда, враль, врун, враки, вранье, врать, клеветать, лгать, лгун, лжец, лживость, лживый, лицемерие, лицемерить, лицемерный, ложно, ложный, мнимый, наврать, вымысел, выдумка, довраться, заблуждение, завраться, извратить, неверный, ненастоящий, неправдоподобный, неправильный, несправедливый, обман, обманывать, обогать, ошибаться, ошибка, ошибочный, перевернуть, погрешность, подделка, измышление, изолгаться, искажение, исказить, кажущийся, клевета, подделка, поддельный, подтасовать, подтасовка, приврать, прилгать, притворный, провраться, солгать, фальсификация, фальсифицировать, фальшивый, фальшь.*

Все слова были отобраны по словарю [19]. *Истина, правда, ложь, неправда* и *кривда* задают имя поля и входят в него по определению. Остальные слова отнесены к данному полю на том основании, что в их толкованиях роль идентификаторов выполняют названные выше центральные слова или слова, отстоящие от центральных не более, чем на два толкования.

Предъявленный состав поля не является единственно возможным. Объясняется это прежде всего принципиальной нечеткостью границы между словами со значением истины-лжи и словами, которые только в определенных контекстах могут выражать данное содержание [20, с. 179]. Тем не менее анализ нашего семантического поля позволяет выявить существенные естественноречевые свойства концепта истины.

(1) Наиболее очевидный из наблюдаемых в семантическом поле фактов состоит в том, что И-слов почти в два раза (34 слова) меньше, чем Л-слов (61 слово).

(2) Л-слова в целом грамматически сложнее И-слов. Так, среди Л-слов больше приставочных и намного больше глаголов (21 Л-глагол : 2 И-глагола), которые нередко осложнены различными значениями способов глагольного действия (*изолгаться, обогать, приврать* и др.).

(3) В словаре центральные И-слова *истина* и *правда* используются в качестве идентификаторов для истолкования как центральных Л-слов *ложь, неправда*, так и множества других Л-слов. В то же время централь-

ные Л-слова ни в каком качестве не используются для истолкования ни центральных И-слов, ни вообще каких бы то ни было И-слов.

(4) Взаимоопределяя друг друга, значения семантического поля проявляют в этом отношении различную активность. Наиболее активными идентификаторами являются: *истина* (употреблено 24 раза в роли идентификатора), *правда* (19), *подлинный* (11), *настоящий* (9), *неправильный* (9).

(5) Частотность И-слов, установленная по [21], почти всегда превышает частотность соотносимых с ними Л-слов (это не всегда антонимы в строгом смысле: *бесспорный* (20) — *спорный* (7), *верный* (119) — *неверный* (15), *действительный* (47) — *кажущийся* (2), *достоверно* (4) — *недостоверно* (1), *истина* (79) — *ложь* (37), *истинный* (38) — *ложный* (9), *настоящий* (314) — *нег астоящий* (1), *правда* (579) — *неправда* (45), *правдоподобный* (2) — *непр вдоподобный* (1), *правильный* (123) — *неправильный* (27), *подлинный* (61) — *поддельный* (3), *реальный* (83) — *мнимый* (13), *справедливый* (52) — *несправедливый* (13). Исключения: *безошибочный* (2) — *ошибочный* (9), *несомненный* (9) — *сомнительный* (10), *неподдельный* (2) — *поддельный* (3).

(6) Противопоставленность концептов истины и лжи создает предпосылки для антонимии слов, выражающих их содержание. Логично было бы ожидать последовательной симметрии антонимических рядов в семантическом поле. Однако характерной чертой множества И-Л-слов является не наличие симметричных отношений между ними (каждому И-слову соответствует свое Л-слово), а наоборот, существование множества асимметрий (присутствует И- или Л-слово и отсутствует ожидаемый антоним к нему). Так, хотя центральные И-слова *истина*, *правда* и имеют антонимы *ложь*, *неправда*, но, например, глаголам речи с Л-значениями *врать* и *лгать* нет соответствия среди И-слов, т.е. отсутствуют глаголы речи с И-значениями. Сказанное относится к Л-словам *враль*, *врун*, *лгун*, *лжец*; *извратить*, *исказить*, *клеветать*, *лицемерить*, *оболгать*, *подтасовать*, *фальсифицировать*, *фильмировать*; *заблуждаться*, *ошибиться* и др., а также к И-словам *полуправда* и *правдоподобный*. Таким образом, налицо тенденция к отсутствию И-антонима к Л-слову.

Объяснение фактов (1)—(5) может быть дано без обращения к определению значений И-Л-слов. Достаточно только выяснить, какой из центральных антонимов — *истина* или *ложь* — обладает более абстрактным значением.

### 1.1. Соотносительная абстрактность *истины* и *лжи*.

Философы неоднократно подчеркивали всеобъемлемость истины и частный, зависимый от истины характер лжи (см., например [9, с. 19]). В самом деле, словом *истина* обозначается и факт существования истины, и факт существования лжи (То, что ложь существует, — *истина*). Обратное же оказывается невозможным. Так же обстоит дело и с предложениями тождества *Истина есть истина*, *Ложь есть ложь* — они всегда оцениваются предикатом *истина*. Одновременно логически, казалось бы, возможные предложения *Истина есть ложь* и *Ложь есть истина* семантически аномальны, вследствие чего не могут быть объектом оценки предиката *ложь*.

Все это позволяет предположить, что *истина* обладает более абстрактным значением, чем *ложь*. При этом из множества определений абстрактного знака мы придерживаемся того, в соответствии с которым абстрактность понимается как синоним простоты: значение тем абстрактнее, чем оно проще, т.е. чем меньше семантических компонентов в нем можно выделить. Важно отметить, что "минимизация" абстрактного знака сопровождается увеличением его экстенционала; связь между ними обратно пропорциональная [22, с. 8—18].

Большая абстрактность *истины* подтверждается, в частности, ее сходством с "более простыми антонимами" (см. о последних [23, с. 302—304]):

— *ложь* можно и должно истолковывать через отрицание *истины*, а *истину* нельзя определять через отрицание *лжи*; это вполне понятно, поскольку частное (видовое) *ложь* только и можно определить через общее (родовое) *истина*, но и в коем случае не наоборот;

— в терминологическом языке формальной логики именно от слова *истина* образуется существительное со значением родового термина — *истинность* (любопытно, что истина и ложь в математической логике считаются совершенно равноправными — не истина есть ложь, не ложь есть истина [24], — хотя в неклассических логиках наблюдается асимметрия истины и лжи, сходная с естественной языковой [25]);

— Л-слова при увеличении "количества" основного признака ("несоответствие") переходят в новое качество: *бессмыслица, бред, вздор, нелепость...* (ср. *довраться* — "занимаясь враньем, дойти до нелепостей" [19, т. I, с. 414]); в то же время как бы много правды не было сказано, правда остается *правдой*, сколь бы ни была относительна истина, однако абсолютная истина остается именно *истиной*.

Теперь, зная о большей абстрактности *истины* по сравнению с *ложью*, мы можем дать объяснение фактам (1)—(5).

*Ложь* и большинство Л-слов определяются через более абстрактные И-слова (прежде всего через *истину*), отсюда и большая активность И-идентификаторов (4). С другой стороны, менее абстрактные и общие Л-слова, включая центральные *ложь* и *неправда*, не могут быть использованы в качестве идентификаторов (родовых терминов) в толкованиях И-слов (3).

Чем абстрактнее слово, тем выше частота его употребления в речи [26, 27]. В этом причина более высокой частотности И-антонимов (5). И-слова вообще частотнее Л-слов, тогда как хорошо известно, что единиц, которые характеризуются высокой частотой употребления в речи, в языке всегда меньше, чем единиц с низкой частотой (см., например, таблицу распределения частот в [21, с. 895—915]), поэтому и в нашем семантическом поле И-слов, более частотных, меньше, чем Л-слов, менее частотных (1).

Поскольку абстрактность слова, понимаемая как тенденция к минимизации средств выражения, распространяется и на его грамматическую сторону [22, с. 65—75], постольку становится понятной относительная простота И-слов и грамматическая сложность Л-слов (2).

Для объяснения факта (6) необходимо выяснить, какова структура значения *истины* и, соответственно, каково должно быть его толкование.

### 1.2. Толкование *истины*.

Все ключевые моменты толкования слова *истина* обусловлены содержанием концепта истины. Это положение следует из понимания концепта как инварианта языковых форм выражения истины, который вбирает в себя их основные семантические свойства.

Обсуждение проблемы истинности с необходимостью приводит к описанию способа явления истины, включенного в данном случае в естественную языковую знаковую систему. Причем выражение истины не является основной функцией этой системы, наоборот, возможность выражения истины есть следствие основной функции — коммуникативной. Поэтому определение *истины* вторично и зависимо от определения коммуникации. Однако второе, несомненно, не менее сложно, чем первое, и для того, чтобы не уйти в бесконечность дефиниций все более и более абстрактных сущностей, сформулируем лишь одну из основных предпосылок для осу-

ществления коммуникации. Она состоит в констатации того тривиального факта, что речевой акт, основная единица естественной языковой коммуникации, возможен тогда, когда собеседники — говорящий ( $X$ ) и слушающий ( $Y$ ) — обладают известной степенью общности своих языковых и неязыковых знаний и речевых навыков, т.е. "репертуар" отправителя  $X$  пересекается с "репертуаром" получателя  $Y$  [28, с. 90—91]. Чем больше зона пересечения, тем эффективнее речевой акт, но если  $X$  и  $Y$ , пересекаясь, полностью совпадают друг с другом, то коммуникация невозможна, так как в этом случае нет никакого обмена информацией, впрочем, "в реальной ситуации так быть не может, — в той мере, в какой индивиды являются индивидами" [28, с. 90]. Отсюда следует, что речевой акт предполагает некую норму общности говорящего и слушающего, которая, разумеется, подвижна и неопределенна.

Вспомнив словарное толкование *истины* как того, что соответствует действительности (где *соответствие* — "равенство в каком-л. отношении" [19, с. 197], т.е. частичное тождество), мы увидим неслучайное сходство между этим толкованием и формулировкой предпосылки речевого акта: и в том и в другом случае реализуется одна общая абстрактная модель тождества  $X$  и  $Y$  в определенном отношении  $Z$ . "В определенном отношении  $Z$ " означает, что отождествление  $X$  и  $Y$  происходит по основанию  $Z$ , где  $Z$  имеет статус факта — концептуально нагруженного  $Y$ -а, т.е.  $Y$ -а, ставшего частью языковой картины мира говорящего [29, 30]. *Истина* в этом случае обозначает ситуацию, в которой  $X$  тождествен  $Y$  в том отношении ( $Z$ ), в каком  $Y$  является фактом. Таким образом, объектом  $X$ -а является факт и уже через него вещь.

Однако *истина* может осознаваться носителями языка и как полное тождество —  $X$  тождествен  $Y$  ( $Z$  "редуцируется"), — что отвечает общему выводу из словарного толкования. "Норма общности" в этом случае нарушается в пользу тождества<sup>4</sup>.

Понятно, что  $X$  и  $Y$  в формулировке предпосылки речевого акта и в толковании *истины* наполняются различным содержанием, но мы сохраним одни и те же переменные для этих двух случаев, поскольку они реализуют одну общую модель. Более того, эта модель интерпретируется на множестве предикатов, среди которых, например, такие непохожие друг на друга, как *воспринимать*, *согласовывать*, *совпадать*, *отождествлять*, *сообщение*, *обсуждение*, *копия*, *видеть*, *знать*, *быть*, *осязать*, и др. Все такого рода предикаты характеризуются сходной валентностной структурой, которая при всех второстепенных различиях обязательно содержит две валентности — субъекта ( $X$ ) и объекта ( $Y$ ): *воспринимать* —  $X$  воспринимает  $Y \Rightarrow X$  делает  $Y$  или часть  $Y$ -а частью своей концептуальной системы; *копия* —  $X$  копия  $Y \Rightarrow X$  отражает множество свойств  $Y$ -а, делая их своими свойствами; *быть* —  $X$  имеет место в предметной области  $Y$ , являясь ее составной частью и т.п. Как видим, отношения между  $X$  и  $Y$  могут интерпретироваться по-разному, что отражает различия в содержании предикатов, но инвариантом всех интерпретаций будет двуединый смысл "тождество-соответствие".

Нам кажется, есть основания считать, что понятие речевого акта так соотносится со значением предиката *говорить*, как понятие истины с предикатом *истина*. Т.е. слова *говорить* и *истина* — естественной языковые

<sup>4</sup> Подобное положение дел складывается и при сопоставлении коммуникации с пониманием: понимание как перевод во внутренний язык (Жинкин, Апресян), на язык мысли (Вежицка) изоморфно коммуникации, понимание как перевоплощение, вживание (Шлейермахер, Дильтей) "превышает" коммуникацию, сближаясь в этом смысле с истиной как тождеством.

аналоги названных научных понятий. Об *истине* уже шла речь. Относительно предиката *говорить*: так же, как и речевой акт, *говорить* предполагает отправителя, получателя, передачу информации, воздействие на слушающего... и, конечно, общность, пересечение, взаимопроникновение, в конечном счете, частичное тождество "репертуаров" говорящего и слушающего. Следовательно, *говорить* и *истина* имеют общую предикатную формулу — *X частично тождествен Y*.

Учитывая принадлежность *говорить* к семантическим примитивам — предельно абстрактным словам [22], — можно с уверенностью утверждать, что примитив *говорить* так же относится к *истине*, как коммуникативная функция языка к возможности выражения в данном языке концепта истины. Иными словами, определение истины зависит от способа и формы ее существования в знаковой системе, а толкование слова *истина* зависит от значения слова *говорить*. *Говорить* выступает в качестве предпосылки и условия для существования *истины* и *лжи*, ведь только говоря что-либо, можно выразить истину или ложь. При этом *говорить* — "нейтральное" слово, оно свидетельствует о наличии нормы общности между говорящим (*X*) и слушающим (*Y*). В рамках модели частичного тождества упомянутая норма общности, закрепленная за предикатом *говорить*, соотносится с величиной зоны пересечения *X* и *Y* в значениях слов *истина* и *ложь*. *Истина* — ситуация, в которой *X* существует в единстве с *Y* в отношении *Z*, — проявляет меру сходства между *X* и *Y* (она зависит от того, насколько "велико" отношение *Z*), либо равную норме общности (*говорить*), либо превышающую норму общности вплоть до неразличения *X* и *Y* (*истина* как тождество). *Ложь* — ситуация, в которой *X* не существует в единстве с *Y* в отношении *Z*, — характеризуется мерой сходства между *X* и *Y* всегда меньшей, нежели норма общности (*говорить*).

Из этого не следует, что ложь, не соответствуя норме общности, представленной в значении предиката *говорить*, является невыразимой. Сказано может быть все вплоть до бессмыслицы и абсурда — для того, чтобы быть сказанным, не надо быть в точности сходным с предикатом *говорить* (ср.: *безмолвие, ничто, невыразимость...*), но действие и ситуация, представляемые словом *говорить*, — неперемное условие существования всякого другого слова в языке. Именно это и позволяет использовать *говорить* в качестве точки отсчета при определении характера отношений между *X* и *Y* в значениях *истины* и *лжи*.

Итак, предикат *говорить* и говорение вообще возможны, помимо прочего, потому, что существует частичное тождество говорящего и слушающего; *истина* возможна (выразима) потому, что существует коммуникация (говорение)<sup>5</sup>. Такова основа, на которой строится толкование *истины*.

Идея частичного тождества отражена и в нашем определении *истины*, и в словарном как одно и то же, единство *X* и *Y* в отношении *Z*. Теперь необходимо уточнить и отразить обусловленность *истины* предикатом *говорить*.

Существенно то обстоятельство, что переменная *X* замещается всегда тем, что сказано, т.е. языковой единицей — словом, словосочетанием, предложением. В толковании *истины*, следовательно, необходимо отразить описанную здесь особенность *X*-а. Особенность эта тем более значима, что она свидетельствует об обусловленности слова *истина* словом *говорить*. Более того, это свидетельствует о необходимости определять исти-

<sup>5</sup> Здесь возможна историко-философская аналогия с понятием лектón у античных стоиков: «... лектон стоит на истинной и лжи, является более общим, чем истина и ложь, тем, что стоики называли "безразличием"» [31, с. 145]; немаловажно, что лектон — это «отглагольное прилагательное от глагола, означающего "говорить"...» [31, с. 144].

ну вообще, ссылаясь на способ ее выражения, — всегда знаковый, а в данном случае естественной языковой.

В конечном счете, слово *истина* получает такое рабочее толкование:

*Истина* —  $X$ , сказанное об  $Y$  так, что (1)  $X$  является тождественным с  $Y$  или (2)  $X$  является тождественным с  $Y$  в отношении  $Z$ .

И в соответствии с этим истолковывается слово *ложь*:

*Ложь* —  $X$ , сказанное об  $Y$  так, что  $X$  не является тождественным с  $Y$  в отношении  $Z$ .

Используя эти толкования, мы сможем объяснить факт наличия в семантическом поле ИСТИНЫ-ЛЖИ асимметрий типа *лгать* vs. отсутствующий в современном русском языке глагол со значением "говорить истину-правду". Объяснение асимметрии предполагает, во-первых, описание значения, антонимичного имеющемуся, и, во-вторых, ответ на вопрос, почему это антонимичное значение остается лексически не выраженным.

Для удобства введем сокращения: вместо полного толкования *истины* будем писать  $X\bar{T}Y$ , где  $\bar{T}$  — тождество-соответствие; вместо толкования *лжи* —  $X\bar{T}Y$ , где  $\bar{T}$  над  $T$  — знак отрицания ( $X$  не тождествен  $Y$  в отношении  $Z$ ). Отсутствующий член асимметрии будет обозначаться знаком " $\emptyset$ ".

*Лгать* —  $\emptyset$ , *врать* —  $\emptyset$ .

Г.П. Грайс считает, что речевой акт наиболее эффективен, наряду с другими условиями, тогда, когда соблюдается следующий постулат: "Старайся, чтобы твое высказывание было истинным" [32, с. 222]. Д. Болинджер более категоричен: "... коммуникация без истины просто невозможна" [33, с. 41]. Таким образом, истина и коммуникация тесно взаимосвязаны, и притом так, что истина — предпосылка если не для коммуникации вообще, то, по крайней мере, для эффективного речевого акта. Это, правда, не соответствует тому направлению обусловленности понятий речевого акта и истины, которое было описано нами, но так или иначе еще раз свидетельствует об их близости.

Близки между собой не только понятия, но и слова. В основе толкований *истины* и *лжи* лежит предельно абстрактный предикат *говорить*; все вместе они объединяются моделью частичного тождества. Слово *истина* отличается от своего антонима тем, что может реализовать общую со словом *говорить* разновидность этой модели — *истина* демонстрирует меру сходства между  $X$  и  $Y$  либо равную норме общности между  $X$  и  $Y$  в значении *говорить*, либо превышающую норму общности. Поэтому если бы существовал глагол со значением "говорить истину", то он, наследуя семантические свойства существительного *истина*, был бы близок к *говорить* и противоположен *лгать-врать*.

Сказанное позволяет выдвинуть предположение, согласно которому роль антонима к *лгать-врать* может выполнять предикат *говорить*, выступая в значении "говорить правду-истину".

*Враль* —  $\emptyset$ , *врун* —  $\emptyset$ , *лгун* —  $\emptyset$ , *лжец* —  $\emptyset$ .

Все эти слова объединяются смыслом "говорящий ложь", поэтому их антонимом должно быть такое И-слово, которое содержало бы в своем значении компонент "говорящий истину". Может показаться, что наиболее подходящим кандидатом является слово *правдолюб*, но *правдолюб* определяется не через "говорить истину", а через "любить истину" [19, т. III, с. 352], что не позволяет расценивать данное И-слово как антоним к *враль, врун, лгун, лжец*. С другой стороны, "говорить истину" реализуется предикатом *говорить*, следовательно, есть основания полагать, что "говорящий истину" (тот, кто *говорит*) — смысл, выражаемый словом *говорящий*, которое и является искомым антонимом ко всем приведенным выше Л-словам.

*Извратить* —  $\emptyset$ , *исказить* —  $\emptyset$ , *клеветать* —  $\emptyset$ , *лицемерить* —  $\emptyset$ ,  
*оболгать* —  $\emptyset$ , *подтасовать* —  $\emptyset$ , *фальсифицировать* —  $\emptyset$ .

Отличительная черта данной Л-группы заключается в выражении содержания 'преднамеренная ложь'. Общий смысл перечисленных предикатов можно истолковать следующим образом: говорящий знает, что ХТ $\bar{Y}$ , но говорит Х $\bar{T}$ Y. Например, *клеветать* — значит знать истинное положение дел, но представлять его не так, как есть на самом деле. Ясно, что противоположным смыслу "знать, что ХТ $\bar{Y}$ , но говорить Х $\bar{T}$ Y" будет смысл "знать, что ХТ $\bar{Y}$ , и говорить ХТ $\bar{Y}$ "<sup>6</sup>. Следовательно, антонимичное И-слово, если бы оно существовало, имело бы значение: говорящий знает, что ХТ $\bar{Y}$  и говорит ХТ $\bar{Y}$ , но это и есть значение предиката "говорить истину" → *говорить*. Как видим, и на этот раз *говорить* выполняет роль антонима к Л-словам, т.е. у всех слов данной группы один общий антоним.

Проанализированная асимметрия позволяет дополнить наше знание о центральных И-словах и о предикате *говорить*.

Во-первых, толкование "говорить истину" → *говорить* — знать, что ХТ $\bar{Y}$  и говорить ХТ $\bar{Y}$ , — свидетельствует о том, что естественное языковое выражение истины всегда преднамеренно, т.е. говорящий истину всегда говорит с целью сказать именно истину (см. 2.4).

Во-вторых, Л-слова *извратить*, *исказить*, *клеветать*, *лицемерить*, *оболгать*, *подтасовать* и *фальсифицировать* содержат в своих значениях компонент "знать, что ХТ $\bar{Y}$ ", который не отрицается тогда, когда эти Л-слова находятся под отрицанием. Например, если *извратить* — знать, что ХТ $\bar{Y}$ , но говорить (или делать так, чтобы) ХТ $\bar{Y}$ , то *не извратить* — знать, что ХТ $\bar{Y}$  и говорить (или сказать так, чтобы) ХТ $\bar{Y}$ . Следовательно, "истина" (ХТ $\bar{Y}$ ) является обязательным компонентом указанных Л-слов, находящимся в пресуппозитивной зоне их значений. И-слова принципиально отличаются от Л-слов тем, что не могут иметь пресуппозитивного компонента со значением лжи в силу своей большей абстрактности.

*Заблуждаться* —  $\emptyset$ , *ошибаться* —  $\emptyset$ , *провратиться* —  $\emptyset$ .

*Ложь* отличается от *истины*, помимо прочего, тем, что может быть непреднамеренной и неосознанной [33, с. 30]. Как раз Л-слова *заблуждаться*, *ошибаться*, *провратиться* и характеризуются общим компонентом своих значений "неосознанная ложь". *Заблуждаться* и *ошибаться* означают: говорящий, не зная, что ХТ $\bar{Y}$ , говорит ХТ $\bar{Y}$ ; или: говорящий, не зная, что ХТ $\bar{Y}$ , говорит что ХТ $\bar{Y}$ . Толкование *провратиться* сложнее: говорящий, зная, что ХТ $\bar{Y}$ , хочет сказать, что ХТ $\bar{Y}$ , но неожиданно для себя говорит, что ХТ $\bar{Y}$ .

Антонимичными к *заблуждаться* и *ошибаться* будут такие слова, толкования которых должны иметь следующий вид: говорящий, не зная, что ХТ $\bar{Y}$ , говорит, что ХТ $\bar{Y}$ . Подобного рода слова, даже если допустить их существование, не могут принадлежать к И-словам, поскольку содержат смысл "непреднамеренность", тогда как *истина* всегда осознанна и преднамеренна. Антонимом к *провратиться* является предикат со следующим толкованием: говорящий, зная, что ХТ $\bar{Y}$ , хочет сказать ХТ $\bar{Y}$ , но неожиданно для себя говорит, что ХТ $\bar{Y}$ . Таким предикатом будет *проговориться* — "нечаянно сказать то, чего не следовало говорить" [19, т. III, с. 475]. Однако он, подобно возможным антонимам к *заблуждаться* и *ошибаться*, не принадлежит к И-словам, обладая смыслом "непреднамеренность".

Из сказанного следует, что семантически противоположными Л-словам могут быть слова, не входящие в одно с ними семантическое поле, т.е.

<sup>6</sup> Ср. аппарат для описания небольшой группы И-Л-слов, предложенный в работе [5], — он во многом тоньше, но одновременно и сложнее нашего.

существуют антонимы к Л-словам, не имеющие И-компонентов. Обобщив ситуацию, можно предположить, что отрицание "лжи" не обязательно приводит к "истине".

*Довраться* —  $\emptyset$ , *завраться* —  $\emptyset$ , *изолгаться* —  $\emptyset$ , *переврать* —  $\emptyset$ .

Исходя из модели частичного тождества, представим отношения между  $X$  и  $Y$  распределенными на пространстве некой идеальной прямой. Точкой отсчета для этих отношений будет норма общности (НО)  $X$  и  $Y$ , выражаемая значением предиката *говорить*. Пусть слева от НО будет расположена область "лжи", а справа — область "истины":

Л

НО

И

По мере удаления от НО влево, т.е. в область все большей и большей "лжи", увеличивается несоответствие между  $X$  и  $Y$ . «Количество» "лжи" возрастает и, доходя до максимума —  $X$  полностью не соответствует  $Y$ , — переходит в новое качество: перед нами уже не *ложь* как таковая, а *абсурд, бессмыслица, бред...* Например, *довраться* — "занимаясь враньем, дойти до нелепостей" [19, т. I, с. 414]; или не столь явно: *завраться* — "увлечься враньем, запутаться во лжи" [19, т. I, с. 505]. Можно сказать, что «очень много» "лжи" ведет к тому, что объектная ситуация перестает оцениваться по параметрам истины-лжи.

В отличие от *довраться* и *завраться* предикаты *изолгаться* и *переврать* не содержат прямого указания на переход в новое качество, но предполагают его возможность, констатируя наличие «большого количества» "лжи": *изолгаться* — «привыкнуть лгать, стать непоправимым лгуном» [19, т. I, с. 653]; *переврать* — "наврать слишком много" [19, т. III, с. 54].

Все приведенные здесь предикаты свидетельствуют о существовании «левой» границы "лжи", о том, иначе говоря, что "ложь" безгранична. "Истина" же, наоборот, в русском языке осознается как максимум признака — соответствие  $X$ -а  $Y$ -у доходит до полного тождества. *Истина* — это слово, которым обозначается все бесконечное множество ситуаций-объектов, расположенных справа от НО; и в этом смысле "истина" безгранична. Отсюда вытекает невозможность существования И-антонимов к *довраться*, *завраться*, *изолгаться*, *переврать*, ведь "истины" не может быть «слишком много». Максимум признака "соответствие-тождество" осознается носителями русского языка как норма.

*Приврать* —  $\emptyset$ , *прилгать* —  $\emptyset$ .

Толкования этих двух слов сводятся к тому, что говорящий, рассказывая о чем-либо, прибавляет лжи, неправды — говорить, рассказывать, прибавляя  $X\bar{T}Y$ . Антонимичное значение должно быть истолковано так: говорить, рассказывать, прибавляя  $X\bar{T}Y$ . Но поскольку *говорить* и *истина* представляют одну общую разновидность модели частичного тождества, постольку компонент "прибавляя  $X\bar{T}Y$ " становится избыточным: говорить ( $X\bar{T}Y$ ), прибавляя  $X\bar{T}Y$ . Эта избыточность, предполагающая возможность редукции компонента "прибавляя  $X\bar{T}Y$ ", обуславливает отсутствие в русском языке слова, антонимичного предикатам *приврать*, *прилгать*.

Особенностью *прилгать* и *приврать* является то, что они не содержат интуитивно ожидаемого компонента 'мало, немного лжи'. Их значения представляют собой выполнение однократного акта "полноценной" лжи, совершенного говорящим при рассказе о чем-либо. Поэтому *приврать* и *прилгать* — это не "сказать, прибавив немного лжи", а просто "сказать, прибавив лжи" [19, т. III, с. 398].

*Правдоподобный* —  $\emptyset$ .

$X'$ , сходный с  $X$  из  $X\bar{T}Y$ , — таково толкование И-слова *правдоподобный*. Если допустить существование Л-слова *лжеподобный* с толкованием  $X'$ , сходный с  $X$  из  $X\bar{T}Y$ , то мы бы имели антоним к исходному И-слову. Но предиката *лжеподобный* нет, по крайней мере ни в одном из известных нам словарей русского языка это слово не зафиксировано. В то же время Л-предикат *неправдоподобный* —  $X'$ , не сходный с  $X$  из  $X\bar{T}Y$  — не является антонимом И-слова *правдоподобный*. Последнее нетрудно доказать, поскольку из  $X'$ , не сходный с  $X$  из  $X\bar{T}Y$ , следует, что  $X'$  может быть сходным со всем тем, что не является  $X\bar{T}Y$ . Значит, *неправдоподобный* представляет значение не противоположное *правдоподобному*, а противоречащее, т.е. *неправдоподобный* — всякий, не являющийся правдоподобным. *Неправдоподобный* включает, следовательно, в свое значение и тот смысл, который отражен в толковании гипотетического слова *лжеподобный* — подлинного, но несуществующего антонима к предикату *правдоподобный*.

*Полуправда* —  $\emptyset$ .

Значение И-предиката *полуправда* —  $X'$ , такой, что (1)  $X'$  отчасти сходен с  $X\bar{T}Y$  и (2)  $X'$  отчасти сходен с  $X$  из  $X\bar{T}Y$  — позволяет ожидать не возможного антонима к нему, а возможного конверсива, имеющего следующее толкование:  $X'$ , такой, что (1)  $X'$  отчасти сходен с  $X$  из  $X\bar{T}Y$  и (2)  $X'$  отчасти сходен с  $X$  из  $X\bar{T}Y$ . Нетрудно подыскать и соответствующий форматив — *полуложь*. Однако этот теоретически возможный и даже, может быть, встречающийся в речи конверсив отвергается языковой системой: так же, как и *лжеподобный*, он не встречается в словниках русских словарей.

Причину асимметрии *полуправда* —  $\emptyset$  следует искать, на наш взгляд, в том, что смысл "мало лжи" опять не получает самостоятельного выражения. Так происходит потому, что данный смысл, находясь на месте приоритетного компонента в каком-либо из значений, осознается носителями языка в качестве "лжи" как таковой. «Мало» "лжи" быть не может, ложь есть ложь независимо от ее "количества". Значит, "ложь" имеет не только фиксированную левую границу, но и правую. С другой стороны, "истина" может вторгаться в область частичного несоответствия  $X$  и  $Y$ , о чем говорят значения слов *полуправда* и *правдоподобный*. Содержание истины отличается от лжи не только бесконечностью своей правой границы, но еще и размытостью, нечеткостью левой.

## 2. Асимметричность истины и лжи.

Противопоставленность истины и лжи не исчерпывается их характеристикой как асимметричных антонимов — их семантика и возможности использования в речи свидетельствуют, что они в определенном отношении просто разные знаки. Отчасти об этом уже шла речь, поэтому далее, дополнив сказанное, мы еще раз обоснуем противопоставленность рассматриваемых слов и концептов.

### 2.1. Асимметричность идентификаторов.

Из положения о большей абстрактности истины по сравнению с ложью следует, что предикаты *тождество* и *соответствие*, лежащие в основе двух центров значения истины, также более абстрактны, чем различие, к которому восходит отрицание истины в значении лжи. Дальнейшее уточнение позволяет говорить о большей абстрактности *тождества* относительно *соответствия*.

*Тождество* как чрезвычайно абстрактный предикат включает в свой экстенционал практически любые объекты, в числе которых и все предикаты, ведь тождество в силу одноименного закона приложимо к чему угодно — всякая вещь тождественна самой себе. Поэтому различие = раз-

личие — это тождество, соответствие = соответствие — тождество, сходство = сходство — тождество и т.д. Так через операцию тождества можно всегда прийти к концепту тождества, какое бы содержание ни стояло за операндами данной операции.

Значит, порядок следования предикатов "от наиболее абстрактного" будет таков: *тождество, соответствие, различие*. Соглашаясь с ним, надлежит определять различие через отрицание соответствия, соответствии через частичное тождество или тождество в каком-либо отношении, а тождество через еще более абстрактные предикаты (скажем, через семантические примитивы *все, быть, один* и др. [22, с. 120—130], например, так: *тождество* — ситуация, в которой все свойства данного множества предметов есть одно свойство).

Этот факт, с одной стороны, представляет известное свойство концепта истины — тождество как возможность соответствия и, с другой стороны, служит свидетельством невозможности взаимоопределения *тождества* и *соответствия*, а также сведения *тождества* к *соответствию* — неверно будет определять *тождество* как *самосоответствие* или *полное соответствие*.

## 2.2. Асимметричность семантики стабильности и однородности.

Абстрактностью истины обусловлена ее стабильность. Истина — слово и концепт — охватывает большее семантическое пространство, нежели ложь. В границах этого пространства истина как тождество конкретизирует себя через соответствие, но остается в любом случае *истиной*. Ложь может быть понята только через различие, которое, превышая известный предел, "уходит" из семантического пространства *лжи* в область иных концептов и слов — абсурд, бессмыслица, бред... Таким образом, *истина* неоднородна (от тождества до соответствия), но стабильна; *ложь* однородна, но нестабильна.

## 2.3. Асимметричность относительно предиката говорить.

Несимметричность истины и лжи обнаруживается и в различном их расположении относительно предопределяющего их выразимость предиката *говорить*. Близость *говорить* к истине и отдаленность от лжи проявляется в возможности употребления *говорить* в значении "говорить истину". Кроме того, *говорить*, как известно, относится к перформативам [34, с. 239], которые тривиальным образом истинны в каждом акте своего произнесения [35, с. 20]. Причем перформативное употребление *говорить* несет в себе истину как тождество, так как в этом случае "означаемое тождественно с языковым фактом, референтом которого оно является" [36, с. 308]. Значит ли это, что *лгать*, антоним к "говорить истину", не может быть употреблен перформативно?

Известно, что перформатив, находясь под отрицанием, может либо терять свою перформативность, либо сохранять ее [37]. Помимо различных сомнительных случаев представляется несомненным, что перформатив под отрицанием не теряет своего качества тогда, когда в этой своей форме он синонимичен антониму к перформативу без отрицания: *спорю* — *не спорю* = *сблещиваюсь, одобряю* — *не одобряю* = *осуждаю, разрешаю* — *не разрешаю* = *запрещаю*... В противном случае происходит утрата перформативности, обусловленная неантонимическим содержанием перформатива под отрицанием: *благодарю* — *не благодарю*, *даю слово* — *не обещаю*, *присягаю* — *не присягаю*...

В целом есть основания полагать, что антоним к перформативу также является перформативом. Это касается и предиката *лгать*, противоположного "говорить истину", и предиката *молчать* — еще одного антонима к *говорить*. Однако такое утверждение может показаться небесспорным,

поскольку перформативное употребление *молчать* и *лгать* должно порождать либо смысл "говорю: я сейчас не говорю", либо "говорю истину: я сейчас лгу", а это не что иное, как иллюкутивное самоубийство [34]. И все же *лгать* и *молчать* могут быть употреблены перформативно. Вот, например, несколько контекстов, достаточно типичных для русского языка: а) *Не буду говорить о том, что р; Не говоря уже о том, что р; Умолчим о том, что р; Слов нет, р*; б) *Бумага терпит и молчит, и я пишу спокойно (лгу): мы не увидимся больше (не лгу)* (А.И. Гончаров); *Все неправда, все ложь, все обман, все зло* (Л.Н. Толстой); *Мысль изреченная есть ложь* (Ф.И. Тютчев). Нетрудно усмотреть в приведенных примерах иллюкутивное самоубийство, основанное на семантике, антонимичной значению *говорить* и одновременно выраженной перформативно. Следовательно, *говорить* под отрицанием, *молчать* и *лгать* все же могут употребляться перформативно. Подлинная асимметрия *истины* и *лжи* заключается не в их отношении к перформативности, а в том, что семантика *говорить* под отрицанием, *лгать* и *молчать* парадоксальна: они обозначают то, что противоположно акту их произнесения, иными словами, акт их произнесения есть референт предиката *говорить*, а их значение антонимично ему. И хотя *истина*, *говорить* и "говорить истину" непротиворечивы, но их большая абстрактность и их всеобщность приводят к тому, что взаимодействие истины (vs. тождества) и лжи (vs. различия) в определенных высказываниях реализуются как истина-антиномия. Во всех таких высказываниях выражение со значением истины может быть проинтерпретировано через множество различных и даже противоположных предикатов, но никогда через *ложь*. Например:

Да, есть нравственная сила правого дела, перед которою уступает  
 ↓  
 мужество неправого человека (С.Т. Аксаков)

Нет

↓

Так оно и есть

↓

Правда

↓

Говорю вам

↓

Слов нет

↓

∅ (здесь "∅" — молчание как таковое, которое значимо противопоставлено говорению).

#### 2.4. Асимметричность по параметрам осознанности vs. неосознанности.

*Истина* всегда осознанна, *ложь* бывает как осознанной, так и непреднамеренной. Признание осознанности *истины* как ее постоянного свойства не кажется очевидным. Тем не менее представляется вполне обоснованным расценивать нечто сказанное (X), совпадающее с тем или соответствующее тому, о чем сказано (Y), как истину лишь тогда, когда это происходит не случайно (тогда перед нами не истина, а просто совпадение), но преднамеренно. Попробуем обосновать это, обратившись к контрпримерам такого рода: *Устами младенца глаголет истина; Он вдруг неожиданно для самого себя сказал правду; Тут вдруг я понял, что говорю правду* и т.п. Но и здесь истина вполне осознанна. Дело в том, что здесь не сам младенец, а именно устами младенца — не младенец изрекает истину, а тот, кто сказал: "Устами младенца глаголет истина"; я сначала начал говорить, и, уже сказав нечто, понял, что до этого и сейчас говорю правду; тот, кто сказал истину не желая того, тогда понял, что он сказал именно

истину, когда осознал сказанное. Только анализирующий наблюдатель или проанализировавший уже сказанное им самим говорящий могут обозначить предикатом *истина* то, что говорит младенец, или то, что кем-то было сказано нечаянно. В то же время младенец и "неанализирующий" говорящий просто говорят, и нередко случается, что их слова соответствуют фактам, совпадают с ними. Поэтому первое — это стечение обстоятельств, второе — осознание совпадения как истины. Если не согласиться с этим, то логично будет признать, что подлинная истина существует в мире, не наделенном сознанием: там все подчиняется естественному ходу событий, соответствуя ему, сливаясь с ним, в конце концов, являясь им.

### III. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ И КУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ

Общность содержания всех форм выражения истины, которая закреплена в концепте истины, обнаруживается не только в современном языке, но и в этимологии слова *истина*. К тому же в силу принципа, гласящего, что "семантика абстрактного понятия в языке составляет корреляты семантики в области духовной культуры" [38, с. 172], следует обратиться к культурным коннотациям *истины*. Между современным значением слова *истина* и его этимологией, с одной стороны, и культурным коррелятом, с другой, нужно ожидать наличия общих черт, отобразенных в содержании концепта истины.

#### 1. Этимологические параллели.

Одно из любопытных свойств *истины* заключается в том, что из всех значений этого слова наиболее абстрактное оказывается вместе с тем и наиболее древним. Надо сказать, что данное свойство не будет отличительным для *истины*, оно присутствует «в структуре таких ключевых "культурных" слов (языковых знаках-символах данной культуры), в которых как раз и сокрыт главный семантический нерв слова-понятия» ([39, с. 4]; см. также [40]). Объяснение закономерности "чем абстрактнее, тем древнее" может быть найдено в своеобразии первобытного мышления человека.

Л. Леви-Брюль установил, что в основе первобытного мышления лежит закон партиципации: "... в коллективных представлениях первобытного мышления предметы, существа, явления могут быть, непостижимым для нас образом, одновременно и сами собой и чем-то иным. Не менее непостижимым образом они излучают и воспринимают силы, способности, качества, мистические действия, которые ощущаются вне их, не переставая пребывать в них [41, с. 48]. Развивая свою мысль, этот исследователь пишет далее: «Другими словами, умственная жизнь первобытных людей... зависит от того основного и первоначального факта, что в их представлениях чувственный мир и мир "иной" составляют нечто единое» [41, с. 623]. В последнем нельзя не увидеть, что закон партиципации базируется на тождестве различного, на отождествлении неотождествимого; перечисляя члены такого отношения, Леви-Брюль называет мир чувственный и мир "иной", изображение предмета и изображаемый предмет, имя и именуемое, предмет и тень предмета, сон и явь... И здесь не тождество в "каком-то отношении", а абсолютное тождество: "... мышление первобытных людей характеризуется чем-то большим, чем представление об объекте: оно овладевает им и оно им одержимо. Оно сопричастно ему и не только в репрезентативном, но одновременно и в физическом и мистическом смысле слова" [41, с. 303].

Сходство закона партиципации и определения истины через тождество несомненно. Однако это не одно и то же, поскольку первобытное мышление, разумеется, не оценивает само себя через тождество с "иным";

хотя оно и сопричастно ему, но "сопричастность столь реально переживается, что она еще не мыслится в собственном смысле слова" [41, с. 303]. Об истине же можно говорить тогда, когда сопричастность осознана человеком, — это время и есть время рождения истины, и эта истина есть тождество.

Тут вполне резонно выглядит возражение такого рода: как только сопричастность осознана, так тут же тождество нарушается, поэтому "родившаяся" истина должна определяться, скорее всего, через соответствие. Это действительно так, но подобное рассуждение, если его развернуть полностью, вновь приведет нас к тождеству, реализуя структуру антиномии тождества-различия.

Этимология подтверждает проделанный выше анализ: древнейшим значением слова *истина* является указательно-идентифицирующее "тот самый, именно тот" [42] (*X* тот же самый, именно тот, что и *Y*)<sup>7</sup>. И лишь затем у лексемы *истина* появилось значение, толкуемое в современных словарях через соответствие.

Два этих значения взаимодействовали друг с другом в истории развития их слова-носителя, и, следовательно, взаимодействовали друг с другом тождество и различие, а это, как мы знаем, чревато возникновением антиномий. Этимология позволяет убедиться в естественноречевой реальности их существования.

Обратимся к лексеме *один*, которая, будучи носителем идеи тождества, включается в толкование *истины* (*X* один и тот же, что и *Y*) и оказывается этимологически связанной с *истиной*.

Существует множество этимологий слова *один* (см. их изложение в [44]), которые при всех различиях между ними сходны в том, что так или иначе восходят к противоположному значению "другой", а от него вновь к значению "один": "один" ↔ "другой" → "один". Вот, например, версия, предлагаемая Этимологическим словарем славянских языков [45]: от и.-е. \**eino-*/*\*oino-* 'один' к прасл. \**ed-inь*/*\*edinь* (где *ed-* — местоименная проклитика со значением 'вот', а *-inь* имеет несколько значений, среди которых и "другой") и от него к русск. *один*. Причем слово *один* ни в каком из своих современных значений не может быть истолковано как "другой". Однако лексема *другой* включается словарями в толкование *одного* и одновременно в тех же толкованиях присутствуют слова, производные от *одного* и с семантикой, синонимичной или близкой ему: "Без других (здесь и далее разрядка моя. — В.Л.), в отдельности от других, в одиночестве [19, т. II, с. 592]; "Никто другой или ничто другое, кроме; единственный" [19, т. II, с. 592]. Сказанное позволяет констатировать несомненное сходство этимологии и толкования, истории и современной семантики слова *один*, ведь и там и здесь налицо тавтологичность, круг в определении и этимологии.

Кроме того, *один* "заключает в себе \**inь* (см. *иной*), связанное чередованием с арм. энкл. *in* "тот же самый"... [46, т. III, с. 122]. Следуя далее отсылке М. Фасмера к *иному*, выясняем: «Родственно с лит. *inas* "действительный, правильный"» [46, т. II, с. 134].

Итак, круг замкнулся во второй раз: *истина* этимологически восходит к значению, которое истолковывается через *один*, *один* приводит нас к своему антониму *другой*, и от него мы вновь приходим к *истине*. (Аналогия к соединению противоположностей в этимологии русского *истина* прослеживается в древнегреческом ἀλήθεια, где корень -*ληθ-* имел значение "скрывать, таить", а приставка *α-* могла употребляться в двух противо-

<sup>7</sup> Это значение функционирует и в современных русских говорах [43].

положных значениях: 1) "не" —  $\alpha$ -intensivum-, и тогда ἀλήθεια есть "несокрытое, явное"; 2) "усиливающая значение" —  $\alpha$ -privativum — и тогда ἀλήθεια есть "чрезвычайно сокрытое, потаенное" [47].)

Наблюдения над семантикой *истины*, "развернутой во времени", приводят к еще одному выводу: более абстрактное слово, семантически связанное с менее абстрактным, стремится "навязать" свое значение менее абстрактному или же, наоборот, более абстрактное слово поглощает значение менее абстрактного и вытесняет последнее из языка. Разумеется, это не универсальная закономерность, а частная тенденция, которая проявляется на множестве слов со значением истины в двух отношениях.

Первое. *Правда* — слово более сложное и менее абстрактное, чем *истина* [38, 5]. Первоначально слова с корнем *-прав-* могли иметь следующие значения: 1) "прямой, ровный", "выпрямить, разровнять"; 2) "направить по прямому, правильному пути"; "проводник, наставник, руководитель"; 3) "правильный, правдивый, справедливый"; "то, что правильно, правда, справедливость"; 4) "справедливый порядок, закон, правило"; 5) "православный, отвечающий православию" [48, с. 62]. Лишь позднее, вследствие влияния более абстрактного слова *истина*, у *правды* появилось значение 'соответствие мыслей действительности' и само слово стало определяться через *истину*.

Второе. Предельно абстрактный предикат *говорить* может употребляться в значении "говорить правду". Данное значение, по нашему предположению, было отторгнуто у древнерусских глаголов *истиньновати*, *истиньствовати*, *истовати*, *истововати* (их толкование см. в [49]). Вобрав в себя значения этих слов, *говорить* занял их место в лексико-семантической системе, в результате чего в современном русском языке существует асимметрия *лгать* —  $\emptyset$ .

## 2. Культурные коннотации.

Анализ концепта истины с позиций культуры как истории условий знания (Э.Б. Тайлор) позволяет сформулировать две тенденции.

1. Истина существует — она независима от нас, ее надо отыскать. Это истина рационального знания, истина как соответствие, всегда предполагающая дистанцию между познающим субъектом и объектом познания. Обретение абсолютной истины на этом пути вряд ли возможно, поскольку этому препятствует несовершенство человеческого разума (Кант). — "Что бы я ни делал, всегда нахожу что-нибудь между истиной и мною: это нечто я сам; истина сокрыта мне одним мною. — Есть одно средство увидеть истину — удалить себя" (П.Я. Чаадаев).

2. Истина — факт осознания, видения мира; формулируя истину, мы тем самым приобщаемся к ней и в какой-то мере создаем ее. Это истина говорящего сознания и его собеседника; обращаясь к миру, говорящий видит в нем способность к разговору, которая воплощается в момент их соединения, тождества. — "Никодим несколько лет назад закрыл книгу, не желая знать, что у нее в конце, — он сам мог придумать сочинение еще более увлекательное, чем в книге, и, главное, ему казалась своя мысль истинней и лучше, потому что он мог свою мысль чувствовать и переживать в воображении как в действительности" (А. Платонов).

Первая тенденция наиболее явственно прослеживается в истории науки, вторая имеет более древние корни, уходящие в первобытное мышление и мифологию.

### 2.1. Миф.

В мифе истина не отыскивается, а провозглашается, миф — это "форма рассуждения, выходящая за рамки рассуждения тем, что она хочет породить ту истину, которую провозглашает..." [50, с. 29]. Отсюда понятно

движение мифологического сознания от рассмотрения "совершенно различных, с точки зрения немифологического мышления, предметов как одного" [51, с. 284] к столь характерному для него взгляду на имя как эквивалент именуемого (см., например [52]).

Общая предопределенность тождеством оправдывает проведение аналогии между структурой истины (слова *истина* — ХТУ) и структурой мифа, как ее определяет К. Леви-Стросс. Упрощая, можно сказать, что миф состоит из трех элементов. Первый из них (например, ЖИЗНЬ vs. X) противоположен последнему (СМЕРТЬ vs. Y), а средний — медиатор, — посредствуя между ними, вбирает в себя их противоположные качества (ОХОТА vs. T — предполагает умертвление животного (СМЕРТЬ) для продолжения ЖИЗНИ охотника) [53, с. 199—201]. Медиатор (T), соединяя противоположное, выполняет свою функцию, но становится противоречивым с рациональной точки зрения. Для мифологического мышления здесь нет противоречия, так как оно "безразлично к логической дисциплине" [41, с. 318].

Отголоски мифологического мышления слышны в современных религиозных обрядах, обычаях, верованиях и, конечно, в фольклоре. Здесь неоднородность *истины* соответствует противоположности коннотаций: *Без правды веку не изживешь — Правда прежде нас померла; На правду слов нет* (т.е. сама высказывается) — *Не солгать, так и правды не сказать* и т.п. В наиболее заостренной форме это приводит к принципиальной нестабильности логических оценок. Иными словами, пралогическое, безразличное к противоречию, вступает во взаимодействие с его рациональным осознанием, которое позволяет расценивать некоторые пословицы как формулировки парадокса Лжеца: *Всяк человек ложь — и мы тож; И твоя правда, и моя правда, и везде правда — а нигде ее нет; Ко всякой лжи свое приложи*. Истина оказывается оборотной стороной лжи, они взаимовыводимы, но антиномичность их взаимодействия ничуть не мешает пониманию сказанного и, более того, является формой самоосознания человека и познания мира. Именно так в данном случае и осуществляется "мистическое единство двух" как условие "ведения" (П.А. Флоренский).

## 2.2. Религия.

В религии, вырастающей из первобытного мышления и мифологии, также видны две тенденции в понимании истины — иррациональная и рациональная.

Партиципация, сопричастность "иному" в первобытном мышлении конкретизируется Леви-Брюлем, в частности, как сопричастность с объектом религиозного чувства — в этом сущность религии вообще. Тогда первобытное мышление религиозно "в наивысшей, какую только можно вообразить, степени" [41, с. 306], так как человек и божество в этом случае — два, которые есть одно.

С другой стороны, это мышление нельзя назвать религиозным в собственном смысле слова, потому что оно не реализует вне себя существ, с которыми чувствует себя в мистической сопричастности. "Представления, которые мы называем религиозными, ... должны были бы, таким образом, являться продуктом дифференциации по отношению к предшествующей форме мыслительной деятельности" [41, с. 307]. Собственно религиозные представления отделяют человека от Бога, противопоставляя "себя партиципациям между человеком и Богом, не могущим быть представленными без противоречия. Таким образом, познание Бога приводит к нулю. А между тем какая нужда в этом рациональном познании у верующего, чувствующего себя соединенным со своим Богом? Разве сознание сопричастности своего существа с божественной сущностью не дает такой

уверенности, по сравнению с которой логическая достоверность остается всегда чем-то бледным, холодным и почти безразличным?" [41, с. 319].

Итак, от двуединого тождества религиозного чувства в первобытном мышлении (которое именуется также пралогическим) к рациональному представлению о Боге, которое как будто и соединяет "мыслящего субъекта" с Богом, и отделяет от него, и вместе с тем таит в себе тяготение к новому со-единению с объектом религиозного чувства.

Такой круг прodelывает человеческое сознание, запечатлевая его в истории культуры.

### 2.3. Философия.

Если говорить о русской культуре, то здесь развитие идет от древнерусской традиции пансакральности, снимающей оппозиции Неба и Земли, божественного и человеческого, святого и профанического: «Небо как бы сходит на землю, и человек становится не просто образом, подобием и творением Бога, но как бы его воплощением...; ср. исторически известные соблазны этого рода в истории христианства на Руси ("человекобожие")» [39, с. 48]. И затем через борьбу восточного Логоса против западного Ratio (В.Ф. Эрн) к русской религиозной философии всеединства и человекобожия.

Как в эпоху становления человеческого разума условием знания была сопричастность, партиципация, затем — отъединенность, так в наше время в философии всеединства сопричастность, уже на новом уровне, осознается как условие совершенного знания и единственно истинного пути познания. Всеединство (основатель — В. Соловьев, среди сторонников — Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, Н.О. Лосский) стремится к созданию свободной теософии, синтезирующей в себе теологию, философию и науку. Основными методологическими и гносеологическими приемами этого направления являлись, соответственно, антиномизм, мистицизм и рационализм [54], при помощи которых только и может быть достигнута цельная истина знания.

Закономерна ориентация сторонников "положительного всеединства" на миф как идеал первоначальной слитности, нерасчлененности. "Они отталкивались от данного положения, и должный ход последующего развития религии представлялся им обратным, так как требования интегративности предписывали формировать такой идеал религиозного мироотношения, при котором вся мировая совокупность предстанет как абсолютно единая, всеединая" [54, с. 61]. Прийти к высшей истине нераздельного и всеобъемлющего единства можно только через сопричастность (тождество) "этого" и "иного", человеческого и божественного, рационального и иррационального... Так преодолевается "лукавство" и "лицемерие" (П.А. Флоренский) гносеологии кантланцев, отделяющих в акте знания субъект от объекта. Платой за это преодоление становятся антиномии, входящие в ткань философской системы всеединства. Преодоление трудностей виделось В.С. Соловьеву, Е.Н. Трубецкому, П.А. Флоренскому и другим всеединцам не в устранении противоречий и антиномий, а в принятии их теорией, методологией которой, следовательно, должна быть осознанно парадоксальной. "Бессильно усилие человеческого разума примирить противоречия, всякую попытку напрячься давно пора отразить бодрим признанием противоречивости" [15, с. 157]. Отсюда и определение истины как антиномии, соединяющей в себе рациональность отделения субъекта от объекта (соответствие) и иррациональность их нераздельного двуединства — только такая истина "всю жизнь вберет в себя" (П.А. Флоренский).

Одним из значительных этапов философии всеединства было создание концепции богочеловечества, которая восходит к соответствующей древнерусской идее, а та, в свою очередь, берет начало в византийской культуре.

В человекобожии осуществляется конечная цель творения — творец воссоединяется с сотворенным, воплощая божественное всеединство. Носителем идеи является "духовный человек": "Воплощение божественного Логоса в лице Иисуса Христа есть явление нового духовного человека, второго Адама"; это "индивидуальное существо, но вместе с тем и универсальное, обнимающее собою все возрожденное духовное человечество" [55, т. III, с. 151]. Христос — первый богочеловек, в нем залог обожествления всего человечества. В этом же и цель истории, понимаемой В.С. Соловьевым как богочеловеческий процесс.

Сближение и взаимопроникновение божественного и природного начал, "свободное подчинение" низших начал — рационального и материального — высшему божественному, приводящее к их единству в Богочеловеке — это форма явления истины. — "Иначе истине не на чем будет проявить свое действие, не на чем будет осуществиться" [55, т. III, с. 165]. И вновь тождество предстает как тождество различного, как антиномия: «Если мы... обозначим две реальности — Бога и меня — как две величины А и В, то тут имеет силу теорема, что  $A = A + B$ . Из этой символической формулы можно усмотреть, что, с одной стороны, В по сравнению с А, как величиной бесконечной, должно равняться "нулю", быть "ничто", так как оно ничего не может прибавить к величине А, и что, с другой стороны, В, принадлежа к А, должно в этом отношении само быть бесконечным и, тем самым, вечным» [56, с. 509—510].

Вместо заключения мы приведем четыре определения истины. Первые два — В.С. Соловьева и словарное [19] — подводят черту под не всегда явно выраженной в данной работе апологией современного лексикографического толкования. Два последующих подытоживают наше собственное понимание истины — концепта и слова.

1. "ИСТИНА сама по себе — *то, что есть*, в формальном отношении — соответствие между нашей мыслью и действительностью. Оба определения представляют истину только как искомое" [57]<sup>8</sup>.

2. ИСТИНА — "То, что соответствует действительности, действительное положение вещей..." [19, т. I, с. 688].

3. Концепт истины — явленный в языке и через язык инвариант всех форм выражения идеи истины, существующий как исторически и культурно обусловленная антиномия тождества-различия.

4. Истина — слово, обозначающее тождество сказанного со своим объектом, способное разворачивать себя до соответствия; его значение поэтому внутренне неоднородно — от смысла "тождество" (наиболее абстрактного и древнего) до "соответствия" (частичного тождества), — но неоднородность существует как двуединство и этим обеспечивает стабильность значения; минимум признака значения истины ("соответствие") предопределен семантическим примитивом *говорить*, а максимум ("тождество") ничем не ограничен и осознается носителями русского языка как норма.

<sup>8</sup> "Истинное" приобретает черты обретенного в "Критике отвлеченных начал": "Итак, на вопрос, что есть истина, мы отвечаем: 1) истина есть сущее, или то, что *есть*..."; "...сущее 2) как истина не есть многое, а есть *единое*"; "...3) истинно-сущее, будучи единым, вместе с тем и тем самым есть *все*, содержит в себе все, или истинно сущее есть всеединое" [58].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Дворецкий И.Х.* Латинско-русский словарь. М., 1976.
2. *Фрумкина Р.М.* Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога (концепт, категория, прототип) // НТИ. Сер. 2. 1992. № 3.
3. Концептуальный анализ: методы, результаты, перспективы. М., 1990.
4. *Джеймс У.* Психология. М., 1991.
5. *Шатуновский И.Б.* "Правда", "искренность", "истина", "правильность" и "ложь" как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
6. *Арутюнова Н.Д.* Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.
7. *Хайдеггер М.* Учение Платона об истине // Историко-философский ежегодник. 1986. М., 1986.
8. *Платон.* Парменид // Собр. соч. Т. II. М., 1970.
9. *Хайдеггер М.* О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
10. *Херрман Фр.-В. фон.* "Бытие и время" и "Основные проблемы феноменологии" // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991.
11. Логический анализ языка. Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990.
12. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М., 1958.
13. *Новоселов М.М.* Об абстрациях неразличимости, индивидуации и постоянства // Творческая природа научного знания. М., 1984.
14. *Хайдеггер М.* Закон тождества // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
15. *Флоренский П.А.* Столп и утверждение истины. М., 1990.
16. *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод. М., 1988.
17. *Тарский А.* Истина и доказательство // ВФ. 1972. № 8.
18. *Караулов Ю.Н.* Общая и русская идеография. М., 1976.
19. Словарь русского языка. Т. I—IV / Под ред. Евгеньевой А.П. М., 1985—1988.
20. *Арутюнова Н.Д.* Феномен второй реплики, или о пользе спора // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
21. Частотный словарь русского языка / Под ред. Засориной Л.Н. М., 1977.
22. *Лукин В.А.* Семантические примитивы русского языка. М., 1990.
23. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.
24. *Кондаков Н.И.* Логический словарь-справочник. М., 1975.
25. *Вригт Г.Х. фон.* Логико-философские исследования. М., 1986.
26. *Скороходько Э.Ф.* Семантические сети и автоматическая обработка текста. Киев, 1983.
27. *Тулдава Ч.* Проблемы и методы квантитативно-системного исследования лексики. Таллин, 1987.
28. *Белл Р.Т.* Социолингвистика. М., 1980.
29. *Арутюнова Н.Д.* Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
30. *Зализняк Анна А.* О понятии "факт" в лингвистической семантике // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
31. *Степанов Ю.С.* В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
32. *Грайс Г.П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.
33. *Болинджер Д.* Истина — проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
34. *Вендлер З.* Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.
35. *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотносительность с действительностью: Референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985.
36. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
37. *Апресян Ю.Д.* Перформативы в грамматике и словаре // ИАН СЛЯ. 1986. № 3.
38. *Степанов Ю.С.* Слова правда и цивилизация в русском языке // ИАН СЛЯ. 1972. № 2.
39. *Топоров В.Н.* Из славянской языческой терминологии: индоевропейские истоки и тенденции развития // Этимология. 1986—1987. М., 1989.
40. *Ивлев Вяч.Вс., Топоров В.Н.* К истокам славянской социальной терминологии // Славянское и балканское языкознание: Языки в этнокультурном аспекте. М., 1984.
41. *Лейб-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 1930.
42. *Топоров В.Н.* Этимологические заметки // Краткие сообщения. Ин-та славяноведения. Вып. 25. М., 1958.
43. *Чумакова Ю.П.* Прилагательные со значением "очень похожий" в русских говорах // Исследования по семантике. Уфа, 1982.
44. *Степанов Ю.С.* Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках // ВЯ. 1989. № 4—5.

45. *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—15 / Под ред. Трубачева О.Н. М., 1974—1988.*
46. *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1986—1987.*
47. *Гринцер Н.П. Греческая алфавита: очевидность слова и тайна значения // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.*
48. *Цейтлин Р.М. О значениях старословянских слов с корнем -*прав*- // *Этимология*. 1978. М., 1980.*
49. *Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I—III. СПб., 1893—1912.*
50. *Иванов Вяч.Вс. До — во время — после? (Вместо предисловия) // Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии: Духовные искания древнего человека. М., 1984.*
51. *Лотман М.Ю., Успенский Б.А. Миф — Имя — Культура // Уч. зап. Тартуского ун-та. 1973. Вып. 308: Труды по знаковым системам. VI.*
52. *История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.*
53. *Леви-Стросс К. Культурная антропология. М., 1983.*
54. *Акулинин В.Н. Философия всеединства (от В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому). Новосибирск, 1990.*
55. *Соловьев В.С. Собр. соч. Т. I—IX. СПб., 1901—1903.*
56. *Франк С.Л. Сочинения. М., 1990.*
57. *Соловьев В.С. Истина // Энциклопедический словарь / Изд. Брокгауз — Ефрон. Т. 25. СПб., 1894. С. 473.*
58. *Соловьев В.С. Сочинения. Т. I. М., 1990. С. 693.*

© 1993 г. ЖУРАВЛЕВ А.Ф.

**ПРАСЛАВЯНСКИЙ СЛОВНИК ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОГО  
ДИАЛЕКТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕКСИКОСТАТИСТИКИ**

Новгородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братьев своих; быв верными подданными князей, ныне смеются над их властью... и в какие времена?

*Карамзин.* Марфа-посадница, или покорение Новагорода

Публикацией обширного исследования А.А. Зализняка "Наблюдения над берестяными грамотами", практически воспроизведенного в позднейшей работе "Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения", а затем его докладами "Значение новгородских берестяных грамот для истории русского и других славянских языков" на заседании Бюро Отделения литературы и языка АН СССР и "Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка" на X Международном съезде славистов в Софии (см. [1—4]) было резко обострено внимание славистов к крупной проблеме, порождаемой довольно многочисленными диалектными особенностями идиома, который отражен в группе памятников, относящихся к древнейшим фиксациям славянской речи (точнее, второй после старославянского, но первым из письменных свидетельств бытовой, живой славянской речи).

Ряд важных черт связывает древненовгородский диалект с западнославянскими языками: отсутствие палатализации заднеязычных в сочетаниях \*kv, \*gv в позиции перед *ě, i, ь*; сохранение взрывного элемента в древних сочетаниях \*tl, \*dl — с передвижкой смычки к заднему небу: *kl, gl*; совпадение рефлексов \*ij и \*dj с *k* и *g*, находящимися "в позиции второй палатализации" (т.е. перед *ě* или *i*) — с тем различием, что в западнославянских языках эволюция этих рефлексов пошла дальше; реализация фонемы *ě* как относительно открытой гласной — как в польском; устранение сочетаний *вл', мл'*: "Не исключено, что тенденция к устранению сочетаний *вл', мл'* находится в некоторой отдаленной связи с отсутствием таких сочетаний (кроме позиции начала морфемы) в древних диалектах западнославянской зоны" [4, с. 168]; морфологическое оформление деми-нутивов с суф. -ьк- от имен собственных о-склонения как *masculina*, подобно западнославянскому оформлению таких имен, а не как *neutra*, что наблюдается в идиомах Юго-Западной Руси и в южнославянских языках; совпадение род. пад. ед. числа жен. рода с дательным и местным падежами ед. числа в адъективном и местоименном склонениях и другие явления (см. [4]).

Чертами, объединяющими диалект, отражаемый новгородскими берестяными грамотами, с западнославянской зоной, он обязан, по мнению А.А. Зализняка, севернокривичскому компоненту. Другой компонент, составивший основу древненовгородского диалекта, — говоры ильменских словен, находящиеся ближе к остальным восточнославянским идиомам, которые

в свою очередь обнаруживают много общего с языками южнославянской зоны и особенно сербохорватско-словенской подгруппой.

Древненовгородский, таким образом, представляет собою тип смешанного диалекта, развившегося в зоне контактов двух групп говоров с разными генетическими характеристиками. Последние, собственно, заключаются не в изначальной принадлежности новгородского диалекта или одного из его компонентов какой-либо восточнославянской диалектной области, а в особой его архаичности, в отражении им состояния, предшествовавшего окончательному размежеванию восточных, западных и южных славян (см. [3, с. 99]). Древненовгородский диалект разрушает, как считает А.А. Зализняк, традиционные устойчивые представления о моногенезе восточнославянской языковой группы ([4, с. 176]; ср. [5, с. 166—167]).

Сама проблема происхождения древненовгородского диалекта далеко не нова. Одна из наиболее крупных работ на эту тему — вышедшая посмертно статья Д.К. Зеленина "О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода" [6], где проблема рассматривается в полемике прежде всего с работами А.А. Шахматова о возможном ляхском влиянии на сложение восточнославянских диалектов и этносов [7—10] и далее с работой П.А. Расторгуева о западнославянских чертах белорусской фонетики [11], и др. Д.К. Зеленин выдвигает тезис о переселении на берега Ильменя и Волхова несколькими партиями выходцев из области восточнобалтийских (поморских) славян, переселении, случившемся (или случавшимся) "так рано, что до летописца XI в. дошли лишь глухие предания" [6, с. 95]. Для обоснования этого тезиса Д.К. Зеленин рассматривает многочисленные, главным образом фонетические, параллели между западно- и севернорусскими диалектами, включая (особенно обильно и пристрастно) говоры Сибири, с одной стороны, и западнославянскими (польским, поморским, полабским) языками, с другой. Среди аргументов Зеленина — и лексические факты, как из живых говоров, по преимуществу сибирских, так и из древних письменных памятников, в частности из Первой новгородской летописи, проанализированной Н.М. Петровским [12] с точки зрения наличия в древненовгородском западнославянском лексическом компоненте.

К настоящему времени существует довольно обширная лингвистическая литература, касающаяся проблемы генетических связей между севером западнославянской зоны и западом (северо-западом) восточнославянской (см. [13—27]). Исследования А.А. Зализняка, таким образом, дают новый (и богатый) материал для размышлений на достаточно старую тему, без привлечения которого — теперь это вполне очевидно — решение проблем восточнославянского глоттогенеза попросту неосуществимо.

Возможны ли для выяснения истоков и путей формирования древненовгородского диалекта лексикостатистические измерения его внешних ориентаций?

Для ответа на этот вопрос обратимся к данным, которые можно извлечь из Словоуказателя к новгородским берестяным грамотам [28].

В Словоуказатель помещена лексика всех найденных к моменту его создания берестяных грамот Новгорода (№№ 1—614) и Старой Руссы (14 грамот, отражающих тот же диалект), а также Пскова, Смоленска, Витебска, Мстислава, Твери; всего 645 грамот. Объем Словоуказателя — примерно 2250 лексем. Приблизительно 840 из них — имена собственные (сюда не включаются производные — отойконимические — наименования жителей), причем большинство их не имеет соответствий в апеллятивном слое лексики и/или является заимствованиями. Таким образом, праславянский пласт лексики новгородских берестяных грамот — основной материал для межславянских сравнений лингвогенетической направленности — ожидается довольно скромным по величине.

К лексикостатистическому анализу по испытанным нами (см. [29—31]) процедурам мы можем привлечь лишь ту часть праславянской лексики древненовгородского диалекта, которая может быть возведена к праславянским реконструкциям, осуществленным в изданной к настоящему времени части Этимологического словаря славянских языков [32] — ЭССЯ. Сколь ни интересна и ярка была бы лексика, остающаяся за обозначенными пределами, ее статистическое исследование на фоне инославянского материала нецелесообразно ввиду неполноты наших представлений о ее корреспонденциях в языках разных групп и подгрупп славянской семьи. Оно будет возможно лишь по завершении издания полного этимологического словаря славянских языков.

Сопоставление лексики, представленной Словоуказателем, с материалами обследованной статистически части ЭССЯ (первые 15 выпусков) позволило выделить 378 праславянских слов, которые могли быть использованы в квантитативном анализе праславянского словника древненовгородского диалекта с целью выявления его статистических связей с другими славянскими идиомами. Это составляет всего лишь около 5% всего объема части праславянского словарного фонда, подвергшейся статистической обработке (объем первых 15 выпусков ЭССЯ — 7936 лексем, с исключением слов сомнительной праславянской древности — 7557 лексем). Для сравнения: аналогичный показатель составляет у старославянского языка — 14,9%, болгарского — 43,2%, северновеликорусского наречия — 55,1%, русского языка в целом — 65,6%. Величина праславянского словника древненовгородского диалекта по берестяным грамотам оказалась весьма низкой, меньше даже, чем у полабского языка (452 лексем в указанном интервале). Это означает, что статистические наблюдения над праславянской лексикой диалекта древнего Новгорода будут отличаться не слишком высокой надежностью.

Именно по этой причине мы нашли нерациональным специальное вычленение лексики ранних берестяных грамот, относящихся, по Зализняку (см. [2, с. 91]), к домонгольскому периоду русской истории и составляющих 37% всех имеющихся грамот: такой отбор сделает статистику еще менее надежной.

Для обрисовки изоглоссных связей древненовгородского диалекта важно указание на наличие в его словарном составе праславянских по происхождению слов, не встречающихся в других восточнославянских идиомах. К таковым относятся лексемы \**dorgobqđь* (*Дорогобудь*, личное имя; свидетельство ценно тем, что до него фиксировалось только производное \**dorgobqđь*, включенное в [32, вып. 5, с. 75], с отражениями в сербской, чешской и древнерусской ойконимии, из восточнославянских *Дорогобужей* упомянут лишь смоленский и не упоминается вольнский, название которого встречается в Лаврентьевской летописи раньше смоленского — под 1084, 1097 и 1100 гг.), \**jaroměрь*/\**jaromirь* (*Яромирь*, личное имя; отмечено в болгарском, сербохорватском, старочешском и старопольском антропонимиконах [32, вып. 8, с. 176], \**kleščь* "лещ" (*клещь*, которому А.А. Зализняк придает особенную значимость как доказательству переклички древненовгородского с "очевидными соответствиями в западнославянских языках" [2, с. 121] — старопольском, словинском, нижнелужицком, далее — с иным рефлексом инициальной консонантной группы: *dleščь* — в старочешском; см. также [32, вып. 14, с. 144]. Правильное толкование др.-новг. *клещь* предложено в работе [33]. Строго говоря, древненовгородское слово не является одиноким на восточнославянской территории, ср. производные *клещинец*, *клещинцы*, *клешинец* "род рыболовной снасти", уральский фразеологизм *клещ на уоу*, недоброе пожелание рыбакову [34, вып. 13, с. 292—293], топонимы *Клешино* (озеро) и под. (ср. *Плещеево озеро*).

"Западнославянским" в нем следует считать отражение *tl->kl-*, подобно спорадическому переходу срединных *-tl-*, *-dl-* в *-kl-*, *-gl-* в севернолехитских говорах [2, с. 121]), *\*krqrъ(jь)* (крупны "мелкий"; отмечено еще в болгарском, старочешском, польском и словинском, а также в церковнославянском [32, вып. 13, с. 27]), *\*kyselъ(jь)/\*kysělъ(jь)* (киселы "кислый"; соответствия — во всех южнославянских, чешском и польском, также в русско-церковнославянском [32, вып. 13, с. 271] — в отличие от господствующих на восточнославянской территории рефлексов формы *\*kys(ь)lъ(jь)*.

Если иметь в виду и слова, известные по древнерусским памятникам, но не свидетельствуемые живыми восточнославянскими языками, то этот список должен быть пополнен лексемами *\*ati*, союз (*ати*, *ать*, далее *ати но*, *ать но*, *ать ти*; ср. [2, с. 163—164]; также — в чешском, старопольском [32, вып. 1, с. 40]), *\*bebrъ* (бебръ "бобр", также — в сербско-церковнославянском, болгарском, словенском, верхнелужицком [32, вып. 1, с. 174] но возможно также отнесение к праформе *\*bьbrъ*, рефлектирующей в сербохорватском и древнерусском [32, вып. 3, с. 158]), *\*boguslavъ* (в виде производного *Богуславъ*, отражения производящего — в болгарском, сербохорватском, старочешском, польском, личные имена [32, вып. 2, с. 161]), *\*borislavъ* (*Бориславъ*, личное имя; также — в болгарском и старочешском, [32, вып. 2, с. 203]), *\*čedъ* (чадь, также — в старославянском и сербохорватском [32, вып. 4, с. 104]) и, возможно, иными (об упомянутых здесь именах собственных можно, впрочем, заметить, что они не обязательно отсутствуют на восточнославянской территории в поздние времена как продолжения исконного ономастического репертуара, а не заимствования из других славянских именников).

Вместе с соответствиями в других восточнославянских идиомах древненовгородский диалект имеет следующие корреспонденции только с южнославянскими языками (но не с западнославянскими): *\*bajanъ* (*Боанъ*: болг. *байн*, несклоняемое прилагательное, фолькл. — исключительно редкое, см. [35, т. I, с. 38]), *\*blědъ* (бладь), *\*bl'usti* (блусту), *\*čьrtnica* (в виде производного *чермичныи*, от названия ткани), *\*gostьba* (*гостьба*, *гозба*), *\*dorъ* ("земля, расчищенная под пашню"), *\*kakovъ(jь)* (каковъ), *\*kohnčati* (в префиксальном производном *доконьчати*, с *a*-тематизацией, в отличие от формы на *-iti*, продолжаемой и западнославянскими), *\*koževъnikъ* (кожевникъ).

Напротив, вместе с другими восточнославянскими отражениями древненовгородский имеет корреспонденциями только в западнославянских (но не в южнославянских языках) *\*běgt'i* (в префиксальном производном *побъчи*), *\*bьrtъ* (борть), *\*galqza/\*galqzъ* (Голуза или Голузь; с иным, однако, вокализмом корня, как в чешск. *holeska* "ветка", ср. укр. *гóлуз* "сук, ветвь", см. [32, вып. 6, с. 95—96]), *\*gor'eslavъ/\*gorislavъ* (в виде суффиксального производного *Гориславичъ*, отчество), *\*gostęta* (*Гостата*), *\*jьstьbьka* (*устебка*), *\*jьzvětati* (в чешском, древнерусском и русских диалектах отмечается только глагол на *-iti*, *a*-тематизация — только в новгородском?; существительное *\*jьzvěť* отмечается в южно- и восточнославянской группах, но не в западнославянских языках, см. [32, вып. 9, с. 94—95]), *\*korbьka* (коробка), *\*laditi (se)* (*ladimuca*), *\*legati (se)* II (в суффиксальном производном *Лагачь*, прозвище).

Наконец, случаи, когда лексические изоглоссные (праславянского происхождения) связи древненовгородского диалекта замыкаются только восточнославянским ареалом: *\*bersto* ср. р. (*бересто* "берестяная грамота"), *\*četvьrgъ* (*четвергъ*), *\*deževъ(jь)* (*дешевыи*), *\*domažirъ* (*Домажиръ*, личное имя, производные *Домажировъ*, *Домажировичъ*; к имеющимся в [32, вып. 5, с. 69] восточнославянским продолжениям *\*domažirъ*, вероятно, следует добавить белорусский топоним *Домжерицы/Домжарыцы* ([36, с. 105]:

"В основе названия древнерусское имя Доможир"), \*godъjъ (гожиш), \*gъlъkъ (глекъ), \*kolbъ/\*kolobъ (\*kolobъ?) (в виде производного колобъа "ком, пригоршня"), \*koporyje [Копорья ж.р., нынешнее Копорье в Санкт-Петербургской губ. (Ленинградской обл.)], \*korega/\*koreka (в виде суффиксального производного коракула "род железного инструмента", ср. карáкули, яросл. карáкуля "железные навозные вилы", см. [37, т. II, с. 192]), \*košъjъ (Коциш, прозвище), \*kriti/\*krъnqti "купить" (крити; форму \*krъnqti (Зализняк считает лексикографической фикцией, идущей от Срезневского, см. [1, с. 115; 2, с. 174]; к древнерусскому слову, имеющему далекие индоевропейские — индоарийские, греческие, кельтские, а в производных и балтийские — связи, но изолированному на собственно славянской почве, О.Н. Трубачев привлекает укр. диалектн. кринѹтис "а" "взяться, схватиться", блр. (да)кранѹцца "дотронуться" [32, вып. 13, с. 74—75], что, на наш взгляд, выглядит скорее гипотетичным, чем вполне доказанным), \*kъltъkъ (колткы "серьги"; производящее \*kъltъ отражено, по мнению О.Н. Трубачева [32, вып. 13, с. 152], в чешск. klut "выбоина на дороге"; производящий глагол \*kъltati известен польскому в значениях "резать, кромсать; молотить; крутить, мешать", "качаться" [там же, с. 190]).

Разумеется, выход за пределы алфавитного диапазона а—lo-, которым ограничено наше исследование, даст множество других лексических примеров, иллюстрирующих разнонаправленные связи древненовгородского диалекта, связи, которые восходят еще к праславянскому времени, по крайней мере к позднепраславянскому периоду. Например, А.А. Зализняк указывает др.-новг. рѹти "подвергать конфискации, секвестру", которому соответствует большое словообразовательное гнездо в словенском. Ни в каком другом славянском языке такого гнезда нет" [2, с. 170]; провадити с соответствиями в украинском и польском [2, с. 176]; безйотовую основу -вѣта- в глаголе извѣтати "заявить о правонарушении", имеющую корреспонденции в виде единичных реликтов в серб.-хорв. (черногор.) вијѣтати "обещать", словен. обѣтати "обещать" [2, с. 177]; тьгъдъ с прямым соответствием в др.-чешск. thed "тогда" [2, с. 189]; союз та "да, и" с параллелями прежде всего в украинском (впрочем, как отмечает А.А. Зализняк, южнорусские и украинские факты делают вероятным — но не более — предположение о южнорусском происхождении берестяной грамоты № 109) [2, с. 190]; личное имя Сторонька, возможно, гипокористическое от \*Сторониславъ с соответствием в др.-польском женском имени Stronistawa [2, с. 216]. Добавим еще личное имя Лудьславъ с параллелью в ст.-чешск. Ludislav, см. [32, вып. 16, с. 167]. Однако мы останемся в обозначенных алфавитных границах, не будучи уверенными в достаточной полноте наших представлений об ареальных свойствах слов вне указанного диапазона.

Без всякого сомнения, словник ЭССЯ, с которым мы сличаем древненовгородскую лексику, неполон и будет в дальнейшем расширяться за счет новых источников и вновь обнаруженных межславянских параллелей. По-видимому, и в обследованном фрагменте древненовгородского Словоуказателя можно найти лексику, которая не связывается с имеющимися в ЭССЯ праславянскими реконструкциями, но может претендовать на праславянскую древность. Мы относим к такой потенциально праславянской лексике \*bratilo (ср. др.-новг. братиловичь, отойконимическое наименование, ср. укр. диалектн. братило "брат" [38, т. 1, с. 246]), \*dѣdilo (др.-новг. Дѣдила, личное имя, ср. болг. Дедил, личное имя, 1491 г. [35, т. 1, с. 472]; далее укр. диалектн. дедильница "сныть" [38, т. 2, с. 86], блр. топоним Деділовичи/Дзядзілавичы [36, с. 95]), \*brateŕa (Братата, личное имя), \*budota, менее вероятное \*\*bqdota (Будота, личное имя; функционирование

корня как первого компонента ономастических сложений ср. в \**budimirь*, \**budislavь*, \**budigojь*, \**budimilь*), \**dětja* (*дѣтъя*, собирательное), \**domaslavь* (*Домаславь*, личное имя), \**gadьka* (кроме укр. *gádka*, относительно которого можно предполагать западнославянское влияние, ср. польск. *gadka*, чешск. *hádka*, — также др.-новг. *gadka* "предположение, ожидание, надежда"), \**gostiměрь* (ср. производное др.-новг. *Гостьмеричи*, топоним), \**kojь* [*Kou*, личное имя; возможно, к праслав. \**kojiti* "вскармливать (молоком матери)", "укрощать" и др., \**kojěta* — ст.-чешск. *Kojata*, ст.-польск. *Kojęta*, личные имена [32, вып. 10, с. 113]; не исключена, однако, связь с \**кужь*] и др. Но, не имея полной славянской картины распространения этих слов, мы сочли невозможным включать в статистическую обработку древненовгородского лексического материала лексику, отсутствующую в списке реконструкций ЭССЯ.

Лексикостатистическое сравнение древненовгородского диалекта по данным берестяных грамот с другими славянскими идиомами, сведения о праславянской лексике которых выверяются по показаниям ЭССЯ, может быть осуществлено по нескольким применяемым в лингвостатистике формулам. Мы приведем результаты статистического анализа по формулам

(1) генетической близости (предложена нами):

$$G(A, B) = \frac{\sum_{k=1}^n [(n+2-k) \cdot V(A, B)_k]}{H(A) \cdot H(B)},$$

где *A* и *B* — сравниваемые идиомы, *H* — объем праязыкового словаря данного идиома, *V* (*A*, *B*) — количество лексем, связывающих идиомы *A* и *B* в изоглоссах разных классов, *k* — класс изоглоссы (количество охватываемых изоглоссой родственных идиомов, от 2 до *n*),  $(n+2-k)$  — весовой коэффициент, где *n* — количество родственных идиомов, составляющих рассматриваемую семью (см. [29]); и стандартным статистическим формулам меры сходства объектов:

(2) коэффициента связи (ассоциации):

$$Q = \frac{ad - bc}{ad + bc},$$

где *a* — количество признаков (в нашем случае — праславянских лексем), общих обоим сравниваемым объектам (идиомам *A* и *B*), *b* — количество признаков, отмечаемых у одного данного объекта (*A*), но отсутствующих у другого (*B*), *c* — количество признаков, отмечаемых у объекта *B* и отсутствующих у объекта *A*, *d* — количество признаков, отсутствующих у обоих данных объектов;

(3) коэффициента сопряженности (контингенции):

$$\Phi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}}$$

(обозначения — те же, что и в предыдущем случае).

Оценка статистической близости между древненовгородским диалектом и другими славянскими идиомами на материале праславянской лексики, осуществленная по всем трем приведенным формулам, дает следующие результаты [в первых двух цифровых колонках сообщаются числа лексических корреспонденций в абсолютном выражении *V* (*A*, *B*) и их доля

Таблица I

A~B	V (A, B) %	G	Q	Ф
Др.-новг. ~ ст.-слав.	219 57,9	2,3725	0,8356	0,2855
болг.	295 78,0	1,2506	0,7938	0,1970
макед.	232 61,4	1,3338	0,7622	0,2056
серб.-хорв.	338 89,4	1,1258	0,8703	0,1896
словен.	292 79,2	1,1247	0,7686	0,1820
чешск.	326 86,2	1,1546	0,8401	0,1880
словац.	274 72,5	1,1536	0,7566	0,1906
в.-луж.	237 62,7	1,4156	0,6437	0,1830
н.-луж.	234 61,9	1,6438	0,7976	0,2451
полаб.	117 31,0	2,2124	0,8174	0,2448
польск.	309 81,7	1,2998	0,8287	0,2079
кашуб.-словин.	216 57,1	1,4477	0,7393	0,2079
др.-русск.	342 <sup>1</sup> 90,5	2,0534	0,9339	0,2844
сев.-в.-русск.	341 90,2	1,2402	0,8912	0,2064
ср.-русск. гов.	336 88,9	1,3179	0,8858	0,2146
юж.-в.-русск.	235 88,6	1,3217	0,8829	0,2136
укр.	339 89,7	1,3231	0,8924	0,2147
блр.	306 81,0	1,3485	0,8235	0,2077

<sup>1</sup> Древненовгородский диалект — составная древнерусского языка и, строго говоря, данные Словоуказателя (который мог стать источником ЭССЯ по причинам хронологического порядка только с 16-го выпуска) следовало автоматически влить в материалы, относящиеся к рубрике "др.-русск.", в качестве дополнений; тогда значения V и % в строке "др.-новг. ~ др.-русск" данной таблицы выглядели бы как 378 и 100 соответственно. Как следствие гораздо выше оказалось бы в этой строке и значение индекса генетической близости (по нашим прикидкам, оно возросло бы на 0,5—0,6 и превысило бы значение G для древненовгородского и старославянского, т.е. оказалось бы для рассматриваемого здесь диалекта максимальным). Коэффициент Q в таком случае приобрел бы значение "единица". Однако имея в виду проблему, о которой сказано выше, в настоящей работе мы предпочли возможность независимого рассмотрения древненовгородского диалекта в его связях с другими славянскими идиомами.

в процентах в объеме праславянского словника древненовгородского диалекта] (см. табл. 1).

Весьма низкие абсолютные числа лексических схождений древненовгородского диалекта с иными славянскими идиомами, резкое отличие общего объема доступных исследованию праславянских лексических фактов в новгородском от аналогичных характеристик других славянских языков дают заметно перекошенную картину его статистических связей. Происходит это не из-за несовершенства использованных формул, в частности индекса генетической близости (хотя мы чрезвычайно далеки от утверждений о его безупречности), а по иным причинам. Малый объем праязыкового наследия в реконструируемом словаре какого-либо языка предполагает большую в нем долю слов, характеризующихся широким распространением (в нашем случае — общеславянских), и меньшую — узколокальных (праславянских диалектизмов). Со старославянским языком северновеликорусское наречие связывается 20,8% своей праславянской лексики, древнерусский язык, объем праславянского словника *H* которого в полтора раза меньше, — 33,2%, у древненовгородского же, с его минимальным *H*, — 57,9%. С болгарским — соответственно 52,0%, 59,2% и 78,0; и т.д. Сам характер общей лексики не может не сказаться на статистических результатах. Языки с невысокими показателями праязыкового лексического наследия почти

неизбежно будут давать такие значения индекса родства между собою, которые интуитивно воспринимаются как завышенные.

Именно поэтому наибольшие величины  $G$  у древненовгородского обнаруживаются в его отношениях со старославянским и полабским языками, объемы праславянских словников которых — наименьшие в списке привлеченных к анализу славянских языков и наречий. Сходным образом в нашем случае ведет себя и формула коэффициента сопряженности  $F$ .

Несколько более правдоподобную картину для древненовгородского рисует коэффициент ассоциации  $Q$ , хотя и здесь просматривается эффект зависимости его величин от общего объема праславянских словников сравниваемых языков: за пределами восточнославянского круга наибольшие значения коэффициента дают связи древненовгородского с сербохорватским и чешским языками, т.е. идиомами с наибольшими значениями  $H$  (в этом отношении они уступают только русскому, рассматриваемому нерасчлененно, с интеграцией выделенных здесь наречий в целое).

Давая общую оценку полученных результатов, следует заметить, что уже само существенное расхождение итогов, добытых с помощью разных (но в случае  $F$  и  $Q$  довольно близких) методик статистического анализа (расхождение, обратим внимание, не в конкретных величинах показателей, а в их соотношениях между собою в пределах каждого индекса), указывает на очень невысокую степень надежности этой статистики.

Попытаемся, однако, улучшить наши результаты, вернее, извлечь из них более определенную информацию. Сравним поведение древненовгородского диалекта с поведением других выделяемых у нас восточнославянских идиомов в их лексикостатистических связях с нею восточнославянскими языками, просчитанных по одной и той же формуле. Мы имеем в виду индекс  $G$ . Исключив из дальнейших расчетов данные, касающиеся полабского и старославянского языков (первого — ввиду крайней ненадежности индекса родства с древненовгородским, вытекающей из неудовлетворительности статистики обоих этих идиомов, второго — принимая во внимание его отличный от остальных языков статус), вычислим среднюю величину  $\bar{G}$  для пар, в которые сопрягаются с древненовгородским диалектом нею восточнославянские языки. К этой полученной величине  $\bar{G}$  отнесем конкретные величины табл. 1, т.е. сделаем расчеты по формуле  $G(A, B)/\bar{G}(A, B)$ , где  $A$  — древненовгородский диалект,  $B$  — нею восточнославянские языки (с исключением, как было сказано, старославянского и полабского).

Одним из важнейших результатов нашего лексикостатистического обследования славянских языков является индекс генетической близости  $G$ , вычисленный для всех пар включенных в анализ идиомов. Эти данные, публикуемые в других работах, мы здесь не приводим из-за ограниченности печатного пространства. Мы воспользуемся ими в целях сравнения между собою квантитативных "спектров" внешних связей каждого из восточнославянских идиомов. Исходя из этих данных, сделаем пересчет с использованием средних индекса генетической близости для остальных восточнославянских идиомов так же, как это было сделано для древненовгородского диалекта.

Сведенные вместе, результаты пересчета выглядят следующим образом (см. табл. 2).

Из табл. 2 видно, что отношения древненовгородского диалекта с языками южнославянской и западнославянской групп несколько иные, чем у остальных восточнославянских идиомов. "Стандартный" [3, с. 94] древнерусский язык, северновеликорусское наречие и среднерусские говоры в своих внешних лексикостатистических связях отдают предпочтение южнославянским языкам; если к южнославянским присовокупить близкие к ним во многих отношениях чешский и словацкий языки, то этой группе перед

	Др.-новг.	Др.-русск.	Сев.-в.- русск.	Ср.-русск.	Юж.-в.- русск.	Укр.	Блр.
Болг.	0,966	1,056	1,049	1,042	1,014	0,980	0,945
Макед.	1,030	1,053	0,983	0,984	0,948	0,922	0,882
Серб.-хорв.	0,869	1,060	1,075	1,059	1,028	0,973	0,941
Словен.	0,868	1,045	1,051	1,033	0,999	1,000	0,946
Чешск.	0,892	0,976	1,020	1,017	1,023	1,041	1,014
Словац.	0,891	0,930	0,996	1,009	1,022	1,098	1,088
В.-луж.	1,093	0,901	0,921	0,908	0,943	0,959	0,994
Н.-луж.	1,269	0,944	0,900	0,900	0,929	0,921	0,967
Польск.	1,004	1,084	1,079	1,100	1,131	1,137	1,177
Кашуб.-словин.	1,118	0,950	0,926	0,949	0,963	0,968	1,047

лужицко-лехитской будут отдавать предпочтение и южнорусское наречие с украинским языком. Белорусский язык обнаруживает преимущество своих западнославянских связей перед южнославянскими. У древненовгородского диалекта наблюдается очевидное тяготение к западнославянской зоне, главным образом к серболужицкой и лехитской подгруппам, что напоминает восточнославянские ориентации белорусского языка.

Меру сходства в поведении восточнославянских идиомов в лексикостатистических связях с южно- и западнославянскими языками можно установить с помощью математической корреляции. Вычисление коэффициента корреляции по формуле

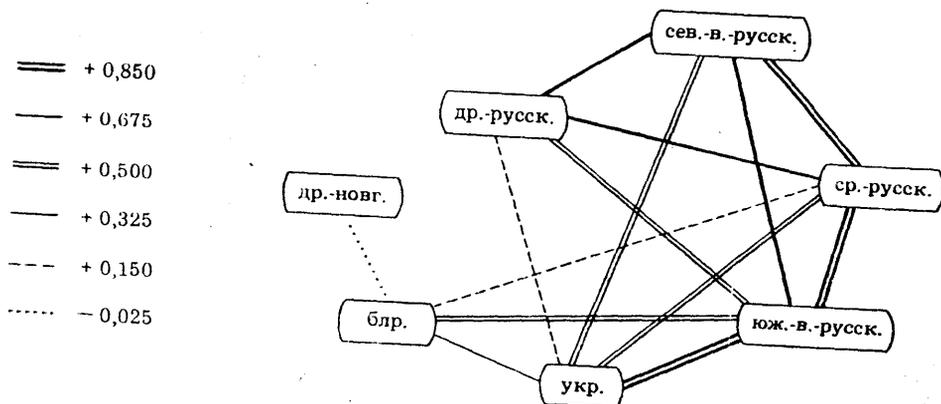
$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

между вертикалями табл. 2 приводит к следующим соотношениям.

Древненовгородский диалект со всеми остальными выделяемыми здесь восточнославянскими идиомами дает отрицательную корреляцию (наименьшее отрицательное значение коэффициента,  $r = -0,011$ , — с белорусским языком, наибольшее,  $r = -0,808$ , — с северновеликорусским наречием). Все же остальные идиомы коррелируют между собою положительно (за исключением пар "древнерусский ~ белорусский" и "северновеликорусский ~ белорусский"; обе пары — с весьма низким коэффициентом отрицательной корреляции:  $r = -0,134$  и  $r = -0,125$  соответственно). Наиболее сильная положительная корреляция внешних связей наблюдается между северновеликорусским наречием и среднерусскими говорами ( $r = +0,975$ ), наименее сильная ( $r = +0,290$ ) — между среднерусскими говорами и белорусским языком.

Сходства между восточнославянскими идиомами в распределении их индивидуальных лексикостатистических тяготений к языкам южнославянской и западнославянской групп могут быть изображены схематически (см. схему).

Схема изображает восточнославянскую языковую группу довольно компактным единством, лишь древненовгородский диалект выглядит на ней инородным телом (обозначенная на схеме корреляция его с белорусским языком, так же как и с другими восточнославянскими идиомами, является отрицательной, но только наименьшей по модулю численного выражения). Конечно, обособленность древненовгородского диалекта здесь сильно заострена принятием во внимание лишь внешних статистических ориентаций, но это и было целью описанной процедуры.



Последнее обстоятельство — обращение здесь лишь к внешнеславянским лексикостатистическим связям — является, по-видимому, главной причиной поразительного, на первый взгляд, факта: крайне низкой (точнее говоря, чрезвычайно высокой отрицательной) корреляции между показателями внешних тяготений для древненовгородского диалекта и северновеликорусского наречия, сложившегося на его основе. Принятие в расчет собственных лексикостатистических связей между указанными идиомами (по коэффициенту ассоциации,  $Q$ , они являются значительными), разумеется, сильно умалило бы парадоксальность этой картины. Кроме того, древний новгородский диалект — это хотя и важнейшая, но не единственная база, на которой формировалось северновеликорусское наречие.

Допустимо думать, что различия между "стандартным" древнерусским языком и его потомками, с одной стороны, и древненовгородским диалектом, с другой, выявленные корреляционным анализом данных о внешних статистических "предпочтениях", отражают негетогенность восточнославянской языковой группы. Просматривающиеся связи древненовгородского диалекта с языками других славянских групп, прежде всего с западной, могут трактоваться как свидетельство особой архаичности севернокривичских говоров, легших в его основу. Для суждений же о западнославянском генезисе древненовгородского диалекта, высказывавшихся Д.К. Зелениным и другими исследователями, ввиду заметного количества лексических переключек с южнославянскими языками (см. выше), серьезных оснований, на наш взгляд, не имеется. Оценивая точку зрения Д.К. Зеленина на "ляшские" особенности северо-западных русских диалектов, Н.И. Толстой и С.М. Толстая справедливо отмечают: «Возможно, что некоторые языковые черты на восточнославянской территории, воспринимавшиеся как западнославянские ("ляшские"), являются просто общеславянскими архаизмами» [24, с. 82]. Новгородская земля, как известно, наряду с Полесьем, Псковщиной, русским Севером и др., включается в число архаических зон славянского языкового мира (см. [23, с. 55]).

С утверждениями об архаичности древненовгородских языковых фактов в общеславянском контексте, как нам кажется, не вступают в противоречие соображения, касающиеся балтийской ретроспективы (см. из последних работ [30]) представляющие собою еще один важный аспект древненовгородской проблемы.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зализняк А.А. Наблюдения над берестяными грамотами // Вопросы русского языкознания. Вып. V: История русского языка в древнейший период. М., 1984.
2. Зализняк А.А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986.
3. Зализняк А.А. Значение новгородских берестяных грамот для истории русского и других славянских языков // Вестник АН СССР. 1988. № 8.
4. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Докл. советской делегации. М., 1954. Вып. 6.
5. Трубецкой Н.С. О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства // Трубецкой Н.С. Избр. тр. по филологии. М., 1987. С. 166—167.
6. Зеленин Д.К. О происхождении северновеликорусов Великого Новгорода // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. 1954. Вып. 6.
7. Шахматов А.А. Южные поселения вятичей // Изв. Академии наук. 1907. № 16.
8. Шахматов А.А. Древние лядские поселения в России // Славянство. 1911. № 4/6.
9. Шахматов А.А. К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры // РФВ. 1913. Т. 69. № 1.
10. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
11. Расторгуев П.А. К вопросу о лядских чертах в белорусской фонетике // Тр. постоянной комиссии по диалектологии русского языка. Вып. IX. Л., 1927.
12. Петровский Н.М. О новгородских "словенах" // ИОРЯС. Т. XXV (1920). Пг., 1922. С. 370 и сл.
13. Васильев Л.Л. О случае сохранения общеславянской группы *-dl-* в одном из старых наречий русского языка // РФВ. 1907. № 4.
14. Дурново Н.Н. Несколько замечаний по вопросу об образовании русских языков // ИРЯС АН СССР. Т. II (1929). Кн. 2.
15. Ларин Б.А. Историческая диалектология русского языка в курсе лекций акад. А.А. Шахматова и наши задачи // Уч. зап. ЛГУ. 1960. № 267 (Сер. филол. наук. Вып. 52).
16. Бернштейн С.Б. Сравнительная грамматика славянских языков. М., 1961.
17. Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963.
18. Мжельская О.С. О лексических связях псковских говоров с западными славянскими языками (слово *скор уна*) // Вестник ЛГУ. 1963. № 14. Вып. 3.
19. Роспонд С. Структура и классификация древневосточнославянских антропонимов (Имена) // ВЯ. 1965. № 3.
20. Мокиенко В.М. Об одной псковско-западнотранславянской изоглоссе (*багно*) // Вопросы теории и истории языка: Сб. статей памяти проф. Б.А. Ларина. Л., 1969.
21. Мокиенко В.М. Ареальный анализ местной географической терминологии и его интерпретация // Советское славяноведение. 1969. № 5.
22. Lunt H.G. On the language of old Rus': some questions and suggestions // RLing. 1975. № 3/4.
23. Толстой Н.И. О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
24. Толстой Н.И., Толстая С.М. Д.К. Зеленин-диалектолог // Проблемы славянской этнографии (К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина). Л., 1979.
25. Хабургаев Г.А. Этнонимия "Повести временных лет" в связи с задачами реконструкции восточнославянского этногенеза. М., 1979.
26. Хабургаев Г.А. Становление русского языка: Пособие по исторической грамматике. М., 1980.
27. Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови: Історико-фонетичний нарис. Київ, 1988.
28. Зализняк А.А. Словоуказатель к берестяным грамотам // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986.
29. Журавлев А.Ф. Лексикостатистическая оценка генетической близости славянских языков // ВЯ. 1988. № 4.
30. Журавлев А.Ф. Поморский ("протокашубскославянский") в кругу позднепраславянских диалектов (по данным лексикостатистики) // Поморські слов'яни: Тези конф. до 120-річчя з дня народження М.В. Бречкевича. Тернопіль, 1990.
31. Журавлев А.Ф. Из квантитативнотипологических наблюдений над лексикой славянских языков (Праславянское наследие) // ВЯ. 1992. № 3.
32. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. I—17. М., 1972—1990.

33. Куза А.В., Мединцева А.А. Заметки о берестяных грамотах // Нумизматика и эпиграфика. Т. XI. М., 1974. С. 222—223.
34. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—26. М.; Л., 1965—1991.
35. Български етимологичен речник. Т. 1—3. София, 1971—1986.
36. Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.
37. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.
38. Етимологічний словник української мови. Т. 1—3. Київ. 1982—1989.
39. Топоров В.Н. О кривичском элементе и кривичской ретроспективе // Славистика. Индо-европеистика. Ностратика: К 60-летию со дня рождения В.А. Дыбо: Тез. докл. М., 1991.

© 1993 г. КАЛЕНЧУК М.Л., КАСАТКИНА Р.Ф.

**ПОБОЧНОЕ УДАРЕНИЕ И РИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
РУССКОГО СЛОВА НА СЛОВЕСНОМ И ФРАЗОВОМ УРОВНЯХ**

Принято считать, что в некоторых сложных и сложносокращенных словах, а также в фонетических словах, в состав которых входят определенные префиксы, может быть больше одного ударения, при этом последнее ударение в слове обычно называют сильным, а остальные более слабыми, второстепенными, побочными.

Феномен побочного ударения в русском языке признается сложным и малоизученным, хотя к его исследованию обращались многие лингвисты. Назывались различные факторы, обуславливающие наличие или отсутствие дополнительного акцента в конкретных словах: ритмическая и словообразовательная структура слова, особенности семантики его первой основы и принадлежность ее к той или иной акцентной парадигме, тип синтаксической связи между компонентами сложного слова, степень освоенности и употребительности слова, его терминологический или общенародный характер [1—17].

Побочное ударение фиксируется в некоторых словарях, например в [18; 19; 20], тем самым оно приписывается характеристике слова, т.е. рассматривается как принадлежность лексического уровня. Нередко отмечается непоследовательность в рекомендациях относительно наличия побочного ударения в том или ином слове. Почему, например, согласно [19], в словах *малолюдный*, *фотокарточка*, *внеурочный* помета побочного ударения отсутствует, а слова той же морфологической и ритмической структуры — *малопытный*, *фотоплёнка*, *внеслужебный* — маркируются побочным ударением? Почему в слове *старопечатный* два ударения, а в слове *старорежимный* одно? Можно было бы задать еще много подобных вопросов. При этом чутье носителя языка подсказывает, что каждое из перечисленных слов может быть произнесено как с побочным ударением, так и без него. Представляется, что многие противоречия могут быть сняты, если принять во внимание существование и разграничение двух уровней речевой просодии, а именно просодии словесной и фразовой.

Для уровня словесной просодии в русском языке характерна определенная ритмическая организация слова, наличие тесных межслоговых связей [21], четко выраженных границ и существование единого акцентного центра, определяющего схему редукции гласных. Фонетическое слово как бы объединяется центростремительной силой. Идея о наличии в определенных словах более чем одного акцентного центра не согласуется с таким пониманием словесной просодии.

Иные закономерности действуют во фразе. Границы между словами здесь обычно размыты, сфера действия пограничных сигналов весьма невелика, межслоговая ассимиляция может охватывать сразу несколько слов, в пределах одного слова возможно появление повторяющихся и расчлененных акцентов [22, с. 20]. Попадая в определенные фазовые условия, слова могут получать не одну, а две или три зоны усиления, в которых кроме основного появляется и побочное ударение. При этом в некоторых словах ударение во фразе может и вовсе отсутствовать.

Можно сказать, что если в изолированном, произнесенном отдельно слове действуют центростремительные силы, то в слове в составе фразы — центробежные.

Однако даже изолированно произнесенное слово всегда подчиняется фразовой просодии — коль скоро слово произнесено, его реализация представляет собой совокупность звуковых сегментов, оформленных просодическими средствами (мелодикой, длительностью, интенсивностью), конфигурация которых диктуется коммуникативной и прагматической установкой говорящего. Поэтому изолированное слово, свободное от влияния фразовой просодии, есть своего рода конструкт. Это положение можно проиллюстрировать несколькими односложными фразами. В подобных случаях по условиям фразовой интонации в слове может появляться побочное ударение. Это возможно при эмфазе и контрастивном ударении. Так, например, слово *горсад* может быть реализовано разными способами в интонационном и акцентном отношениях. Ср. следующий диалог, где *Горсад* — название остановки автобуса: [o]pса́д. [o]pса́д? [ò]pса́д!

В первых двух фразах, утвердительной и вопросительной, слово *горсад* реализовано без побочного ударения, в третьей — с эмфазой и побочным ударением. Но даже и такая реализация представляется не единственно возможной, так как возможна эмфаза и без побочного ударения: [o]pса́д. [ò]pса́д? [ò]pса́д!

Из приведенных примеров видно, что инвариантным во всех реализациях слова *горсад* является отсутствие качественной редукции безударного гласного, а наличие дополнительного ударения факультативно.

Таким образом, побочное ударение — не лексическая примета. Оно реализуется в условиях фразы, а в изолированном слове с равной вероятностью может присутствовать либо отсутствовать. В слове его появление факультативно, а во фразе возникновение побочного ударения регулируется правилами ее ритмической организации, семантики и прагматики.

При обсуждении вопроса о закономерностях появления побочного ударения в определенных группах слов обычно рассматривают две возможности: в слове либо имеется побочное ударение (*водо́непроница́емый*), либо оно отсутствует (*водопа́д*). В последнем случае безударные гласные подвергаются качественной и количественной редукции обычной степени. Однако может существовать и третья возможность — когда в слове нет побочного ударения, но и качественная редукция гласных отсутствует.

Очевидно, что отсутствие однозначной трактовки одних и тех же языковых фактов связано с различным пониманием физической природы побочного ударения в русском языке. Считается, что русское словесное ударение — комбинированное, т.е. ударный слог выделяется на фоне безударных с помощью различных фонетических средств, среди которых обычно называют силу звуков, их большую длительность, тон и особый тембр входящих в ударный слог звуков.

При определении акустических свойств побочного ударения многие исследователи на первое место выводят качество гласных [1, 3, 9]. Отсутствие качественной редукции безударного гласного считается признаком, указывающим на наличие побочного ударения: "Наличие или отсутствие редукции гласных является важным критерием при установлении факта второстепенного ударения" [9, с. 21]. Р.И. Аванесов, говоря о наличии побочного ударения в конкретных словах, часто аргументирует это особым качеством гласного, например: "Сложные прилагательные, имеющие в первой части *трёх-* или *четырёх-*, произносятся с двумя ударениями... Наличие в этих случаях побочного ударения очевидно уже из соотношения гласного [o] после мягкого согласного...". "... В сложениях с *восьми-*, которые также обычно не имеют побочного ударения, наличие или

отсутствие последнего более заметно: об этом можно судить по качеству гласного первого слога" [2, с. 113—114].

Для Р.И. Аванесова очевидной была невозможность произношения качественно нередуцированных гласных в безударном слоге. Но столь же очевидно, что этот запрет относится только к словам русского происхождения. В заимствованных словах, как явствует из материалов словарей [18; 19], произношение качественно нередуцированных безударных гласных вполне допустимо (*фл[о]рдора́нж, б[о]́а, б[э]́льта́ж, ц[э]́це́, ч[а]́йха́на, ж[а]́люзи́*). В словах русского происхождения качественно нередуцированные гласные в лексикографических рекомендациях непременно сопровождаются знаком побочного ударения (*с[ò]сба́нк, тр[ò]хла́тка, ц[э́]итросою́з, с[э́]льсо-е́т, м[à]лонаде́жный, П[а́]жма́ш* и др.).

Однако в некоторых работах отмечалось, что в отдельных случаях и при отсутствии побочного ударения безударные гласные в русских словах могут произноситься без качественной редукции. Например, Д.И. Алексеев пишет: "Утрата побочного ударения не приводит к немедленному появлению аканья: *к[о]мпа́ртия, с[о]вна́рхо́з*" [6, с. 252]. В исследовании Г.Н. Курохтиной содержится еще несколько подобных примеров: *полп্রে́д, Геншта́б, Москви́га, госплáн, помре́ж, комко́р* [12]. Л.П. Калакуцкая ставит под сомнение возможность произнесения в русском языке двух рядом стоящих слогов с ударением: "Логичнее было бы в подобных словах показывать отсутствие редукции: *госба́нк [о], спецку́рс [е], спецшко́ла [е]* и т.д." [23].

В работе М.Я. Гловинской, Н.Е. Ильиной, С.М. Кузьминой и М.В. Панова [24] отмечается возможность произношения нередуцированного гласного без побочного ударения в первой основе сложных и сложносокращенных слов типа *профбилéт, союзпечáть, телепередáча, электростáнция, лесозаготóвки*. Здесь "ударность ... может и отсутствовать, а редукции безударных гласных все же нет [24, с. 30]. Это свойство авторы связывают с особым морфологическим статусом первых основ подобных слов: по мысли А.А. Реформатского и М.В. Панова, это не сложные слова, а аналитические конструкции, состоящие из прилагательного и существительного (см. [25; 26, с. 291—292; 27; 28]).

Итак, одни авторы ставят знак равенства между отсутствием качественной редукции в безударных слогах и наличием побочного ударения. Подчеркнем еще раз, что при этом для заимствованных слов делается исключение: в них может отсутствовать редукция безударных гласных и без побочного ударения. Заметим, однако, что при этом в парах слов типа *[бо]ле́ро* и *[бо]рмаши́на, [вэ́]льбо́т* и *[вэ́]тпункт* гласные в безударных слогах не различаются между собой по физическим характеристикам: длительности, интенсивности, тембру. Другие авторы допускают существование отдельных категорий слов, в которых побочное ударение отсутствует, но гласные полного образования выступают и в безударных слогах.

Мы предлагаем сделать следующий шаг, который, как представляется, подготовлен логикой предшествующего изложения: побочное ударение и редукционная схема поведения гласных в безударных слогах — это явления, относящиеся к разным просодическим уровням. Отсутствие или наличие редукции гласных соотносимо с уровнем словесной просодии, появление же побочного ударения — с уровнем просодии фразы.

Предлагаемая интерпретация побочного ударения позволяет избавиться от некоторых противоречий, связанных с этой проблемой.

Во-первых, принимая изложенную точку зрения на статус побочного ударения, придется признать, что закономерности изменения гласных в безударных слогах, описываемые формулой Потемни и законами качественной редукции, действуют только в исконно русских бесприставочных словах небольшой длины с одной основой (будем в дальнейшем называть

такие слова словами элементарной структуры). В тех же словах, которым обычно приписывается наличие побочного ударения — сложные и сложно-сокращенные слова, а также слова с отдельными приставками (будем такие слова условно называть словами сложной структуры) — реализация безударных гласных может описываться и иными правилами. Формулирование этих правил требует дальнейших тщательных исследований, в настоящей же статье представляется возможным привлечь внимание лишь к некоторым аспектам рассматриваемой проблемы.

Сказанное выше позволяет предположить, что слова сложной структуры образуют особую произносительную подсистему, подобную в области вокализма подсистеме заимствованных слов. В обеих этих подсистемах возможно произношение безударных качественно нередуцированных гласных. В предударных слогах могут различаться все гласные фонемы: в положении после мягкого — <э> (с[ʲ]э́льма́г, с[ʲ]э́квэ́стр), <а> (ч[ʲ]а́долбо́бие, ч[ʲ]а́йха́на), <о> (тр[ʲ]о́хсерийный, ф.д[ʲ]о́рдора́нж), <и> (т[ʲ]и́хостру́йный, т[ʲ]и́пиза́ция), <у> (д[ʲ]у́бвеобильный, д[ʲ]у́минесце́нтный); после твердого — <э> (ц[э]́льнокро́енный, ан[э]́стези́я), <а> (п[а]́росбо́рник, п[а]́рвеню́), <о> (б[о]́ртмеха́ник, б[о]́леро́), <и> (маш[ы]́ностро́ение, ш[ы]́зофре́ния), <у> (тр[у]́бопрово́д, р[у]́димента́рный).

Во-вторых, снимается неопределенность в решении вопроса о том, присуще ли тому или иному конкретному слову побочное ударение на лексическом уровне. Факультативность в постановке побочного ударения переносится на другой уровень — на уровень фразы, где эта факультативность на поверку оказывается мнимой, что будет показано ниже.

Появление качественно нередуцированных безударных гласных происходит только в определенных случаях, а именно в тех морфемах, которые как бы стремятся подчеркнуть фонетическими средствами свою грамматическую отдельность — в приставках и частях сложных слов. Это связано с тенденцией современного русского языка к усилению аналитизма на уровне морфологии и агглютинативности на уровне словообразовательной морфемике. Приставки и компоненты сложных слов лексически гораздо более самостоятельны, чем другие части слова; стык приставки с корнем, а также стык между двумя основами сложного слова — основные агглютинативные стыки русского языка. А.А. Реформатский пишет: "Слово, построенное по принципу агглютинации, похоже на длинный поезд, где корень — паровоз, а цепь аффиксов — вагоны, просветы между которыми всегда отчетливо видны" [26, с. 274]. Поэтому агглютинативные морфемные стыки как бы "прерывают" действие редуцирующих закономерностей, характерных для фузионного устройства русского слова, что позволяет легче ощутить "просветы" между морфемами. Явная агглютинативность указанных морфемных швов готовит почву для превращения единого слова в аналитическую конструкцию. Разные морфемы способны проявлять свое "стремление к суверенитету" с разной силой, что позволяет выстроить иерархию морфем по их способности подчеркивать свою самостоятельность отсутствием редукции безударного гласного.

При этом в описываемых группах слов редуцированная модель фактически распадается на два отдельных редуцированных контура, каждый из которых либо подчиняется правилам произношения гласных в словах элементарной структуры, либо эти правила могут в нем нарушаться. В первом случае в слове имеются два центра, но эти центры разные: одним из них является ударный гласный, а другим — качественно нередуцированный безударный гласный, вокруг них группируются в определенном порядке редуцированные гласные. Соотношение гласных в каждом из этих контуров подчиняется законам, действующим в словах элементарной структуры. Но подобная ритмическая организация в словах рассматриваемой группы

не обязательна: в приставках и первых основах некоторых сложных слов возможно произношение без ударения и качественной редукции более, чем одного гласного ([п'эр'э]воспитать, н[рото]исторический, [з'э]м-л'э]проходцы, с[тал'э]бетон). Подобные соотношения безударных гласных в принципе невозможны в словах элементарной структуры.

Не испытывая качественной редукции и при этом оставаясь безударными, первые компоненты слов сложной структуры в условиях фразы ведут себя подобно безударным, но нередуцируемым предлогам, местоимениям, союзам и частицам, например, вд[о]ль улицы, м[о]й брат, н[о] я, в[о]т так — как н[о]мред; н[а]ш сад, к[а]к ты, т[а]к надо — как з[а]нчасть; с[в'э]рх заданияя, [т'э] дома, в[с'э] задачи — как т[э]хзадание (о безударности и качественной нередуцированности гласных в подобных словах см. например, [29, 30]).

Л.Л. Касаткин предложил разделять клитики на абсолютные и относительные [31]. Безударные слова, не испытывающие качественной редукции и находящиеся в препозиции по отношению к ударному слову, являются относительными проклитиками: "Относительные проклитики, не имея своего ударения и примыкая к ударному слову, не полностью утрачивают некоторые фонетические признаки самостоятельного слова... Например, безударный союз *но* сохраняет в произношении звук [о]: *мороз, но солнце* [носонць]... У некоторых безударных местоимений произносятся гласные, нехарактерные для безударных слогов: *те леса* [т'э-л'иса]...". Первые компоненты слов сложной структуры ведут себя в условиях фразы подобно относительным проклитикам, которые, будучи безударными на уровне слова, могут получать ударение во фразе (на материале местоимений это было показано в [30]), например: *Вам нужно пройти к тем домам. Необходимо сегодня решить все задачи.*

Статус относительной проклитики более всего отвечает сущности первого компонента слов сложной структуры. Это позволяет объединить первые компоненты слов сложной структуры и относительные проклитики с точки зрения вокализма в одну произносительную подсистему.

Каковы же условия появления побочного ударения в рассматриваемых словах в условиях фразы? Не ставя перед собой задачи полного описания всех случаев дополнительной акцентуации в анализируемых группах слов, отметим лишь некоторые факторы, вызывающие эффект побочного ударения:

1) **Количество слогов между основным ударением и слогом с качественно нередуцированным гласным.** Существует оптимальное расстояние между двумя ударениями во фразе [30; 32]. Дистанция в 3—4 слога между первым компонентом слов сложной структуры и местом основного ударения может вызывать появление дополнительного акцента, например: *высokoпроизводительный, электропередача, проиллюстрировать*. В этом отношении первые компоненты слов сложной структуры полностью уподобляются относительным проклитикам: чем большее количество слогов отделяет их от места основного ударения, тем больше вероятность их акцентирования. Как показывают наблюдения, в словосочетаниях *мой брат, мой сосед, мой одноклассник, мой односельчанин* по мере удлинения слоговой цепочки и удаления от места основного ударения вероятность появления побочного ударения на местоимениях возрастает. Так же в акцентном отношении организованы и слова сложной структуры: например, слова *техред, техзадание, техаппаратура, техподразделение* обладают разной способностью к получению дополнительного ударения.

2) **Связь с актуальным членением.** В словах сложной структуры побочное ударение имеет тенденцию появляться в составе рематической группы, появление же его в составе тематической группы менее вероятно. Например: *И отравили этого мальчика в детдом. Этот детдом нахо-*

дился где-то в пригороде; Очень скоро его назначили главредом. Главредом он был неважным, но хорошо ориентировался в обстановке.

3) **Позиция акцентного выделения.** Относительные проклитики и первые компоненты в составе слов неэлементарной структуры могут, подобно полнозначным словам, получать акцентное выделение (об акцентном выделении в русском языке, т.е. выделении семантически важного в высказывании слова, см. [33]).

Акцентное выделение может быть **эмфатическим**, например: *Будут повышены цены на электроэнергию; Таких провалов в политике даже за рубежами нашей страны немало; Он провел свою первую пресс-конференцию* (примеры из телепередач).

Эмфатическое усиление, используемое как риторический прием, может маркировать первую основу сложных и сложносокращенных слов вопреки словарным рекомендациям: *От вас зависит благосостояние общества; Следующая станция Белорусская; У мотоциклистов первым был Стетсон; Первоначальные цены будут завышенными; В конце восьмидесятых годов обнаружилась новая тенденция.*

Но появление побочного ударения не является специфическим свойством слов сложной структуры: дополнительное акцентирование, связанное с эмфатическим выделением, может появляться также и в словах элементарной структуры, например, в случаях типа *великолепно, замечательно, потрясающе*; акцентироваться может и редуцированный гласный и нередуцированный: [в'й<sup>2</sup>]ликоле́пно и в[<sup>2</sup>э]ликоле́пно, [з<sup>2</sup>ь]меча́тельно, [п<sup>2</sup>ь]тряса́юще и т.п. [22, с. 20]. При этом и в тех, и в других группах слов прослеживается явная тенденция к усилению первого слога. Это наблюдается в узусе даже в тех сложных словах, где в первой основе ударение должно быть на другом слоге, например: *Это были в[<sup>2</sup>ы]сококультурные люди; Здесь протянулись линии [э]лектропереда́ч; Не поставляют ж[э]лезобетон; Покупайте книгу по с[а]баководству; Там построили м[э]локозавод; Это можно рассматривать как проявление вн[у]тривидовой борьбы.* Подобные примеры на материале разговорной речи приводит Н.Н. Розанова [34]. Аналогичные наблюдения над публичной речью см. [17, с. 86—91].

Акцентное выделение может быть **контрастивным**, и тогда акцентно выделенная первая часть слова или относительная проклитика получает не побочное, а главное ударение. Например: *Это не педфа́к, а литфа́к. Это не диетстоло́вая, а какая-то забегаловка. Это не до́реформенные, а послерефо́рменные тенденции. Нельзя недооце́нивать эти движения, но нельзя их и переоце́нивать; Это лекарство нужно принимать не до́ еды, а после. Это не тво́й но́дж, а мой.*

Акцентное выделение первого компонента или относительной проклитики может быть **сопоставительным**: *Как на литфа́ке, так и на педфа́ке читается курс современного русского языка. И главре́д, и помре́ды отсутствовали на собрании. Не столько сознанием, сколько под-сознанием он отметил перемену в настроении собеседника; Он с блеском проводил как внеауди́торные, так и классные занятия; Кучи мусора валялись как пе́ред до́мом, так и позади него́.* Сопоставленное акцентное выделение может функционировать и как побочное, и как главное ударение в слове.

Контрастивные и сопоставительные смысловые отношения во фразе могут подразумеваться, не будучи выраженными эксплицитно, наличие же скрытого противопоставления в таких случаях подчеркивается дополнительными акцентированием. Например: *Ты привел ему свои контраргументы? Неужто и дообеденный сон тоже полезен? Я не сторо́нник лечебного голодания. Это его́ заслу́га.*

Можно услышать и такие необычные случаи сопоставительного акцентно-

го выделения: *Передаем программу теле- и радиопередач. Как в Таджикистане, так и в Узбекистане имеются очень сильные мусульманские традиции* (примеры из радиопередач). Необходимо отметить, что в заимствованных словах, имеющих явно вычленимые для носителя русского языка основы, наблюдаются те же закономерности дополнительного акцентирования в условиях фразы, что и в исконно русских словах: *Это были не вестготы, а остготы; Это не готика, а псевдоготика.*

Какими же фонетическими средствами создается эффект побочного ударения? Нам представляется некорректной сама постановка вопроса об особой акустической природе второстепенного ударения по сравнению с главным. Полагаем, что побочное ударение, как и вообще ударение в русском языке — это выделенность физическими средствами одного слога на фоне других, безударных слогов. Эти физические средства — длительность, интенсивность, тон.

Если первые два параметра (длительность и интенсивность) давно уже считаются, по выражению Т.М. Николаевой, "строительным материалом" для формирования ударного слога [35], то третий параметр — тон — начинает рассматриваться в качестве существенного для русского ударения только в семидесятые годы [35—37]. По наблюдениям Т.М. Николаевой, ударение может маркироваться одним из этих параметров, а также сочетанием двух из них или всех трех в зависимости от фразовой позиции того или иного слова [35]. Это справедливо и по отношению к побочному ударению.

Для иллюстрации положения о том, что все три параметра участвуют в формировании побочного ударения, были получены акустические характеристики двух слов, произнесенных попарно без побочного ударения и с ним: *тèхрéd и тèхрéd, гóртóрг и гóртóрг* (качественная редукция первого гласного отсутствовала во всех случаях). Физические характеристики этих слов были получены с помощью пакета программ Cecil на персональном компьютере. Погарное сопоставление слов с побочным ударением и без него показывает, что в оформлении побочного ударения участвуют все три параметра: при дополнительном акцентировании возрастает интенсивность первого гласного, увеличивается его длительность и меняются тоновые характеристики.

Те же характеристики были проверены для словосочетания *мой дом*, произнесенного с одним ударением (*мой дóм*) и с двумя (*мóй дóм*). Полученные акустические параметры свидетельствуют о том, что интенсивность при ударении на слове *мой* возрастает (и даже превышает интенсивность гласного под основным ударением), увеличивается длительность первого гласного; движение тона, хотя и сохраняет свой характер (восходяще — нисходяще — ровный), однако становится более ярким (возрастает диапазон и крутизна подъема основного тона).

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы:

1. Первые компоненты некоторых сложных и сложносокращенных слов, отдельные приставки как русского, так и иноязычного происхождения, относительные проклитики (предлоги, союзы, местоимения, частицы) с точки зрения поведения в них гласных объединяются в одну произносительную подсистему, подобную подсистеме заимствованных слов: в этих словах в безударном положении могут произноситься качественно нередуцированные гласные.

2. Слова сложной структуры так же, как и относительные проклитики, находясь в определенных условиях во фразе, могут факультативно получать дополнительный акцент. На словесном же уровне второстепенное ударение — фантом, погоня за которым бессмысленна; действие дополнительного акцента проявляется только на уровне фразовой просодии, где и следует продолжить исследование закономерностей его появления.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Златоустова Л.В.* Фонетическая природа русского словесного ударения. Л., 1953.
2. *Аванесов Р.И.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
3. *Аванесов Р.И.* Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.
4. *Гребнев А.А.* Фонетическое и морфологическое оформление аббревиатур в русском языке // *Bull. vysoké školy českého jazyka a literatury v Praze.* 1959. S. 5.
5. *Алексеев Д.И.* Произношение сложносокращенных слов и буквенных аббревиатур // *Вопросы культуры речи.* Вып. 4. М., 1968.
6. *Алексеев Д.И.* Сокращенные слова в русском языке. Саратов, 1979.
7. *Алексеев Д.И.* Слово или словосочетание? // *Вопросы русского языкознания,* Вып. 2. Куйбышев, 1979.
8. *Оссовски Л.* Современное русское побочное ударение в свете словесного ударения // *Studia rossica posnaniensia.* 1970. № 1.
9. *Логонова И.М.* Акустическая природа второстепенного русского словесного ударения. М., 1977.
10. *Русская грамматика.* Т. 1. М., 1980.
11. *Кузнецова Л.Н.* Некоторые наблюдения над ударением в сложных словах на материале терминологии // *Терминология и культура речи.* М., 1981.
12. *Курохтина Г.Н.* Причины появления или отсутствия побочного ударения в сложносокращенных словах. М., 1983. Деп. в ИНИОН АН СССР 12.10.83. ФН 35804.
13. *Курохтина Г.Н.* Закономерности расстановки ударения в инициальных аббревиатурах и сложносокращенных словах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.
14. *Наконечная О.Н.* Дополнительные акцентные центры в сложных словах с составляющими русского происхождения. Киев, 1987. Деп. в ИНИОН АН СССР 10.04.87, ФН 49117.
15. *Наконечная О.Н.* Дополнительные акценты в ритмических структурах многосложных слов русского языка: Автореферат дис. ... канд. филол. наук, Киев, 1990.
16. *Иссерс О.С.* Ударение в префиксальных и сложных прилагательных в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
17. *Борунова С.Н.* Реализация побочного ударения в разных типах речи // *Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект.* М., 1991.
18. *Русское литературное произношение и ударение: Словарь-справочник* / Под ред. Аванесова Р.И. и Ожегова С.И. М., 1959.
19. *Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы.* / Под ред. Аванесова Р.И. М., 1-е изд. М., 1983; 5-е исправл. изд. М., 1989.
20. *Зализняк А.А.* Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1980.
21. *Пауфощица Р.Ф.* Активные процессы в современном русском литературном языке (ассимилятивные изменения безударных гласных) // *ИАН СЛЯ.* 1980. № 1.
22. *Кодзасов С.В.* Проект просодической транскрипции для русского языка // *Бюлл. фонетического фонда русского языка.* 1989, № 2. С. 20.
23. *Калакуцкая Л.П.* Размышления о русской лексикографии (в связи с выходом в свет Русско-японского словаря) // *ВЯ.* 1991. № 1. С. 111.
24. *Гловинская М.Я., Ильина Н.Е., Кузьмина С.М., Панов М.В.* О грамматических факторах развития фонетической системы современного русского языка // *Развитие фонетики современного русского языка.* М., 1971.
25. *Реформатский А.А.* Упорядочение русского правописания // *РЯШ,* 1937. № 6.
26. *Реформатский А.А.* Введение в языковедение. М., 1967.
27. *Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка* / Под ред. М.В. Панова. М., 1968. С. 110.
28. *Панов М.В.* Об аналитических прилагательных // *Фонетика. Фонология. Грамматика.* М., 1971.
29. *Панов М.В.* Русская фонетика. М., 1967. С. 186, 188.
30. *Иванова-Лукьянова Г.Н.* Об ударности динамически неустойчивых слов / Развитие фонетики современного русского языка. М., 1971.
31. *Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Декант П.А.* Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. Деканта П.А. М., 1991. С. 76.
32. *Бондарко Л.В.* Звуковой строй современного русского языка. М., 1977. С. 159.
33. *Николаева Т.М.* Семантика акцентного выделения. — М., 1982.
34. *Розанова Н.Н.* Суперсегментная фонетика // *Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика.* Жест. М., 1983. С. 17.
35. *Николаева Т.М.* Соотношение фразовой и словесной просодии // *Сборник филологии и лингвистики,* 16. Нови Сад, 1971.
36. *Николаева Т.М.* Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
37. *Светозарова Н.Д., Шербакова Л.П.* Роль изменения частоты основного тона в восприятии ударения в изолированных словах // *Тр. АРСО* 6. Таллинн, 1972.
38. *Светозарова Н.Д.* Интонационная система русского языка. Л., 1982.

## ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

© 1993 г. ВЕЖБИЦКА А.

АНТИТОТАЛИТАРНЫЙ ЯЗЫК В ПОЛЬШЕ: МЕХАНИЗМЫ  
ЯЗЫКОВОЙ САМООБОРОНЫ\*

## ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИГЛОССИИ

Хорошо известно, какая важная роль отводится манипуляциям языком в тоталитарных и полутоталитарных государствах. Эта проблема получила классическую трактовку в антиутопии Орвелла "1984" [1]; ей посвящена знаменитая книга Клемперера "Lingua Tertii Imperii" [2] и многие другие книги и статьи, вышедшие недавно.

Но это лишь одна сторона вопроса. Официальный тоталитарный язык часто порождает свою собственную противоположность — подпольный анти тоталитарный язык. И хотя он тоже представляет собой чрезвычайно интересный для изучения объект, до сих пор ему уделялось мало внимания — значительно меньше, чем тоталитарному языку.

Автор одной из немногих работ, посвященных анти тоталитарному языку, Кочинский, пишет (о русском языке): "В условиях, когда цензура беспощадно подавляет любое свободное выражение мысли и критики, остается лишь одна свободная область, неподвластная этому контролю, — это область живого разговорного/народного языка" [3].

Авторы другого замечательного исследования того же рода, Заславский и Фабрис, считают: "В результате действия цензуры антиномия языковой нормы, установленной государственной языковой политикой, и потребности живого общения разрешается тем, что лексика неравенства (т.е. антиофициозный или неофициальный язык. — В.А.) полностью вытесняется из письменного языка открытой печати, существуя только в живой разговорной речи. Соответственно в советском русском языке возникает очень резкий разрыв между сферами официального и частного языкового поведения. Социокультурные нормы и ожидания в отношении языка, пригодного для обсуждения проблем политики, власти и неравенства, в частной сфере и в сфере официальной становятся настолько различны, что можно говорить о возникновении в советском русском языке чего-то вроде политической диглоссии" [4]. Противопоставление тоталитарного и анти тоталитарного языка в Польше представляет интересный случай подобной политической диглоссии.

**Антиязык, общество и антиобщество.**

В ходе интереснейшего обсуждения того, что такое "антиязыки", Холлидэй связывает определение антиязыка с определением антиобщества: "Антиобщество — это общество, которое существует внутри другого общества как альтернативное. Это способ выражения сопротивления — сопротивления, которое может принимать форму пассивного симбиоза, активной

© Language in society. 1990. V. 19. P. 1—59. Сокращение и перевод сделаны Р.И. Розиной с согласия автора. Статья оформлена по правилам, принятым в журнале "Вопросы языкознания". Там, где это возможно, польские слова приводятся в русской транслитерации.

враждебности и даже разрушения. Антиязык не только существует параллельно с антиобществом — на деле он порождается им” [5, с. 164].

Некоторые характеристики антиязыков (языков подпольного мира Калькутты), описываемых Холлидзем, и польского антиязыка безусловно совпадают, но различия между ними намного более значимы. Так, Холлидэй указывает: “Антиязык... не является ничьим родным языком... Это язык антиобщества” [5, с. 171]. Но в Польше антиязык — это родной язык большей части населения (хотя он не нашел отражения в официальном “Словаре польского языка” [6]). Он не является языком меньшинства, существующего как антиобщество. Напротив, это язык основной части населения. Парадокс заключается в том, что в стране, в которой основная часть общества вынуждена существовать в подполье, а маленькая и отчужденная от общества группа контролирует большую часть сфер легальной жизни, само общество, а не какая-то маргинальная группировка порождает антиязык. Польский антиязык направлен не против общества, а против номенклатуры, которая сама по себе является родом антиобщества. Номенклатура — хранитель официального языка, в то время как общество — хранитель подпольного языка: именно в нем выражаются, формируются и делаются общим достоянием ценности этого общества.

#### **Что такое языковая самооборона?**

Языковая самооборона в тоталитарном или полутоталитарном государстве состоит в изобретении способов выражения (имеющих более или менее постоянную форму) для тех эмоций, отношений и идей, которые не могут открыто выражаться в условиях жесткого политического контроля жизни страны. Например, если страх и ненависть, которые испытывает население по отношению к подавляющему его режиму и институтам этого режима, не могут свободно выражаться в речи, прессе или литературе, они могут быть выражены с помощью слов и словосочетаний подпольного языка, и сама эта возможность приносит поработанному населению некоторое психологическое облегчение и чувство освобождения. Благодаря тому, что подпольный язык может использоваться всеми, разные люди объединяются; это создает возможность замены свободных союзов и организаций, которые запрещены режимом.

Еще важнее то, что подпольный язык является формой национальной самообороны против промывания мозгов пропагандой. Он формирует подпольные отношения; он уменьшает страх и усиливает дух неповиновения и желание сопротивляться. Его роль в сохранении тождества, духа и внутренней свободы нации трудно переоценить.

Моя статья посвящена исследованию одной области антитоталитарного языка в Польше: я рассматриваю разговорные обозначения политической полиции. Ключевая роль, которую эта сила играла в стране, легко позволяет объяснить то, какая колоссальная языкотворческая энергия была потрачена в этой области, — и тем самым делает ее особенно интересным объектом изучения.

### **РАЗГОВОРНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ**

#### ***УВ (УБ).***

“Состоялся ли хоть один открытый процесс над бандитами из *УБ*, которые, как известно каждому, убивали людей в камерах и зарывали трупы под полами? А те, кто организовал депортацию польских партизан периода второй мировой войны в Россию, — хоть один из них предстал перед судом?” [7, с. 98].

На первый взгляд, *УБ* — такой же акроним, как все остальные. Он состоит из двух больших букв, и его произношение соответствует произ-

ношению этих двух букв по-польски: [úbé]. Эти буквы заменяют название *Urząd Bezpieczeństwa Publicznego* "Отдел Общественной Безопасности", бывшее официальным названием Государственной безопасности в Польше периода 1944—1954 гг. Может показаться поэтому, что этот акроним связан с официальным названием точно так же, как десятки других, употребительных акронимов связаны с названиями учреждений и организаций — как, например, *PRL* "ПНР" связана с *Polska Rzeczpospolita Ludowa* "Польская Народная Республика". На деле, однако, в случае с *УБ* соотношение между акронимом и полным названием иное.

Как правило, полные официальные имена не являются произвольными названиями, созданными просто для обозначения определенных политических единиц. Они представляют собой дескрипции, благодаря которым эти объекты предстают в определенном свете и получают определенную интерпретацию, причем им создается определенный — положительный — имидж. Например, название *Polska Rzeczpospolita Ludowa*, навязанное Польше в 1945 г., выражало оппозицию "нормальному" названию страны *Польша* и сознательную попытку разрушить преданность народа просто Польше с ее тысячелетней историей и традициями, с тем, чтобы заставить нацию отождествлять себя не с Польшей, а лишь с коммунистической Польшей. Эта техника пропаганды, конечно, хорошо известна. В романе Орвелла "1984" [1] министерство войны официально называется *Министерство мира*, а министерство пропаганды — *Министерство правды* по той причине, что названия политических объектов сами являются важными инструментами пропаганды.

Коренное отличие акронима от полного названия — в том, что его функция обычно — идентификация. Например, *PRL* "ПНР" обозначает определенный политический объект, не давая ему ни какой-либо интерпретации, ни положительной оценки. Этот объект не идентичен тому, которые обозначается названием *Польша*, поскольку *ПНР* соотносится с определенным временным периодом (после второй мировой войны) и вызывает связанные с этим периодом социополитические ассоциации, но не выражает какую-либо интерпретацию или оценку реалий этого периода. По этой причине акроним *ПНР* может использоваться и в официальной (легальной) и в неофициальной (подпольной) печати в Польше. В разговорной речи его употребление выражает горечь и гнев говорящего; в то же время он принадлежит и официальному языку и используется в положительных и сверхположительных контекстах. Поэтому мы должны сделать заключение, что с семантической точки зрения название *PRL* "ПНР" нейтрально. Оно может получать положительные или отрицательные коннотации в зависимости от контекста, но само по себе не несет никакой оценки.

Не так обстоит дело с *УБ*.

Акроним *УБ* получил в Польше отрицательные коннотации такой силы, что все попытки официальных инстанций изменить их в положительную сторону оказались напрасными.

В период расцвета сталинизма в Польше колонны молодых людей в зеленых рубашках и красных галстуках маршировали по улицам Варшавы подобно гитлерюгенду и распевали:

My ZMP — my ZMP  
Reakcji nie boimy się.

"Мы СПМ<sup>1</sup>, мы СПМ  
Мы не боимся реакционеров".

Нельзя представить себе, чтобы так можно было когда-нибудь употреб-

<sup>1</sup> СПМ — Союз Польской молодежи (примеч. перев.).

лять УБ. Коннотации УБ в Польше — те же, что у слова *гестапо*. В разговорном употреблении официального языка (т.е. в разговорной речи номенклатуры) название *Отдел Безопасности* часто сокращалось до *Безопасность* или заменялось словом *органы* "аппарат", но никогда не превращалось в УБ.

Например, в беседе между Я. Берманом, одним из ведущих членов Политбюро, курирующим службу госбезопасности с 1948 по 1956 год, и Т. Тораньской, молодой независимой журналисткой, Берман постоянно называет свою организацию *Bezpieka* "Безопасность", в то время, как Тораньска употребляет только обозначение УБ.

Две цитаты из ее книги помогают понять специфическое значение акронима УБ:

"И чтобы выполнить это, УБ сожгло более трехсот ферм в деревне Ваволница в районе Пулавы... Людей вешали вниз головой и вливали воду им в ноздри; стягивали головы железными обручами, пока люди не теряли сознания; заключенным в Бохне вгоняли под ногти шепки... Эти убийства, пытки, сожжения, уже веками не имевшие места в Польше, были элементами предвыборной кампании, предшествовавшей референдуму и выборам первого и последнего парламента, включавшего представителей Польской крестьянской партии, — выборам, на которых необходимо было победить до выборов, как хотел того Сталин" [8, с. 293]. "Вот несколько фактов, имевших место в сентябре 1945 г. Командир подразделения УБ в Бохне убил мэра деревни Богучице, Йозефа Колодзего, ...замучил пытками мэра Тапанова Яна Яротека до смерти и застрелил ...Йозефа Шидловского. Перед тем как Шидловский был застрелен, ему вырезали язык, вырвали ногти и выжгли глаза кочергой. Мэр деревни Сарнаки у Седлце был убит на глазах у всех крестьян, а их дома были сожжены УБ. Майор Собчинский, возглавлявший УБ в Ржечове, вместе с секретарем Польской рабочей партии в Перемышле выволок Владимира Койдера, члена Исполкома Польской крестьянской партии, из его дома. Впоследствии его нашли убитым в лесу — в теле его были следы 30 пуль" [8, с. 286].

В тот период истории Польши название УБ так прочно ассоциировалось с безликим злом, что ему не было места в языке официальной пропаганды — как будто сам официальный язык не решался упоминать о существовании УБ. В разговорной речи УБ произносили шепотом, как будто люди боялись, что само произнесение зловещего слова выдаст тот страх и ненависть, которые они испытывали.

Вторая причина, по которой этот акроним произносился только *sotto voce*<sup>2</sup>, заключалась в том что члены организации, о которой идет речь, обычно скрывали свою принадлежность к ней. Они были "секретными сотрудниками", и даже упоминать о них открыто представлялось опасным.

Атмосфера вокруг УБ (включая само обозначение) в конце 40-х — начале 50-х годов хорошо передана в описании функций политической полиции в тоталитарном государстве, данном австралийским историком Э. Брамшtedтом, которое приводит в своей книге А. Михник:

"Политическая полиция осуществляет контроль над обществом, создавая атмосферу страха. Функция полиции — насаждать страх в умах и сердцах, парализовать критику и независимое мышление, сломить волю несогласных — шаг за шагом — с помощью режима. Политическая полиция считает необходимым создать миф о себе как об организации, которая невидима, вездесуща и всеведуща" [9, с. 127].

Михник переносит на Польшу описание гестапо, которое дал возглавлявший нацистскую службу госбезопасности Р. Гейдрих:

"Гестапо и политическая полиция окружены атмосферой таинственности и страха. С ужасом и отвращением рассказывают наши тайные противники о нашей жестокости и беспощадных, бесчеловечных, садистских действиях, когда оказываются за границей. На родине же они подчиняются нашим требованиям, но предпочитают быть от нас как можно дальше и как можно меньше иметь с нами дела" [9, с. 127].

<sup>2</sup> *Sotto voce* (итал.) — приглушенным голосом (*примеч. перес.*).

Данные языка подтверждают возможность применения этого описания к политической полиции в Польше конца 40-х — начала 50-х годов, когда акроним *УБ* широко использовался, но произносился только шепотом.

Последнее обстоятельство, благодаря которому *УБ* воспринималось как табуированное слово, способствовало возникновению забавной связи между акронимом *УБ* и неприличным словом — связи, которая, возможно, была подкреплена случайным совпадением звучания *УБ* и *ubikacja* "уборная". Носитель языка чувствует, что это слово не следует произносить вслух, особенно прилюдно, как будто в самом этом слове есть что-то непристойное.

Можно следующим образом раскрыть содержание акронима *УБ* (в период, когда он широко употреблялся в Польше):

*УБ*

организация *X* и люди, являющиеся ее членами

я думаю о ней нечто плохое

я думаю о ней следующее:

она причиняет людям зло

она не желает, чтобы люди знали о том, что она делает

она может причинить зло кому угодно

я знаю, что другие люди думают о ней то же самое

я ощущаю нечто нехорошее, когда думаю о ней

я знаю, что другие люди ощущают то же самое

я знаю, что об этом не следует ничего говорить

*УБ* — не просто слово с отрицательными коннотациями. Его значение значительно более определено. Оно включает коннотации зла, безликости и непредсказуемости. Люди, являющиеся членами этой организации, воспринимаются как инструменты безликого, внушающего ужас и непредсказуемого зла, которое может нанести удар любому человеку в любой момент.

Слово *УБ* всегда употребляется как слово среднего рода, хотя опорное слово названия, *Urząd* "отдел", — мужского рода. Например: "Его арестовало *УБ*" [8, с. 338].

И в этом отношении *УБ* отличается от большей части акронимов, которые в официальном (а иногда даже в неофициальном) употреблении наследуют род опорного слова. Например, *ZMP* в официальной речи употребляется как слово мужского рода, поскольку опорное слово полного названия — *związek* "союз" — мужского рода. Способность ряда акронимов сохранять род опорного слова названия показывает, что они сохраняют в официальном языке и связь с пропагандистским содержанием официального названия. Но *УБ* почти никогда не используется как существительное мужского рода, поскольку этот акроним никогда не входил в официальный язык (так как режим умалчивал о существовании этой организации; и потому, что отрицательные коннотации, связанные с этим акронимом, в разговорной речи были невероятно сильны).

Нежелание официального языка употреблять акроним *УБ* сохранилось до самого конца коммунистического режима в Польше. Поразительно, например, как авторы толстого тома, выпущенного партийным издательством "Książka i Wiedza" в 1980 г. [10] и посвященного специально организации, известной в разговорном употреблении как *УБ*, ухитряются упоминать эту организацию почти на каждой странице книги, так ни разу и не употребив акроним *УБ*. Вместо этого постоянно используются пассивные безличные конструкции (например, *операція была проведена*) и положительно звучащие дескрипции (*апарат безпеки*). Кроме того, часто используются непонятные эвфемистические акронимы *PUBP* и *WUBP*, позволяющие избежать употребления легко узнаваемого и наполненного отрицательными коннотациями зловещего названия *УБ* (отметим, что каждый из этих непонятных акронимов скрывает в себе *УБ*).

Очень важно отметить, что после реорганизации сил безопасности в середине 50-х годов Отдел Безопасности формально перестал существовать (см. [11]), но акроним *УБ* не исчез из разговорной речи. Его продолжали (и продолжают) употреблять для обозначения современной деятельности сил госбезопасности, особенно ее тайной деятельности — такой, как распространение слухов и организация провокаций. Например, в сборнике документов, напечатанных в Париже в 1969 г., антисемитские листовки, распространявшиеся силами госбезопасности среди студентов польских университетов в 1968 г., упоминаются как "провокационные листовки *УБ*" [12].

Акроним *УБ* выжил и как основа производных слов *ubek* "сотрудник *УБ*"<sup>3</sup>, *ubecki* (прилагательное от *УБ*) *ubecja* (собирательное существительное) и т.п.

### *Ubowcy (убовцы) и ubowski (убовский).*

Суф. *-owiec* (мн. *-owcy*) регулярно используется в польском языке для образования *nomina personae* от существительных и очень часто от акронимов. Обычно слова с этим суффиксом обозначают людей, которые являются членами каких-либо организаций, ассоциаций, партий и т.п., а также имеют более общий смысл "люди, которые хотят что-либо делать вместе". Например, *niepodległościowcy* (от *niepodległość* "национальная независимость" — это люди, вместе борющиеся за независимость, а *solidarnościowcy* — люди, вместе участвующие в деятельности "Солидарности" или в борьбе за солидарность. Такие употребительные слова, как *akowcy*, *zetempowcy* и *korowcy* обозначают участников *АК* (*Armia Krajowa* "Отечественная Армия", которая сражалась с фашистской Германией во время второй мировой войны), *ZMP* (*Związek Młodzieży Polskiej*, сталинский "Союз Польской Молодежи" и *KOR* (*Komitet Obrony Robotników* "Комитет защиты рабочих", организация, созданная польской интеллигенцией для защиты рабочих от репрессий после волнений 1976 г.). *Zomowcy* — обозначение сотрудников *ZOMO* (моторизованных подразделений полиции, использовавшихся для запугивания населения "Народной Польши").

Как свидетельствуют эти примеры, сам по себе суф. *-owiec* не несет ни положительной, ни отрицательной оценки. Например, слово *zetempowcy* могло использоваться как в языке официальной пропаганды, которая прославляла эту сталинскую организацию, так и в разговорной речи тех, кто ее ненавидел.

Опять-таки, слово *убовцы* отличается от других производных слов в этом плане, так как выражает отрицательную оценку независимо от контекста. Так же, как *УБ*, это слово принадлежит эпохе сталинизма и ассоциируется с ужасом и злом. У него есть все отрицательные коннотации слова *УБ* и еще одна дополнительная, которую вносит суффикс: "Я думаю о них как о людях, которые хотят делать одни и те же вещи вместе". Вот характерный пример:

"Когда я ушел на пенсию, у меня стало меньше денег и больше свободного времени. Это очень большая ценность. Я стал много читать. Мне хотелось узнать, как все было на самом деле. О ГУЛАГе, чекистах, энкаведешниках, *убовцах* и прочих садистах и убийцах в униформах" [13, с. 63].

Я предлагаю следующим образом раскрыть значение слова *убовцы*:

*ubowcy*

люди, которые являются членами организации X

я думаю о них следующее:

они хотят делать одно и то же сообща

они причиняют людям зло

они могут причинять зло кому угодно

<sup>3</sup> Ср. русск. *гэбэшник* (примеч. перев.).

я знаю, что другие люди думают о них то же самое

я ощущаю нечто нехорошее, когда думаю о них

я знаю, что другие люди ощущают то же самое

При той важной роли, которую слово *ubowscy* и тесно связанное с ним прилагательное *ubowski*, образованное от *UB*, играли в сознании поляков в первое десятилетие после войны, ни одно из этих слов не зарегистрировано в фундаментальном 12-томном "Словаре польского языка" [6], хотя другие слова, образованные от акронимов, включая слова, находящиеся на границе нормативной и ненормативной лексики, как правило, регистрировались словарем (см., например, производные от *ZMP*). То же касается других производных *UB* (*ubescu*, *ubecki* и т.п.). Это характерный пример того, что происходит с лексикографией при тоталитарных и полутоталитарных режимах (ср. [4]).

### ***Bezpieka* (безпека).**

*Bezpieka* — широко распространенное в Польше обозначение (коммунистической) политической полиции. Формально оно образовано от слова *Bezpieczeństwo* "Безопасность", которое является компонентом названия *Urząd Bezpieczeństwa*. Но *Bezpieczeństwo* несет позитивную оценку, принадлежит языку номенклатуры и никогда не используется в разговорной речи (встречается разве что при пародировании официального языка). На самом деле форма *bezpieka* может интерпретироваться как результат полусознательного искажения слова *bezpieczeństwo* и как намеренное отрицание его положительных коннотаций.

Суф. *-a* в польском языке имеет много различных функций, которые не могут быть сведены к функции образования собирательных существительных. К тому же здесь имеет место не просто приращение суффикса, но более сложный морфологический процесс, который может быть описан как отсечение суффикса (и вместе с ним положительных коннотаций, которые имело слово, включавшее суффикс) и замена отсеченного суффикса другим (в данном случае *-a*), выражающим идею множества (собирательности), и одновременно "обесчеловечивающим" слово, внося в него, соответственно, отрицательную оценку.

Данный морфологический процесс можно проиллюстрировать следующими примерами:

*komuniści* "коммунисты" — *komuna*;

*konserwatyści* "консерваторы" — *konserwa*;

*ekstremiści* "экстремисты" — *ekstrema*;

Существительные *komuna*, *konserwa*, *ekstrema* включают семантический компонент "я думаю, что эти люди подобны одному большому целому, которое производит что-то плохое", который отсутствует в производящих основах и поэтому должен быть прямо соотнесен с использованием при их образовании "обесчеловечивающего" суффикса собирательных существительных.

Я предполагаю, что этот же семантический компонент входит в значение слова *безпека*. Недостаточно сказать, что *безпека* — слово, выражающее отрицательную оценку, — потому, что *УБ* тоже выражает отрицательную оценку; но семантика этих слов и то, как они воспринимаются носителями языка, совершенно различны.

*УБ* — слово среднего рода — тоже "обесчеловеченное", но оно обозначает как людей ("убэшников"), так и саму организацию. *Безпека*, напротив, преимущественно обозначает организацию. Когда людей вызывали в политическую полицию, об этом говорили *быть вызванным в УБ*, но не *быть вызванным в Безпеку*. *Безпека* воспринималась как крупная организация, параллельная армии, как часть политической системы.

Однако морфологические и семантические ассоциации, которые вызывает слово *безпека*, отнюдь не исчерпывается связью со словами *komuna*, *konserwa* или *ekstrema*. Напротив, само это слово является центром чрезвычайно богатой и сложной системы семантических связей. Так, оно воспринимается как связанное с целым классом пейоративных существительных женского рода, обозначающих группы людей — *klika* "клика", *zgraja* "стая, банда" или *banda* "банда" — все они обозначают людей, "которые вместе хотят делать что-то плохое". Оно также воспринимается как связанное с классом существительных женского рода, обозначающих ситуации, в которых участвуют группы людей "хотящих вместе делать что-то плохое", — такие, как *draka* "драка", *heca* (вульг.: "безобразная потасовка"), *afera* "афера" или *melina* (воровск.: "малина"). Все эти слова воспринимаются одновременно как вульгарные и пейоративные, и интуитивно слово *безпека* связывается с ними. Отсюда возникает ощущение, что *безпека* — это организация бандитов, которые ощущают себя выше закона.

Эти связи позволяют объяснить различие между образами, ассоциирующимися со словами *УБ* и *Безпека*: *УБ* представляется чем-то действующим украдкой, бесшумно и в абсолютной тайне; *Безпека* — чем-то шумным; *Безпека* предполагает что-то большое и наглое — метафорически говоря, производящее много шума.

Кроме того, слово *безпека* воспринимается как имеющее увеличительное значение, что связывает его с такими словами, как *beka*, увеличительная форма слова *beczka* "бочка" и *teka*, увеличительная форма от *teczka* "портфель".

В то же время форма *безпека* напоминает название соответствующей советской организации — *Чека*. Носители русского языка воспринимали слово *Чека* как акроним, образованный от названия *Чрезвычайная комиссия*; но для поляков это просто название непонятной структуры, коннотации которого, однако, далеки от комплиментарных, хотя и не так зловещи, как коннотации названия *НКВД*, с которым пришлось столкнуться гораздо большему числу поляков и к тому же совсем недавно.

*bezpieka*

организация X

я думаю о ней нечто нехорошее

я думаю о ней следующее: она подобна одному большому целому,  
которое делает плохие вещи

и которое хочет делать плохие вещи

я знаю, что другие люди думают то же самое

я ощущаю нечто нехорошее по отношению к ней

я знаю, что другие люди ощущают то же самое.

В слове *безпека* есть что-то вызывающее и ироническое<sup>4</sup>; во всяком случае, оно может употребляться в ситуации вызова и в иронических и сатирических контекстах, в то время, как *УБ* звучит всегда мрачно и серьезно. В экспликации значения этого слова, которую мы дали, нет ничего, указывающего на связь с вызовом, иронией или сатирой. Однако наличие компонента "она подобна одному большому целому, которое хочет делать плохие вещи" в какой-то степени объясняет легкость, с которой это слово употребляется в таких контекстах. Это слово вызывает представление о чем-то нескладном, гротескном и порочном одновременно.

В отличие от слов с корнем *уб-* слово *безпека* зарегистрировано в "Словаре польского языка" [6]. В то же время словарь не дает примеров употребления этого слова и снабжает его пометой *разг.*

<sup>4</sup> Ср. русск. *збуха*. (примеч. перев).

### *Bezpieczniacy* (безпечняки).

В языке правящего класса разговорным обозначением УБ было слово *Bezpieczeństwo* "Безопасность". От него было образовано два других — существительное *bezpieczniacy* (ед. *bezpieczniak*) и прилагательное *bezpieczniacki*; оба они принадлежали исключительно языку правящего класса, а за его пределами употреблялись лишь в ситуации иронического цитирования чужой речи.

Слово *bezpieczniacy* "безпечняки" обозначает ту же категорию людей, что *убовцы*, — т.е. членов УБ, однако семантические характеристики этих двух слов абсолютно различны.

Огрубляя, можно сказать, что слово *убовцы* имеет отрицательные коннотации, а *безпечняки* — положительные; слово *убовцы* принадлежит языку жертв и тех, кто может стать жертвами УБ, а *безпечняки* — языку тех, кто идентифицирует себя с этой организацией.

Например, Р. Верфель, один из ведущих идеологов партии, пропагандист и издатель, пишет:

"Все крупные партийные деятели были связаны со службой безопасности. Я был в добрых отношениях со многими нашими беспечняками после войны. Любой из них мог забежать ко мне, чтобы спросить о чем-нибудь или узнать мое мнение по какому-нибудь вопросу" (см. [8, с. 97]).

Выражение *наши беспечняки* были очень употребительным в речи людей, подобных Верфелю, что безусловно говорит о многом. Но это не просто слово с положительными коннотациями, предполагающее отождествление говорящим себя с теми, о ком он говорит. Значение этого слова гораздо богаче. Прежде всего мы можем утверждать, что его коннотации подобны коннотациям англ. *boys* ("мальчики, ребята"), когда это слово используется взрослыми людьми, объединенными корпоративным духом и сознанием, что они делают замечательные вещи вместе, ср.:

Where are the boys of the Old Brigade  
Who fought with us side by side? [14]

Где же ребята из Старой Бригады,  
Что бились бок о бок с нами?

Это слово связывается с представлением о молодости, мужественности, мужской солидарности, романтике, преданности и принадлежности одной группе.

Пытаясь понять и документировать особый семантический статус слова *безпечняки*, мы должны учесть, что это не единственное образование такого рода, — по-видимому, здесь имеет место продуктивная морфосемантическая категория. Вот некоторые примеры:

*czwartacy* — от *czwarty pulk piechoty*, "четвертый пехотный полк";  
*warszawiacy* — от *Warszawa* "Варшава";  
*krakowiacy* — от *Kraków* "Краков";  
*lwowiacy* — от *Lwów* "Львов".

Данная категория составлена существительными мужского рода, обозначающими группы людей и образованными от основ, являющихся названиями городов или пространственно-временных объединений людей (военных подразделений или учебных заведений). Эти существительные обычно употребляются только в форме мн. числа, образованы с помощью суф. *-ak* и в форме им. пад. мн. числа обычно имеют форму *-acy*.

У суф. *-ak* много разнообразных функций, но все они связаны между собой; и находить семантическую близость таких форм, как *безпечняки* и других слов с суф. *-ak*, — невероятно увлекательное занятие.

Прежде всего суф. *-ak* используется для образования названий молодых животных от названий детенышей животных:

*szczenie* — *szczeniak* "щенок";

*kocię* — *kociak* "котенок";

*prosię* — *prosiak* "поросенок";

*żrebię* — *żrebak* "жеребенок";

Существительные на *-e* обозначают детенышей животных, воспринимающихся как детеныши; существительные же на *-ak* обозначают молодых животных, которые уже не являются детенышами или же к которым говорящий уже не хочет относиться, как к детенышам. В значении всех этих существительных содержится сочетание компонентов "большое маленькое существо", "молодое существо, еще не взрослое существо, но не детеныш; или такое, с которым не обращаются, как с детенышем".

Например, одушевленные существительные *niemowlak* "грудной ребенок" и *dziecak* "ребенок" предполагают несентиментальное отношение со стороны говорящего, тождественное отношению к молодым животным, говоря о которых употребляют слово с суф. *-ak*. Это утверждение справедливо и по отношению к таким формам, как *uczniaki* "ученики, школьники", *studenciaki* "студенты" или *przedszkolaki* "дошкольники". Все эти слова представляют людей как молодых существ, к которым говорящие относятся без всякой сентиментальности и которых не воспринимают как детей. В тех же случаях, когда слова, обозначающие людей, образованы с помощью суф. *-ak* от прилагательных, суффикс выражает что-то вроде легкой жалости или презрения в зависимости от значения корня, например:

*biedny* "бедный" — *biedak* "бедняк";

*prosty* "простой" — *prostak* "простак";

*tajna policja* "тайная полиция" — *tajniak* "сексом".

Слова типа *bezpieczniaki*, обозначающие людей и образованные от географических названий или от названий военных подразделений или учебных заведений, также особым образом развивают тему "молодых существ, не являющихся детьми". Слова этого рода подразумевают особую привязанность и гордость, которую испытывают люди определенной группы по отношению к месту или к подразделению, в котором они были вместе. Характерно, что такие слова обычно используются этими людьми для обозначения себя самих и выражают их общее чувство гордости, солидарности и сознание своей исключительности. Эти слова также выражают ощущение молодости и задора, которое обычно ассоциируется с воспоминаниями о забавах юности. Это "потрясно" находиться или учиться в этом месте, но особенности и исключительность его неотделимы от молодости тех, кто там побывал.

Чтобы передать особый образ молодости, ассоциирующийся с существительными этой группы, обозначающими людей, я хочу включить в их семантическую формулу следующие компоненты:

я думаю, что люди, которые являются членами X,

могут делать то, что не могут делать другие люди

я думаю, что они хотят делать то, что люди.

которые не молоды, не захотели бы делать.

Слово *bezpieczniacy* связано с таким именно рядом ассоциаций и передает именно этот образ и такое восприятие себя людьми.

*bezpieczniacy*

люди, которые являются членами организации X

я думаю об этой организации нечто хорошее

я думаю, что люди, которые являются членами этой организации

могут делать вещи, которые не могут делать другие люди

я думаю, что они хотят делать вещи, которые люди, не являющиеся молодыми,

не захотели бы делать

я думаю, что другие люди думают то же самое  
я чувствую нечто хорошее по отношению к этим людям  
(которые являются членами этой организации)  
я думаю, что другие люди чувствуют то же самое)

### *Ubescu (убеки).*

В конце 40-х — начале 50-х годов членов *УБ* обычно (хотя и не без исключений) называли *убовцы*. С тех пор, однако, это мрачное и зловещее слово, окруженное атмосферой тайной и безликой жестокости и темной силы, почти вышло из употребления и стало восприниматься как устаревшее, хотя в период военной диктатуры оно вернулось на короткое время, как показывает следующий пример: "С моей точки зрения он был тайный *убовец*, который в конце концов раскрылся" [13, с. 31]). В целом в разговорной речи вместе слова *убовцы* стало употребляться другое слово — *убесу* "убеки", в ед. числе *ubek* "убек". Это слово также образовано от *УБ*, но отличается от слова *убовцы* как структурой, так и значением.

Самым грубым образом их различия можно было бы определить так: *убовцы* ассоциируются с чем-то вызывающим страх и ужас, а *убеки* — с чем-то, вызывающим негодование и презрение.

Интересно, что различаются представления даже о физическом облике, связанном со словами *убовцы* и *убеки*: первые видятся в полицейских мундирах и черных кожаных пальто; вторые — в пальто из орталиона — легкого, непромокаемого, похожего на нейлон материала. Одевание психологически "уменьшилось" и стало менее угрожающим, но тех, кто носил эту форму стало больше, чем *убовцев*...

"...и они начали проницательно смотреть на меня; двое из них были в черных кожаных пальто — таких, как носили гестаповцы. "Да, я Несторова, что вам угодно?" — спросила я их. А они продолжали смотреть на меня так, как будто просвечивали мою голову рентгеном" (о 1947 г., см. [7, с. 20]).

Ср. с образом *убеков* в комической опере Спотаньского о политической полиции в Польше времен Гомулки (после 1956 г.):

"У нас уже не бандитские лица.

Хотя наши сердца остались собачьими.

Сегодня те, кто привык молчать, продали свои мундиры

И выглядят по-новому, совсем по-новому.

В хорошо сшитых костюмах из магазина, в рубашках из валютки,

Шелестя своей одеждой из прекрасного орталиона,

Они заходят в кафе, на вечеринки и в общественные туалеты,

Эти печальные, молчаливые батальоны" [15].

Как ясно показывают эти цитаты, *убекам* придается меньше значения, они меньше, чем *убовцы*, и менее заметны, но число их представляется большим, и они проникают в жизнь общества повсеместно.

В книге Новаковского [16, с. 97] мы находим рассказ о том, как тайная полиция производит обыск в доме, хозяин которого занимается нелегальной деятельностью. Вскоре он возобновляет распространение самиздатской литературы и для прикрытия берет с собой своего четырехлетнего сына. Во время поездки в переполненном автобусе малыш замечает, что пластик на сиденье разорван.

"Смотри!" — сказал он, хватая меня за плечо. Я туго повернул голову. Он громко сказал: "Наверно, *убеки* разорвали его во время обыска". Всего четыре года, а такой сообразительный! Мыслительные процессы совершенно безупречны! Но я был страшно напуган!"

Папа весь в поту от ужаса, но люди в трамвае смеются. Опять-таки, почти невозможно предположить, что слово *убовцы* появится в сходном контексте.

Презрение к *убекам* и восприятие их как каких-то маленьких существ

может иметь грамматическое выражение — в употреблении окончания неодушевленных существительных (*ubeki* используется чаще, чем *ubescu*) и среднего рода (*toto*):

"Ależ to głupaki te *ubeki*, gdzie toto się nauczyło takiego głupiego myślenia?" "Что за кретины эти *убеки*, где эти создания научились так по-идиотски думать?" [7, с. 20]).

Это не значит, что *убеки* представляются безвредными. Контексты употребления слова *убек* могут быть зловещими:

"Тут же Скворон (учитель) выяснил, что Ковалик был одним из тех *убеков*, которые работали с Вышковским... Во время допроса Вышковский был жестоко избит, а две недели назад его похоронили" [17].

Но даже в таком контексте слово *убек* вызывает презрение и отвращение, а не страх и ужас.

Со словом *убек* связаны также представления об атмосфере секретности и чувстве вины. Как правило, *убек* не хочет, чтобы люди знали, кто он такой (чтобы можно было шпионить за ними). Поэтому самый распространенный тип контекстов, в которых появляется это слово, — контексты, связанные с проблемами узнавания *убеков*. Например:

"А он не *убек* случайно?" [18]; "В другой раз он поразил меня своей бдительностью. Указывая на человека в штатском, идущего за нами, он прошептал: "Он идет так, как будто он..." "Кто?" — спросил я. "*Убек*", — просто ответил он" [16, с. 97].

*Убеки*, так сказать, меньше, чем *убовцы*. Они прячутся. Они делают плохие вещи, и они хотят делать плохие вещи, но они подобны крошечным существам, которые хотят причинять людям зло. Люди чувствуют нечто нехорошее, думая о них, но не обязательно чувствуют это по отношению к ним (так же, как можно ощущать нечто нехорошее при мысли о клопах, но не по отношению к ним).

Нетрудно видеть, какую роль играют разные части слова *убеки* в создании его семантики. В каком-то смысле можно считать, что это слово состоит из корня *ub-* и суф. *ek-*, но на самом деле гласная *-e-* может рассматриваться как принадлежащая одновременно и корню, и суффиксу (*ube-* + *-ek*). Корень *ube-* отождествляется со словом *УБ* (которое произносится [úbé] и воспринимается как несущий на себе все значение этого слова. В то же самое время суф. *-ek* вносит свое собственное значение, действуя как семантический оператор, модифицирующий значение корня.

Основная функция суф. *-ek-* — функция уменьшительного суффикса первой степени, служащего для образования существительных от существительных же, например:

*pies* "пес" — *piesek* "песик";

*ogon* "хвост" — *ogonek* "хвостик".

Коннотации форм типа *piesek* и др. — маленький размер и ласкательное отношение. В соединении с существительными, обозначающими некоторые классы людей (личные имена, родственные отношения и др.), суф. *-ek* тоже передает значение уменьшительности в сочетании с положительными коннотациями другого рода:

*Jan* "Ян" — *Janek* "Янек" (дружески-фамильярное обращение);

*syn* "сын" — *synek* "сынок".

В сочетании с другими категориями существительных, обозначающих людей, однако, суф. *-ek* имеет коннотации уменьшительности в сочетании с уничижительным оттенком:

*żyd* "еврей" — *żydek* "еврейчик" (уменьшительное и несколько презрительное обозначение)

*polak* "поляк" — *polaczek* "полячишка" (уменьшительно-презрительное)

*Bóg* "Бог" — *bożek* "божок" (языческий бог, презрительно)

Слово *убек* следует анализировать в контексте всех этих образований. Корень вносит в значение слова следующие компоненты: "я знаю, что они

причиняют зло” и ”я знаю, что они хотят причинить зло”, а суффикс — компонент ”я думаю, что они похожи на маленьких существ” и как бы вычеркивает компонент ”я думаю, что они могут причинить зло кому угодно”, который входит в значение мрачного и зловещего слова *УБ*. *Убека* воспринимают не как кого-то, кто может причинить зло кому угодно, но как кого-то, кто ”подобен маленькому существу, которое хочет причинять зло”.

*ubecu*

люди, которые являются членами организации X

я думаю о них следующее:

они причиняют зло

они не хотят, чтобы люди знали, что они делают

они хотят причинять зло

они похожи на крошечных существ, которые хотят причинять зло

я знаю, что другие люди думают то же самое

я ощущаю нечто нехорошее, думая о них

я знаю, что другие люди ощущают то же самое

Симптоматично, что слово *убеки*, столь употребительное в современном разговорном польском языке, не зарегистрировано в объемистом ”Словаре польского языка” [6].

Важно указать, что слово *убеки* и производное от него прилагательное *убецкий* широко использовалось в Польше 80-х годов, хотя организация, сотрудников которой эти слова называют, давно — с середины 50-х годов — перестала называться *Urząd Bezpieczeństwa* ”Отдел Безопасности”. Всеобщая ненависть к этой организации и к самому звучанию ее названия даже в его сокращенной форме была так сильна, что режим вынужден был произвести ее реорганизацию и назвать ее по-новому. В середине 50-х годов *Urząd Bezpieczeństwa* был официально заменен организацией, называвшейся *Służba Bezpieczeństwa* ”Служба Безопасности”. Однако, как указывает Карпиньский, разговорная речь отказалась признать эти изменения сколько-нибудь значимыми и продолжала относиться к политической полиции как к одной постоянной организации [19].

Карпиньский прав. Замена *УВ* ”УБ” на *СВ* ”СБ” не привела к автоматической замене слова *убек* словом *збек*. В разговорной речи *убек* сумел пережить перемены и организационного, и терминологического характера; употребление этого слова не стало менее частотным. Наоборот, через 30 лет после роспуска *УБ* это слово все еще всем знакомо. В то же время разговорный язык — необыкновенно точный индикатор и инструмент общественной жизни — не проигнорировал перемены во внутренней политической ситуации Польши; более того, он дал этим переменам собственную интерпретацию — безусловно отличающуюся от той, которую пыталась им дать официальная пропаганда. Переход от *убовцев* к *убекам* позволяет передать и перемены, и преемственность. Наследование корня *уб-* указывает, что это то же самое старое *УБ*. Смена же суффикса отражает новую перспективу, в которой видится *УБ*: это *-ек*-перспектива. А иногда это *-ол*-перспектива, о которой я хочу поговорить в следующей части.

*Ubole (уболе).*

Если слова *убовцы* и *убеки* вызывают у носителей языка различные дурные ощущения, связанные с данными категориями людей, то слово *уболе* ассоциируется с дурным ощущением, которое возникает по отношению к самим этим людям. Это слово выражает презрение так же, как слово *убек*, но оно серьезнее и экспрессивнее. Если слово *убек* обозначает того, кто ”похож на крошечное существо, которое хочет причинять зло”, *уболе* обозначает того, кто ”нехорош и груб”. Это слово чикак не связано с уменьшительными значениями и принадлежит совершенно

иной семантической парадигме. Оно входит в число существительных на *-ol*, обозначающих людей, в числе которых *ramol* (ядерное слово и источник всей группы), *robol*, *ghupol* и *zezol*.

Слово *ghupol* образовано от прилагательного *ghupi* "глупый", но выражает еще более сильное презрение, чем *ghupiec* или *ghupek*. *Zeazol* образовано от *zezowaty* "косоглазый", но предполагает, что тот, о ком идет речь, глуп и порочен. Например, у Новаковского [16, с. 35] этим словом обозначается сотрудник Отдела кадров, в функции которого входит ведение табелей на других сотрудников:

«Когда я вышел из комнаты, я увидел, что там стоит этот *zezol* ("косоглазый зомби", "сторожевая собака + кретин") из Отдела кадров, но он ничего не сказал».

*Ramol* — презрительное обозначение старого маразматика. Это слово выражает насмешку в сочетании со злостью и раздражением. *Robol* — образованное от слова *robotnik* "рабочий" презрительное обозначение, использовавшееся аппаратчиками Польской объединенной рабочей партии по отношению к тем, кого их партия должна была представлять.

Михник описывает менталитет типичного аппаратчика эры Герека следующим образом:

«Наш аппаратчик поглощал нектар, доступный отнюдь не всем, жил в своем собственном мире и говорил на своем собственном языке. И верил, что Польша становится все могущественнее, а ее народ все ближе к процветанию. И верил, что Польша и номенклатура едины. Июнь 1976 г. исцелил его лишь частично. Он слишком был готов поверить в то, что восстание рабочих в Радоме и Урсусе было простым хулиганством, и в то, что эффект "экономического маневра" Герека будет благотворным... А затем пришел август 1980 и нанес сногшибательный удар. *Роболы* (как привык он называть "хулиганов") подвергли сомнению законность власти, которой обладали его господа и он сам. И началось землетрясение, которое продолжалось много месяцев» [9, с. 67].

*Робол* — рабочий в спецовке, которого тот, кто так его называет, видит неспособным думать от природы и уподобляет животному или существу, не являющемуся человеком и низшему по сравнению с ним.

Семантическая роль компонента *-ol* в слове *убол* почти прозрачна. Корень *уб-* выполняет в этом слове такую же роль, как в словах *УБ* и *убовец*, но при этом значение корня не ослабляется и не модифицируется суффиксом, как в слове *убек*, потому что *-ol* в отличие от *-ек* никогда не бывает уменьшительным суффиксом.

Хотя компонент *-ol* встречается в составе существительных довольно редко, он часто сочетается с глагольной основой, выполняя при этом роль фонемы. Все глаголы с этим компонентом высоко экспрессивны и служат для обозначения неуклюжих, неумелых и не приводящих к хорошим результатам действий. Например:

*rzepolić* "пилить", на скрипке или же на другом музыкальном инструменте);

*partolić* "портить", "портачить", "паскудить");

*chromolić* (вульг.: делать что-то очень плохо, небрежно, "лепить");

*perdolić* (вульг.: "пердеть");

*dyndolić* — "трезвонить";

*dzyndolić* — "бренчать";

Некоторые из этих глаголов имеют вполне невинные значения и встречаются в шутильной речи; другие являются бранными словами, но у всех у них есть коннотации некомпетентности и бестолковости, и у всех есть следующие общие семантические компоненты:

а) X не может хорошо делать то, что могут делать другие люди;

б) X похож на существо, которое неспособно думать;

в) я ощущаю нечто, думая о том, как X что-то делает.

В каком-то смысле компонент (в) предполагает отрицательные ощущения ("я ощущаю нечто плохое, думая об X"), но поскольку глаголы данной группы преимущественно шутильны, эта импликация несерьезна.

Однако существительные на *-ol* всегда содержат отрицательную оценку, которая сочетается с импликациями "люди, о которых идет речь, не умеют хорошо делать то, что умеют делать другие люди" и "они подобны существам, которые неспособны думать".

*ubole*

люди, которые являются членами организации X

я думаю о них следующее:

они причиняют зло

они хотят причинять зло людям

они подобны существам, которые неспособны думать

они не могут делать то, что делают другие люди

они могут причинять зло людям

я ощущаю нечто нехорошее по отношению к ним.

В отличие от слов *убеки* и *убовцы* слово *уболе* — подобно слову *безпека* — выражает плохое отношение к тем, о ком идет речь. Отношение, выражаемое этим словом, имеет гораздо более личный характер и гораздо резче выражается, чем словами *убовцы* и *убеки*; поэтому я не включила в экспликацию его значения указание на то, что думают и чувствуют другие люди ("я знаю, что другие люди думают то же самое", "я знаю, что другие люди чувствуют то же самое"). Это слово выражает презрительное отношение, но при этом без той беззаботности, которая присутствует в слове *убеки*. Если *убеки* видятся крошечными существами, которые хотят делать зло, то *уболе* видятся существами, неспособными думать и в то же время хотящими причинять зло людям. Такое сочетание может быть опасным.

### *Ubesja (убеция).*

*Ubesja (убеция)* — собирательное существительное, обозначающее множество *убеков* или же место, ассоциирующееся с ними и с их деятельностью. С формальной точки зрения можно считать, что оно образовано либо от слова *убек* (*убеки*), либо от *УБ*, но с семантической точки зрения оно явно связано отношениями производности с первым словом, а не со вторым. Тем не менее коннотации слова *убеция* не полностью совпадают с коннотациями слова *убеки*. Это слово выражает презрительное отношение, но дополнительно к нему примешивается черный юмор. В нем содержится намек на то, что деятельность *убеков* имеет несколько фарсовый характер, подобно действиям толпы громил.

Слово *ubescja* явно напоминает слова *policja* "полиция" и *milicja* "милиция", эвфемистическое обозначение полиции Польской Народной Республики, "небуржуазная", "хорошая" полиция). Но *полиция* и *милиция* — это не собирательные существительные, образованные от существительных, обозначающих отдельных людей (*policjant* "полицейский" и *milicjant* "милиционер"). *Убеция* же образована от слова *убеки*. Соответственно параллелизм между *убецией* и *милицией* или *полицией* имеет внешний, а не реальный характер. Это поддельный параллелизм, который — в сочетании с отрицательной основой *убеки* — содержит тонкий намек на то, что *убеция* — пародия на полицию. Скрытое содержание слова заключается в том, что *убеция* — как *полиция* или же *милиция* — должна быть блюстителем законности и порядка, но на деле препятствует их соблюдению, насаждая противоположное, поскольку является переодетым фарсовым воплощением *УБ*.

Будучи в то же время косвенно связано с акронимом, слово *убеция* ассоциируется с широко употребительными перед второй мировой войной названиями двух политических партий, *endecja* "эндэция" и *chadecja* "хадэция", производных от *ND* "НД" и *ChD* "ХД" соответственно *Narodowa Demokracja* "Народная Демократия" и *Chrzescijanska Demokracja* "Хрис-

тианская Демократия". Существует параллелизм также между названиями этих множеств:

Ед.	Мн.	Собир.
<i>ubek</i>	<i>ubecy</i>	<i>ubecja</i>
<i>endek</i>	<i>endecy</i>	<i>endecja</i>
<i>chadek</i>	<i>chadecy</i>	<i>chadecja</i>

Но это также фальшивый параллелизм, потому что названия этих двух партий (*эндеция* и *хадеция*) не были образованы от названий их членов; наоборот, *эндек* и *хадек* производны — морфологически и семантически — от названий партий. В случае с *убецией* и *убеками* производность направлена прямо в противоположную сторону.

Формальное тождество *убеции*, *эндеции* и *хадеции* заставляет воспринимать название *убеция* как название настоящей политической партии; в сочетании с корнем *убе-* это производит комический эффект.

Существует также связь между словом *убеция* и другими существительными женского рода, образованными от обозначений людей, например:

*lobuz* "жулик" — *lobuzeria* "жулье";  
*chuligan* "хулиган" — *chuliganeria* "хулиганье";  
*gałgan* "мошенник" — *gałganeria* (?...)  
*smarkacz* "сопляк" — *smarkateria* (? соплячье)  
*student* "студент" — *studenteria* (?...).

Слова с суф. *-eria* обозначают группы людей, вместе совершающих безответственные действия, — людей, которые могут причинить зло, но которых нельзя принимать всерьез. К этому списку недавно прибавилось слово *pezetpeeria*, образованное от акронима *PZPR* (*Polska Zjednoczona Partia Robotnicza* "Польская объединенная рабочая партия", т.е. Коммунистическая партия) — издевательское обозначение номенклатуры, которая видится как банда политических хулиганов, "вместе безответственно чинящих зло".

Коннотации слова *убеция* отличаются от коннотаций слова *безпека*. Экспрессивное обозначение *безпека* по аналогии со словом *мафия* предполагает крупномасштабный бандитизм; у *убеции* более мягкие коннотации "хулиганства" — как будто на производном слове все еще лежит отпечаток суф. *-ек* слова *убек*, породившего слово *убеция*, и взаимодействует с коннотациями суф. *-ция*.

Слово *безпека* вызывает представление о большой организации; слово *убеция* — о толпе *убеков*, которые готовы совершить очередную гадость (вспомним агентивное значение суф. *-ция* в *полиция* и *милиция*).

В моем присутствии студентка сказала о своей сокурснице: "Ее отец служит в *убеции*". Я спросила ее, могла ли бы она в этом предложении употребить слово *безпека*, и она ответила, что это невозможно. Слово *безпека* предполагает более высокий уровень абстракции, восприятие организации, о которой идет речь, как целого, и уместно в подпольном политическом дискурсе. В речи же подростка, говорящего о другом подростке и имеющего в виду местное отделение организации, гораздо более уместно слово *убеция*.

*ubecja*

люди, которые являются членами организации X  
я думаю о них следующее:

они все похожи друг на друга

они причиняют зло сообща

они хотят причинять зло сообща

они похожи на маленьких существ, которые хотят причинять зло сообща

я знаю, что другие люди думают то же самое  
я ощущаю нечто нехорошее, думая о них  
я знаю, что другие люди ощущают то же самое.

Со словом *убеция* связана еще одна загадка. Поскольку это слово было образовано от слова *убеки* и семантически связано с ним, можно было бы ожидать, что оно появилось и распространилось в то же самое время, что *убеки*, или вскоре после него. Но это не так. Слово *убеки* было широко распространено в Польше не только в 80-е годы, но и в 70-е, 60-е и в конце 50-х годов. Напротив, слово *убеция* принадлежит 80-м годам.

#### СЕМАНТИКА ЭКСПРЕССИВНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Тонкие прагматические значения, подобные тем, которые исследовались в данной статье, редко подвергались тщательному и строгому анализу, поскольку многие ученые считали их неподходящими для него объектами. Я надеюсь, что в этой работе и других моих публикациях [20—25] мне удалось доказать, что использование естественного семантического метаязыка, в основу которого положена гипотетическая система универсальных семантических примитивов, делает эту задачу выполнимой.

Однако для того, чтобы получить интуитивно приемлемую экспликацию прагматических значений и обосновать ее, нам нужно нечто большее, чем семантическая интуиция (хотя именно с нее начинается анализ). Нам необходимы какие-то конкретные средства исследования. В каком-то смысле лингвист стоит перед той же проблемой, что и говорящий. Откуда люди знают, когда они произносят такие слова, как *ubek* и *ubol*, что они вкладывают в них те же значения, что и другие люди? Как могут люди употреблять новые слова — такие, как слово *ubecja* — и быть уверенными, что слушающие поймут, что имеется в виду?

Один ответ на этот вопрос кажется само собой разумеющимся. Мы воспринимаем прагматическое значение из контекста, и даже ограниченное число контекстов, характерных для слова, может дать уверенность по поводу того, каково значение и коннотации данного слова.

Во-вторых, в случае прагматических значений, ценными индикаторами являются интонация и выражение лица. Если лингвист может наблюдать живое употребление исследуемых слов и выражений, ключи такого рода могут сослужить ему такую же службу, как и носителям языка.

В-третьих, прагматические значения часто поддерживаются сетью формальных — словообразовательных и прочих — связей.

Когда, например, кто-нибудь в первый раз слышит такое слово, как *ubol* или *głupol*, ему нетрудно расшифровать значение, которое вкладывает в эти слова говорящий, благодаря легко устанавливаемым связям между этими и другими польскими словами на *-ol* и благодаря связям между этими словами и фонемой — омофоном *-ol* в таких глаголах, как *partolić* и *rzepolić*.

Я подозреваю, что новые экспрессивные слова, подобные слову *ubecja*, так легко усваиваются и начинают широко употребляться именно потому, что вкладываемое в них говорящими прагматическое значение легко определить (на подсознательном уровне) с помощью их формальных и семантических связей с другими словами.

Задача лингвиста — выявить эти слова на сознательном уровне и эксплицировать их. Поиск таких связей является в одно и то же время и эвристической процедурой, и методом обоснования и верификации предложенных интерпретаций. Следует отметить в этой связи особую роль, которую играют короткие ряды слов, источником которых служит одно-два слова,

интуитивно воспринимающиеся как необычные. Например, ряд, в который входят слова *ubol* и *robol*, как кажется, произошел из одного слова *ramol* (впоследствии в этот ряд вошли *zezol* и *ghpol*).

Все это напоминает явление, которое Шухардт [26] охарактеризовал как "спорадическое изменение" на фонологическом уровне. Возможно, что в области прагматических значений спорадические изменения такого рода встречаются чаще, чем в других областях семантики. Безусловно, это утверждение нуждается в проверке.

Наконец, следует ответить на вопрос, зависит ли описанный здесь тип языкового творчества от структуры языка. Д. Хаймз высказал предположение (в нашем с ним личном общении), что наличие богатой системы словообразовательных средств в польском языке (как и в других славянских языках) облегчило "взрыв" экспрессивных значений, который мог быть затруднен в других языках.

Я думаю, что он, возможно, прав в своем предположении; но остается необходимым исследовать, в какой степени структурные характеристики языка облегчают или затрудняют языковое кодирование возникающих прагматических значений. Следует сделать в связи с этим два замечания.

Первое. В русском языке есть структурные возможности, подобные тем, которыми располагает польский, и они были полностью использованы в области имен собственных [27, гл. 8], — но не были использованы в области антитоталитарного языка в той степени, как в польском.

Второе. Когда в культуре появляется настоятельная необходимость, то даже такие языки, как английский, у которого возможности экспрессивного словообразования ограничены, могут найти какие-то средства для кодирования возникающих прагматических значений, как я продемонстрировала в своем анализе экспрессивной морфологии австралийского английского [23]. Можно предполагать поэтому, что необходимость экспрессии, вызванная нуждами истории и культуры, может создать давление, которое приведет к структурным изменениям, и они каким-то образом будут восприняты языковой системой. Но и это утверждение нуждается в проверке.

\*

Язык — зеркало мышления [28]. Язык — зеркало культуры и проводник по социальной реальности [29]. Язык также зеркало истории. Сама за себя говорящая иллюстрация этого положения — история обозначений политической полиции в польском языке.

В тоталитарном и полутоталитарном государстве, подобном "Народной Польше", полиция — государство внутри государства. Язык свидетельствует, что население страны никогда не признавало это государство законным. Наиболее явное проявление это отношение получило в слове *bezpieka* с его недвусмысленными коннотациями мафии и бандитизма.

Но помимо этого и в дополнение к продолжающемуся общему неприятию политической полиции, которое отражается словом *bezpieka*, лексика польского языка отражает важные изменения как реальных обстоятельств, так и отношения к ним.

Язык позволяет следующим образом описать историю отношения к политической полиции в Польше:

*UB, ubowcy* "УБ, убовцы" — коннотации страха, таинственности, ужаса;  
*Bezpieka* "Безпека" — коннотации гнева, презрения, пренебрежения;  
*ubole* "уболе" — коннотации отвращения и пренебрежения;  
*ubeki* "убеки" — коннотации пренебрежения и уменьшительности;  
*ubecja* "убеция" — коннотации снисхождения, презрения и пренебрежения, к которым при-  
соединяется насмешка.

Английский историк Г. Эш [30] обобщил ситуацию в Польше после периода военного положения словами польского поэта "новой волны" — словами, звучащими в унисон с результатами лингвистического исследования, о которых было рассказано в этой статье:

«Польша, такая, как она сейчас, — это оккупированная страна; но это страна людей, которые точно знают, чего они хотят, и которые не откажутся от своей борьбы. Это страна, в которой, как это ни парадоксально, единственные настоящие диссиденты — т.е. те, кто "сидит отдельно" (*dis sedere*) и все еще старается дышать под водой, кто ведет себя дико и составляет меньшинство, — это коммунистические правители».

Мне кажется, что факты языка, проанализированные в этой статье, поразительно созвучны этим словам и что соответствие между историческими оценками и свидетельствами языка еще раз подчеркивает степень надежности данных языка в понимании истории и ее отражения в сознании народа.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Orwell G.* Nineteen eighty-four. L., 1949.
2. *Klemperer W.* Lingua Tertii Imperii. Die unbewaltigte Sprache. Darmstadt, 1946.
3. *Kosciński K.* Словарь русской ненормативной лексики // *RLing.* 1980. V. 5. № 1. P. 136.
4. *Zaslavsky V., Fabris M.* Лексика неравенства — к проблеме развития русского языка в советский период // *RÉSL.* 1982. V. 54, № 3, P. 394.
5. *Halliday M.A.K.* Antilanguages // *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning.* L., 1978.
6. *Słownik języka polskiego.* V. 1—11 / Ed. Doroszewski W. Warszawa, 1958—1969.
7. *Guzy P.* Stan wjątkowy. P., 1968.
8. *Torańska T.* *Oni.* L., 1985.
9. *Michnik A.* Takie czasy... Rzecz o kompromisie. L., 1985.
10. *Walichnowski T.* U źródeł walki z podziemiem reakcyjnym w Polsce. Warszawa, 1980.
11. *Dziewanowski M.K.* Poland in the twentieth century. N.Y., 1977.
12. *Dokumenty.* Wydarzenia marcowe. № 25. P., 1969. P. 139.
13. *Nowakowski M.* Raport o stanie wojennim. II. P., 1983.
14. *Weatherly F.E.* The old brigade. // *Who said what when.* L., 1988. P. 227.
15. *Szpotkański J.* Cizi i gegacze. P., 1973.
16. *Nowakowski M.* Raport o stanie wojennim. I. P., 1982.
17. *Guzy P.* Wielki nieszczęście // *Kultura.* 1982. № 4. S. 45.
18. *Nowakowski M.* Notatki z codzienności. P. 1983. S. 16.
19. *Karpiński J.* Polska, komunizm, opozycja. L., 1985. S. 283.
20. *Wierzbicka A.* Semantic primitives. Frankfurt-am-Mein, 1972.
21. *Wierzbicka A.* *Lingua mentalis.* Sydney, 1980.
22. *Wierzbicka A.* Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.
23. *Wierzbicka A.* Does language reflect culture? Evidence from Australian English // *Language in society.* 1986. V. 15. № 3.
24. *Wierzbicka A.* English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney, 1987.
25. *Wierzbicka A.* The semantics of grammar. Amsterdam, 1988.
26. *Schuchardt G.* On sound laws (1895) // *Schuchardt, the neogrammarians, and the transformational theory of phonological change.* Frankfurt -am-Mein, 1972. P. 54—63.
27. *Wierzbicka A.* Semantics and culture. N.Y., 1992.
28. *Leibniz G.W.* New essays concerning human understanding (1749). La Salle, 1949. P. 368.
29. *Sapir E.* The status of linguistics as a science (1929) // *Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality.* Ed. by Mandelbaum D. Berkley, 1949. P. 162.
30. *Garton Ash T.* The Polish revolution: Solidarity 1980—82. L., 1983. P. 304.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### РЕЦЕНЗИИ

**Ферм Л. Выражение направления при приставочных глаголах перемещения в современном русском языке. К вопросу префиксально-предложного детерминизма.** Uppsala; Stockholm: Almqvist och Wiksell International, 1990. 184 с.

И выражение направления, и приставочные глаголы перемещения уже неоднократно были предметом внимания русистов. И тем выше заслуга автора книги, прекрасно изучившего имеющуюся научную и методическую литературу и сумевшего преодолеть некоторые стереотипы, получившие статус устоявшихся научных истин.

Один из них состоит в том, что приставка при глаголе перемещения предопределяет предложно-падежную форму имени, управляемого таким глаголом. Если *вы-*, то *из...*, если *под-*, то *к...*, если *от-*, то *от...* и т.д. Справедливое лишь для тех случаев, когда имя дублирует указание на направление, представленное в глаголе, это положение выступает в ряде теоретических исследований и практических пособий по русскому языку как жесткий префиксально-предложный детерминизм<sup>1</sup>. В монографии на основе анализа большого количества разнообразных примеров убедительно показано, что направительное значение приставки оставляет открытым весьма разнообразный круг позиций для предложно-падежных форм: например, *выходить* не только *из дома*, но и *в поле*, и *на поляну*, и *к гостям*, и *от приятеля*, и *из-под навеса* и т.д.

Отказавшись от идеи префиксально-предложного детерминизма, Л. Ферм разрушает еще одну предвзятость, укоренившуюся и в теоретической русис-

тике, и в особенности в практике преподавания русского языка как иностранного. Речь идет о понятии "глаголы движения". Под последними принято понимать те около полутора десятков непроемных глаголов несовершенного вида, подвергающихся как суффиксации, являющейся обычной лишь для глаголов совершенного вида (*бросить* — *бросать*, *тащить* — *тащить* или *узнать* — *узнавать*, *плыть* — *плавать*), так и префиксации, которая, в отличие от "обычных" глаголов, не вызывает изменения видовой принадлежности (*толкать* — *вытолкать*, *возить* — *вывозить* или *знать* — *узнать*, *носить* — *уносить*). Не случайно, что "глаголы движения" принято рассматривать в связи с категорией глагольного вида, ставя на первый план не семантические свойства глаголов, а нестандартные изменения их грамматических свойств в связи с семантической модификацией при помощи словообразовательных средств.

Л. Ферм, на мой взгляд, абсолютно права, отказываясь сделать принципом выделения интересующего ее класса глаголов вторичные грамматические свойства производных. Под "глаголами перемещения" (термин более определенный, чем "глаголы движения") автор понимает "... глаголы, в состав семантических валентностей которых входят три семантические валентности перемещения: начальной точки, конечной точки и пути..." (с. 35).

В принципе полностью поддерживая такой взгляд автора, не могу, однако, не пожалеть об отсутствии в книге полного списка тех глаголов, точнее их лексико-семантических вариантов, ко-

<sup>1</sup> Под префиксально-предложным детерминизмом понимается выводимость предложно-падежной формы зависимого существительного из морфемной структуры префиксального глагола.

торые удовлетворяют данному автором определению.

Книга построена очень логично. Отказавшись от спорной идеи префиксально-предложного детерминизма и показав относительную независимость между префиксом глагола перемещения и формой предложно-падежного распространителя, автор решил показать область варьирования приставочного распространителя при фиксированной предложно-падежной форме. Считаю необходимым подчеркнуть, что такая постановка вопроса, будучи совершенно нетрадиционной, отражает реальные перспективы развертывания речевой цепи, и именно это делает рецензируемую книгу особенно ценной.

Автор делит все направительные глагольные приставки по семантическому основанию на четыре группы: аллативную (куда?), аблативную (откуда?), аллативно-аблативную (куда—откуда?) и перлативную (через что?). Это деление позволяет понять, какая из семантических групп приставок может модифицировать глагол, после которого выступает заданная предложно-падежная форма. Сведения о том, какие именно приставочные глаголы перемещения выступают после определенной формы предложно-падежного распространителя, и составляют основную часть книги.

Нестандартный поворот проблемы, подготовленный глубоким теоретическим осмыслением понятий "префиксально-падежный детерминизм", "глаголы перемещения", "семантическая типология направительных модификаций", дает богатый материал, имеющий не только теоретическую, но и практическую ценность, особенно для преподавания русского языка как неродного.

Теоретическая значимость результатов, полученных Л. Ферм, состоит, на мой взгляд, прежде всего в том, что преодолен шаблонный взгляд на языковые факты, реализован последовательно и профессионально новый подход к материалу. Очевидно, что автор, предложивший нестандартное и обоснованное решение проблемы, всегда открыт для критика, также готового вслед за автором предложить нетрадиционные подходы к материалу. Почему Л. Ферм построила свое описание от предложно-падежной формы к приставочному глаголу, а не в обратном направлении? Наверное, описание и "от глагола" было бы также весьма важным как в

теоретическом аспекте, так и для практики обучения русскому языку как неродному, особенно для обучения активным видам речевой деятельности, при которых точкой отсчета является обычно именно глагол. Не вдаваясь в обсуждение несколько схоластического общего вопроса о том, что лучше, "от предложно-падежной формы" или "от глагола", хочу заметить, что убедительный, а не гипотетический ответ на такой вопрос в каждом конкретном случае можно получить лишь при наличии обоих описаний.

В своей книге автор идет от предложно-падежной формы, способной подчас иметь разные значения, к приставочным глаголам, направительная семантика которых распределена всего по четырем типам. Иными словами, форма (и имени, и глагольной приставки) выступает как ограничитель семантической ясности. Почему автор не пошел от определенного значения предложно-падежной формы к четко заданному направительному значению глагола (или в противоположном направлении, о чем см. выше)? Ведь такая постановка вопроса оказалась бы более приближенной к активному речевому акту, состоящему в "оформлении" соответствующего мыслительного содержания. В таком случае, разумеется, возник бы также очень трудный и очень важный — и практически, и теоретически — вопрос о том, какие именно глаголы и с помощью какой именно приставки могут быть модифицированы по заданному параметру. Тогда бы особенно пригодился и уже упоминавшийся исчерпывающий список глаголов перемещения. Не менее интересно было выявить и поведение справедливо выделяемых автором семантически сходных с глаголами перемещения некоторых других групп глаголов.

Разумеется, все эти предложения никак не могут рассматриваться как укор исследователю. Напротив, смелая постановка вопроса, предложенная Л. Ферм, позволяет мечтать о большем: об отказе от сугубо классификационных и смешанных формально-семантических интерпретаций, о замене их семантически ориентированными процедурами построения формальных структур.

Привлекательность книги Л. Ферм создается не только тем, что она построена на четких, ясных основаниях,

логично и нестандартно ориентирована, но и тем, что автор выступает как глубокий лингвист-теоретик, суждения которого, например, о типах валентности имеют самодовлеющую ценность. В этих условиях особенно огорчительно, что автор не пользуется методикой компонентного анализа при рассмотрении значений русских глагольных приставок. Справедливости ради замечу, что эта методика, столь успешно рекомендовавшая себя в лексикологии, вообще не применяется при описании значений русских морфем и дериваторов. (Не еще ли одно доказательство инерционности в подходе исследователей к материалу?)

Выводы и наблюдения автора не вызывают сомнений не только благодаря логичности рассуждений и ясности из-

ложения: впечатляет и огромный фактический материал, тщательно подобранный и скрупулезно интерпретированный. Сомнительна лишь интерпретация некоторых глагольных образований как приставочных, например, *соскочить* (с. 40), *ссадить* (с. 55). На наш взгляд, соответствующие глаголы, членясь на приставку и корень, не являются производными.

В заключение нельзя не подчеркнуть, что рецензируемая книга — не только полезный источник нетривиальных сведений о русских глаголах перемещения, но и яркий показатель принципиальной для русистики мысли о многочисленности тех углов зрения, под которыми мы еще никогда не рассматривали казалось бы хорошо известные факты.

*Милославский И.Г.*

*Puhvel J. Hittite etymological dictionary. V. 1: Words beginning with A; V. 2: Words beginning with E and I. Berlin; New York; Amsterdam: Mouton Publishers, 1984. 504 p.; V. 3: Words beginning with H. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1991. 461 p.*

За последние полстолетия было предпринято немало попыток составления этимологических словарей хеттского языка, начиная от словаря А. Жюре [1] и кончая не завершенным еще словарем Й. Тышлера [2]. Эти словари, однако, не основывались на достаточно глубоком филологическом исследовании хеттских текстов и не отличались, в основной своей части, критическим подходом к этимологии исследуемых слов.

Рецензируемый Этимологический словарь хеттского языка Я. Пухвела (словарь рассчитан на шесть—семь томов, из которых в настоящее время вышло только три) содержит одновременно и анализ слов, значение которых еще в достаточной мере не установлено или спорно, в том числе и гапаксы, и особенности их морфонологии, и, наконец, непосредственно этимологию соответствующих слов. В большом количестве случаев автор предлагает свои собственные этимологические интерпретации, причем каждая статья Словаря — это самостоятельный лингвистический этюд, включающий критическую оценку предшествующих этимологических решений (специальная этимологическая

литература представлена при этом с исключительной акрибией и полнотой). С другой стороны, рецензируемый словарь отличается исчерпывающей полнотой словника, хотя это и не является его основной целью. В тех случаях, когда этимологическое решение кажется автору не совсем определенным, обсуждение начинается обычно с наименее вероятных возможностей и оканчивается изложением наиболее престижных этимологий. В случаях, когда автор считает этимологию полностью установленной, она обычно дается в самом начале статьи, а затем приводятся менее вероятные этимологические решения, представленные в специальной литературе, причем тщательно взвешиваются все *pro* и *contra*. Отличительной чертой рецензируемого словаря, выгодно отличающей его от многих этимологических словарей различных и.-е. языков, является то, что автор использует лингвокультурологическую и мифологическую символику при этимологизировании, хотя делается это далеко не во всех случаях, где такую символику можно было бы с пользой применить (Я. Пухвел является автором курса сравнительной мифологии индоевропейских наро-

пов [3]). Важной особенностью словаря Я. Пухвела следует признать и то обстоятельство, что каждая словарная статья в нем (в отличие от существующей практики) начинается с контекстов, в которых встречается рассматриваемое слово, что дает возможность читателю наглядно представить себе весь семантический спектр анализируемой лексемы.

Таким образом, впервые в истории хеттского языкознания Я. Пухвел предлагает своеобразную энциклопедию хеттской этимологии, которую с полным правом можно поставить в один ряд с такими шедеврами этимологической мысли, как "Сравнительный словарь готского языка" З. Файста [4], который по технике исполнения и глубине анализа не имеет себе равных и в свое время по достоинству был назван "словарем века". Вполне естественно, однако, что в рамках одного словаря даже такого высокого уровня, как словарь Я. Пухвела, невозможно было решить все проблемы хеттской этимологии: ряд этимологических решений не отличается от содержащихся в более ранних этимологических словарях хеттского языка, в отдельных случаях этимология хеттских слов вообще отсутствует в связи с тем, что в и.-е. языках невозможно найти им соответствия, а также в связи с фонетическими и морфологическими трудностями. Следует отметить, что автор довольно часто пытается объяснить "заимствованиями" слова, трудно поддающиеся этимологизированию. С другой стороны, в словаре Я. Пухвела дается в основном "одномерная" этимология: автор не использует методы множественной этимологии, которая в последнее время успешно применяется в специальных исследованиях, и не устанавливает этимологических гнезд и этимологических парадигм (см. работы В.Н. Топорова). Все это, однако, никак не влияет на самую высокую оценку рецензируемого словаря, который по сравнению с другими этимологическими словарями и.-е. языков следует признать образцовым.

Обратимся непосредственно к тем словам в словаре Я. Пухвела, которые либо не имеют никакой этимологии, либо допускают этимологическую интерпретацию, отличную от приводимой в рецензируемом словаре.

1. Хеттское слово *ark* "coire" соот-

носится с и.-е. \**erg-* "good, proper, genuine". Ср. семасиологические параллели: др.-сев. *serða* "geschlechtlichen Umgang haben", но лат. *certus* "true, sure"; лат. *tes-ticulus* "Hoden", но литов. *tiesūs* "Wahrheit", др.-англ. *ge-taese* "passend" + др.-англ. *tiohh* "род"; ст.-слав. *ucto* "scrotum", но русск. *устинный*, др. англ. *teors* "penis", но литов. *týras* "rein, sauber, klar"; греч. *ἐπίστος* "echt", но др.-англ. *pumle* "Eingeweide". С другой стороны, хет. *ark* "coire" можно соотнести с ирл. *erc* "небо" (небо как порождающее начало, как источник вечной смены): ср. типологически: хет. *šamu* "небо", но лат. *semen* "семя"; ср. также: литов. *debess* "небо", но исл. *dubba* "женщина", валл. *wybr* "небо", но нем. *Weib* "женщина"; ирл. *spëir* "небо", но лат. *sper-ma* "семя".

2. Хеттское слово *idalu* "плохой, больной" можно соотнести с др.-англ. *ides* "женщина" + \**Hel-* > \**kel-* (ср. тох. А *kuli* "женщина": женщина как олицетворение всего земного, тленного, злого; ср. \**ed-* < \**Hed-* < \**ked-*, \**kad-* "evil" + \**el-* "vernichten, verderben": ср. арм. *etefn* "Unglück", англ. *ill* "зло"). Ср. семасиологические параллели соотношения значений "женщина" > "зло": нем. *Weib* "женщина", но нем. *Übel* "зло"; тох. А *kuli* "женщина", но русск. *зло* (и.-е. \**kel-*); др.-сев. *dis* "женщина", но и.-е. \**dus-* "плохой"; и.-е. \**sor-* "женщина", но \**šer-* "осквернять, гадить"; др.-сев. *skorð* "женщина", но англ. *hurt* "повредить"; лат. *femina* "женщина", но лат. *fames* "голод" (> "смерть"); и.-е. \**gen-* "женщина": \**sken(d)* "spalten, reissen" > \**kad-* "evil"; лтш. *merga* "girl", но русск. *мерзкий*.

Возможно, однако, что рассматриваемое хеттское слово соотносится с др.-англ. *ede* "gretx" (> "progenies"). Дальнейшее развитие: "член своего рода" > "свой, знакомый" > "обычный, привычный" > "заурядный" (значение "род" в свою очередь соотносится со значением "гореть" > "рожать" или со значением "кость"): ср. тох. А *kärpi* "заурядный" (ср. англ. сленг *cornu* "заурядный", но осет. *kuryн* "рожать"; англ. диал. *mogen* "заурядный", но нем. *schmähen* "позорить" (ср. и.-е. \**mog-* "огонь"; герм. \**tag-* "родной"); др.-англ. *tudor* "потомство", но русск. *стыд* (ср. русск. *стыдуть* < "нагревать"); англ. *kinyal* "заурядный", но англ. *kin* "родной" (относительно второй части этого слова ср. лат. *alere* "кормить");

нем. *Geschlecht* "род" (ср. др.-англ. *lieg* "огонь"), но нем. *schlecht* "плохой"; др.-инд. *kula* "род", но др.-англ. *hōlian* "оклеветать", и.е. \**kel-* "обманывать", русск. *хулить*; русск. *племя* (\**pel-men* < \**pel-* "brennen" > "gebären"), но лтш. *pel̃t* "позорить"; гот. *frasis* "потомок", но англ. *frost* "мороз" (типологически ср. приведенные выше примеры: русск. *студить*, но *стыд*, а также русск. *мерзнуть*, но *мерзкий*). В случае, если первую часть рассматриваемого хеттского слова соотносить с др.-англ. *ede* "ггех", вторую его часть можно сопоставить с хет. *ara-* (< \**al-*) "belonging (or proper) to one's own social group, communally accepted or acceptable, congruent with social order". С рассматриваемым хеттским словом можно также сравнить нем. *edel* "благородный" (относящийся к своему роду), др.-англ. *oedel* "Landgut" (участок земли, занимаемый родом) и, наконец, хет. *idil* "heir"<sup>1</sup>.

3. Хеттское слово *illyanka-* "змея" можно сопоставить с композитумом, состоящим из хет. *ilu(m)* "бог" [ср. хет. *ila(n)* "лестница"<sup>2</sup> — символ связи нижнего, среднего и верхнего миров] + др.-инд. *anghu-* "Вселенная" (понятие "мировая змея").

4. Хеттское слово *hattant-* "wise" соотносится с и.е. \**ke(n)d-*, \**ken(d)-* "знать", а также \**gen-* "рожать" + нем. диал. *anden* "знать заранее, предчувствовать" (ср. \**and-*, но русск. *удь* "penis"): согласно древним поверьям центр деторождения находился в голове. Типологически ср. русск. *мысль* < \**moud-slō* "penis"; гот. *hugi* "разум", но \**kūk-* "vulva"; русск. *ум*, но др.-русск. *удь* "penis" + \**me(k)-* "творить, создавать, рожать" (но также "думать, понимать": ср. др.-англ. *sméagan* "думать", русск. диал. *мекать* "понимать"), греч. *στόμαχος* "понимать", но англ. *stock* "род", др.-инд. *tok-man-* "семя"<sup>3</sup>.

С другой стороны, хет. *hattant-* "wise" можно соотносить с комплексом: др.-сев. *skeið* "время" + пали *addha(n)* "время"

(время как высший, божественный Разум); ср. семасиологические параллели: хет. *mehur* "время", но русск. диал. *мекать* "понимать", русск. *смекалка* + и.е. + *cer-* "верх" (букв. "высший разум", ср. также: и.е. \**cer-men* "время"); др.-сев. *skeið* "время", но ирл. *cennd* "разум", гот. *handug:* "умный"; осет. *dug* "время", но нем. *denken* "думать" (ср. ирл. *tuigim* "понимать"); др.-инд. *mati-* "разум", но литов. *mėtas* "время"; алб. *kohë* "время", но гот. *hugi* "разум"; др.-англ. *sið* "время", но дат. *sind* "разум", литов. *sintėti* "понимать"; тох. А *preke* "время", но др.-англ. *feorh* "душа, разум".

5. Хеттское слово *ilessar, elassar* "sign, portent" соотносится с алб. (*h*)*yll* "звезда", ср. др.-сев. *heill* "предзнаменование". Ср. семасиологические параллели: лат. *omen* "предзнаменование, знамение", но др.-инд. *udu* "звезда" + суф. *-men*; хет. *senas* "образ, знамение" < \**sed-* (лат. *sidus* "звезда") + суф. *-ne*; хет. *tar-pella* "образ", но англ. *star* "звезда" + англ. *spell* "чары".

6. Хеттское слово *iskis* "спина" следует, как нам представляется, соотносить с хет. *ishamai* "песня". Согласно представлениям древних индоевропейцев, все, что находится перед глазами, воспринимается зрением, а все, что находится сзади (т.е. невидимое), воспринимается слухом. Соответственно слова со значениями "зад; спина" соотносятся со словами, имеющими значение "звук; слово; ухо, слышать"; ср. семасиологические параллели: др.-англ. *gelodu* "Rückenwirbel", серб.-хорв. *leda* "спина", но др.-англ. *leoð* "Gesang"; др.-инд. *sani-* "back", но лат. *sonus* "звук"; русск. *звон*, но русск. *по-звонок*<sup>4</sup>.

7. Хеттское слово *auli* "селезенка" соотносится с ирл. *uar*, валл. *oer* "холм". Ср. семасиологические параллели: лат. *iesur* "селезенка", но др.-сев. *jokull* "кусочек льда", авест. *aexa-* "лед"; болг. диал. *зима* "селезенка"; рум. диал. *iarna* "селезенка свиньи", но также "зима" (подробнее см. [6]).

8. Хеттское слово *eshar* "кровь" (соответствующий корень представлен и

<sup>1</sup> Ср. также др.-англ. *sweoðal* "Feuer, Brand".

<sup>2</sup> В типологическом плане интересно сопоставить также осет. *asin* "лестница", но др.-англ. *as*, др.-сев. *qss* "бог". Отметим, что лестница считалась также символом мирового Разума.

<sup>3</sup> Ср. еще: русск. *думать*, но др.-инд. *damah* "Genitalia". С хет. *hattant-* ср. еще др.-англ. *scēappan* "testicles".

<sup>4</sup> С рассматриваемыми хеттскими словами *iskis* "спина" и *ishamai* "песня" следует еще сопоставить: хет. *esha* "хозяин" (бог), англ. диал. *esk* "ящерица", "змея" (мировая змея), хет. *esko* "быть, становиться, превращаться" (понятие звука соотносилось с понятием божественного сотворения Вселенной [5]).

в некоторых других и.-е. языках) соотносится с хет. *essa-* "do, make" + и.-е. \**ker-* "делать, совершать (сакральное действие)". Ср. семасиологические параллели: нем. *Blut*, англ. *blood*, но англ. диал. *blute* "(сакральное) действие"; др.-ирл. *fuil* "кровь", но и.-е. \**uel-/uer-* "совершать, делать"; осет. *tug* "кровь", но гот. *tiuhan* "тянуть" (> "делать").

9. Хеттское слово *alpa-* "облако" соотносится с нем. диал. *Lab* "корова" (имеется в виду небесная священная корова). Типологически ср. англ. диал. *higgs* "white cumuli", но др.-инд. *gauh* "Rind"; лтш. *makiona* "облако", но болг. диал. *мака* "скот"; швед. *moln* "cloud", но др.-сев. *mali* "Kleinvieh". Следует отметить, что значение "облако" может также соотноситься со значением "ком; твердая масса": ср. др.-инд. *ghana-* "облако", но также "ком; твердая масса"; англ. *cloud* "облако", но англ. *clod* "ком"; др.-инд. *nabh-* "облако", но англ. диал. *nab* "ком".

10. Хеттское слово *arma-* "луна" восходит, как нам представляется, к и.-е. \**erm-*, \**ermen-* "раздутый, огромный (о фазах луны)": ср. др.-инд. *arman*, *arana* "опухоль (вздутие) глаз", др.-англ. *eorman-*, др.-сев. *jortun-* "большой, огромный", литов. *ermas* "великан, чудовище". С другой стороны, к тому же корню следует отнести и хет. *arma(n)*, *erma(n)* "болезнь" (ср. нем. *arm* "бедный"). Дело в том, что слова со значением "большой" (< "раздутый") нередко соотносятся со словами, имеющими значение "боль, болезнь": типологически ср. др.-англ. *eaetan*, гот. *aukan* "увеличиваться", др.-англ. *use* "лягушка" (букв. "раздутая"), но англ. *ache* "боль", лат. *aeger* "больной", тох. А *ekro* "больной"; русск. *большой*, но русск. *боль, болезнь*; и.-е. \**mel-* "большой", но лат. *malum* "страдание"; литов. *daugs* "большой", но русск. *недуг* (отрицание в этом слове обусловлено табу, как в русск. *невод, несчастье*); лтш. *liels* "большой" (< \**leig-lo*), но и.-е. \**leig-* "больной"; и.-е. \**kut-* "большой, сильный", но др.-англ. *соби* "болезнь".

Известно, что в древности луна считалась символом смерти и местом пребывания душ умерших: ср. хет. *arma-* "луна", но и.-е. \**al-/el-* + \**men-* "душа"; типологически ср. англ. *moon* "луна" (< \**men-*), но лат. *manēs* "души умер-

ших"; греч. *σελήνη* "луна", но нем. *Seele* "душа"; ср. еще: др.-инд. *udu* "звезда", но осет. *udd* "душа"; др.-сев. *tungl* "луна", но русск. *дух, душа*.

Вместе с тем к тому же корню, что и хет. *arma* "луна" и *arma(n)* "болезнь", относится и хет. *armai* "быть беременной" (букв. "быть распухшей, раздутой"): следует иметь в виду, что луна считалась символом деторождения. Типологически ср. др.-сев. *tungl* "луна", но др.-сев. *lungud* "беременная". Интересно, что значение "больной" может соотноситься и со значением "огонь" (букв. "опаленный, испорченный огнем"). Ср. др.-сев. *eldr* "огонь", но русск. диал. *леда, ляда* "болезнь"; и.-е. \**leig-* "больной", но др.-англ. *lieg* "огонь"; англ. *sick* "больной", но осет. *suzyr* "гореть" (ср. литов. *sunkinga* "беременная"); др.-англ. *bel* "огонь", но *bealo* "зло"<sup>6</sup>.

11. Хеттское слово *antu (wa)hha-* "man, human being, person" представляет собой сложное слово, отдельные части которого соответственно восходят к \**and-* "один" + \**cek-* "мокрый" ("мировая река" — центр Вселенной). В отношении последнего элемента следует иметь в виду, что значение "мужчина" часто соотносится со значением "мочить, опрыскивать (семенем)": ср. хет. *hassis* "male", но серб.-хорв. *kiša* "дождь" (ср. хет. *has* "beget, bear"); ср. также греч. *κοσμος* "Вселенная"; и.-е. \**ars-* "мужской", но и.-е. \**uer-*

<sup>6</sup> Ср. также хет. *inan-* "болезнь", но лат. *ignis* "огонь" (\**ig-* *na-*). К тому же корню относятся русск. *иной* (о переходе значений "огонь" — "другой" см. [6, с. 143]), хет. *ig* "дверь". Следует иметь в виду мифопоэтическую символику двери — врата потустороннего мира, а также наименее защищенное место здания, открывающее доступ к внешнему (враждебному) миру, создающее опасность. В этой связи следует указать на др.-сев. *qnd* "porch, door" и др.-сев. *ond* "злой" (этот корень можно усматривать в первой части хет. *antu(wa)hha-* "мужчина, человек" ("бренный; дурной, плохой"). Хеттское слово *ig* "дверь", указанное выше, соотносится с и.-е. \**eg-* "Mangel, Elend, Not". Ср. типологически: хет. *arasa-, arasi-* "door", но хет. *arsana-* "be angry"; хет. *aska* "дверь", но хет. *iski* "спина" [в отличие от передней стороны, задняя сторона считалась неблагоприятной и связывалась с нечистой силой (дьявол обычно подкрадывается сзади); ср. еще: лат. *tergum* "спина", но хет. *istark(iya)-* "to turn ailing, become sick"]; лат. *portus* "дверь, ворота", но русск. *портумь*; англ. *door*, нем. *Tür* "дверь", но русск. *дурь, дурак*.

<sup>5</sup> Ср. еще: англ. диал. *helk* "large white clouds", но англ. диал. *helk* "ком; куча".

"мокрый" (ср. др.-инд. *is-* "flow"), ирл. *fer-* "мужской"; др.-англ. *waepen* "мужской", но тох. А *wip* "жидкий, мокрый" (ср. ирл. *wubr* "небо"); др.-инд. *nar-* "человек, мужчина", но др.-инд. *na-ra-* "жидкость". Второй элемент рассматриваемого хеттского слова *antu* (*wa*) *hha-* "мужчина, человек" можно еще сопоставить с др.-англ. *use* "лягушка" (земноводное как центр Вселенной), а первый элемент — с хет. *adda-* build, frame (of a body)", а также осет. *idd* "душа", др.-русск. *удъ* "penis".

Первый элемент рассматриваемого выше хеттского слова восходит к и.-е. *\*(H)and-* "разрезать пополам; разрезать пополам; средине": ср. лат. *centrum* "средине; центр окружности", греч. *κεντρον* "остроконечная палка, которой погоняли лошадей"; др.-в.-нем. *hantag* "острый", греч. *ἴθωρ* "живот, середина (микрокосма)", ирл. *in-athar* "Eingeweide", ср.-в.-нем. *ader* "Eingeweide" (типологически ср. русск. *пузо*, но лтш. *pus* "средине").

Интересно что слова, означающие "средине" могут соотноситься не только со значением "Мироздание" (микро- и макрокосмы), но и со значением "насекомое" (символ Вселенной): ср. соотносимые с рассматриваемым выше хеттским словом: англ. *ant* "муравей", др.-англ. *ent* "великан" (антропоморфная модель микрокосма). Типологически ср.: осет. *gumir* "giant", русск. *кумир* [ср. ново-греч. *κοιρμι* "ствол дерева": возможен композитум, который составлен из корней, представленных лтш. *kuòks* "дерево" + арм. *mair* "ель" — мировое дерево; возможен также композитум: осет. *kom* "рот" (= "vulva" [6, с. 51]) + лат. *\*er(g)-* "penis"; типологически ср.: греч. *ἰδωλῶν* "coire", но лтш. *ēlks* "идол", но русск. *кумар*. русск. *пол*, *половина*, но лат. *pulex* "блоха"; лтш. *pus* "половина; середина", но англ. *pis-tire* "муравей": относительно второй части этого слова ср. арм. *mair* "ель" (мировое дерево), русск. *мир* (Вселенная), перс. *diwek* "муравей", но лат. *deus* "бог"; англ. *bug* "жук", но русск. *бог*. С элементом *\*(H)and-* рассматриваемого хеттского слова можно сопоставить еще греч. *αἰδοῖον* "penis"; хет. *hatr(essar)* "порядок" (в отличие от хаоса) — по Стертеванту.

Значение "средине", которое представлено в рассмотренном выше хеттском слове со значением "человек, мужчина", соотносится также со зна-

чениями "(божественное) время" (ср. пали *addha-* "время"), а также цветения, расцвета природы (ср. греч. *ἄνθος* "цветок"). С другой стороны, значение "средине" может соотноситься со значением "пуп" (ось Вселенной), которое в свою очередь может быть связано со значениями "святость; судьба", а также "сексуальность". В этой связи показательно хеттское слово *aaba* "море" (мировая река), которое не приводится в словаре Пухвела, но зарегистрировано в списке Стертеванта [7]. Это слово восходит к тому же корню, что и *\*and-*, но с вариантным детерминативом *b*. Ср. в этой связи кельт. *amb* "время", и.-е. *\*ombh-* "пуп; середина", др.-инд. *ambu* "вода" (первоэлемент Вселенной), валл. *oabl* "небо", ирл. *amp* "облако; небо". С другой стороны, ср. англ. *womb* "матка", др.-в.-нем. *imbe* "рой пчел", греч. *οἶφω* "coire"<sup>8</sup>. Ср. с преформантом: др.-инд. *nabhi* "пуп", а с другой стороны, ирл. *noib* "святой", др.-перс. *naiba* "красивый". В качестве семасиологической параллели можно указать на русское слово *пуп*, которое восходит к и.-е. *\*pes-~~pe~~* ср. лтш. *pus* "половина; середина", но и.-е. *pes-* "coire"). Вместе с тем русское слово *пуп* можно соотносить и с и.-е. *\*penk-* "пять" (символ центра, средине) в удвоенной форме *\*pen(k)-~~pen(k)~~* (типологически ср. подобное же удвоение в форме числительного *\*rewn* "девять"). Ср. лтш. *spēks* "сила, мощь, божественная сила", тох. А *puk* "верить", а также тох. А *pukāl* "год" (время), где элемент

<sup>8</sup> Единича как олицетворение человека в качестве микрокосма. С другой стороны, единица была символом мирового древа, стоявшего в середине мироздания (единича как символ средине) Важно также принять во внимание и.-е. *\*andh-* "душа, дыхание". Интересно и и.-е. *\*nāhos* "vessel, container" (литов. *iñdas*): речь идет о теле как оболочке души. Относительно связи значения "единича" со значением "человек" ср. греч. *ἄνθρωπος* "человек", но англ. *man*, нем. *Mann* "человек"; лтш. *kailis* "один, одинокий", но др.-англ. *haeleþ* "человек", и.-е. *\*sem-* "один", но *\*ksem-* > *\*kem-* > *homo* "человек". С и.-е. *\*(H)and-* следует сопоставить также: хет. *hantezzis* "первый", хет. *handas* "набожный, почитающий бога", греч. *ἄνθρωπος* "загробный мир, царство теней", осет. *qād* "дерево" (как вместилище душ умерших).

<sup>9</sup> Ср. еще хет. *a-impa* "burden, weight".

\*-kāl соотносится с др.-инд. *kala-* "время", а первый элемент (\*pek-) — с др.-англ. *fæce* "промежуток времени". С корнем \*pek- соотносится еще др.-англ. *spæcan* "говорить" (Логос-Вселенная), а также форма с инфиксом — др.-англ. *spæcan* "говорить" (ср. тох. А *preke* "время"). К форме \*pen(k)-p (enk) относятся и др.-англ. *ffifel* "великан" (антропоморфный образ Вселенной), др.-сев. *fimbul* "сильный, могучий". Элемент \*pek-/\*bhek- выступает и в валл. *boghail*. Ср. т. *bogei* "пун". Ср. также др.-инд. *bh ga-* "вулва", \*bhag- "счастье, благо".

Со значением "середина" соотносится еще и значение "мед", считавшийся напитком бессмертия (вечности) и олицетворением мирового Разума: ср. лат. *mediale* "середина, сердцевина", др.-англ. *midd* "средний", но русск. *мед* (ср. лтш. *mētis* "время", а также др.-англ. *smēad* "умный"). Весьма интересна этимология англ. *honey*, нем. *Honig* "мед". Ср. \*kō(n)k-ag < алб. *kohë* "время" + авест. *anghu-* "Вселенная". Вместе с тем ср. лтш. *kuods* "дерево" (мировое дерево, середина Мироздания) + \*ag- "дуб". С другой стороны, ср. нем. *kähn* "умный" + гот. *ahi* "разум". Интересно сопоставить также хет. *lal* "мед" < \*lek-, \*leg- (ср. хет. *legan* "middle, body-entrails", др.-инд. *loka-* "Вселенная") + \*el-, \*il- "бог".

12. Учитывая, что металл в древности имел фаллическую символику, хеттское слово (*hapalki* "железо" можно истолковать как композитум (парное слово), состоящий из хет. *hapus* "penis" (ср. др.-сев. *skapinn* "penis") + греч. *λεῖκος* "coire". Типологически ср. лат. *ferrum* "железо" (< \*dher-) но др.-англ. *feors* "penis"; ирл. *cadam* "железо", но греч. *αἰδοῖον* "penis", др.-инд. *kirya-* "медь", но др.-сев. *skapinn* "penis"; лат. *metallum* "металл", но лат. *mentula* "penis"; русск. *руда*, но *родить*; др.-англ. *ār* "руда" (совр. англ. *ore*), но осет. *арун* "родить" (подробнее см. [8])<sup>9</sup>.

13. Весьма интересно спорное хеттское слово *halki* "grain, stor, grain-stor, barley". Если учесть, что последний сног зерновых культур было принято "убивать" и "хоронить", поскольку считалось, что в нем находится "дух хлеба",

который мог принести разнообразные несчастья ("дух хлеба", но поверьям язычников, мог переселяться также в человека, в животных), вполне правомерным представляется соотношение первую часть хеттского слова *halki* "corn" — *hal-* — с прусск. *gallan* "смерть", а вторую — с хет. *ak(k)* "умирать". Первая часть этого слова соотносится вместе с тем и с др.-инд. *kala-* "(абсолютное, божественное) время, вечность" (хет. *hala-* "период времени"). Считалось, что смерть "хлебного духа" имеет следствием бурный рост хлебов (ср. англ. диал. *cleck* "родить"). Ср. также в типологическом плане: др.-инд. *dhana-* "corn" (\*dheg-na), но др.-сев. *degja* "умирать" (ср., кроме того, русск. *дух, душа*). Рассматриваемое хеттское слово *halki* соотносится с ирл. *scal* "ghost". Типологически ср. еще греч. *ἄρτον* "хлеб", но англ. диал. *scrat* "злой дух". Следует также сопоставить др.-инд. *dhana-* "corn", литов. *duonas* "хлеб" с и.-е. \*daunos "зверь" и ирл. *den* "человек". Вторую часть хеттского слова *halki* можно также сравнить с гот. *ah-ma* "дух". Типологически ср.: лат. *panis* "хлеб" < *pek-na*, но англ. диал. *puck* "злой дух", англ. *spook* "злой дух". Ср. еще: лтш. *brīnums* "волшебство, колдовство" < \*bhred- (ср. др.-англ. *bledu* "Spelt", но также англ. *breath* "дыхание") + ирл. *nem*. Ср. также хет. *harsi* "хлеб; зерно", но лтш. *gars* "душа".

Следует также учесть распространенный обряд завивания бороды богу или другому мифологическому существу ("житному делу"): на поле оставляли несжатый небольшой пучок колосов, который посвящали богу, объявляя эти колосья его бородой. В этой связи с рассматриваемым хеттским словом *halki* можно сопоставить литов. *kailis* "волосы, мех". Типологически ср.: арм. *hačar* "spelt" (\*Hed-), но русск. *щетина*; литов. *duonas* "хлеб" (\*dub-na), но англ. *stubble* "щетина на лице (у мужчин)"; лат. *granum* "corn", но алб. *krande* "борода", др.-в.-нем. *grana* тж.<sup>10</sup>

Вместе с тем значение "волос" (символ связи "трех миров" Вселенной) соотносится со значением "время" (символ

<sup>9</sup> Ср. также: литов. *keris* "чугун", но др.-англ. *scæfpan* "testiculi". Относительно соотношения сакрального и фаллического ср. хет. *itēn* "первый" (единица как символ Вселенной); др.-русск. *исто* "testiculus" (ср. русск. *истинный*).

<sup>10</sup> С хет. *halki* можно также сопоставить русск. *холка, челка, хо-хол*. Типологически ср. также: русск. *ус*, но русск. *овес* (и.-е. \*eus- "гореть": ср. постоянный эпитет бороды "огненная").

Вселенной, вечной смены жизни и смерти): ср. лтш. *māis* "волосы", но лтш. *mēis* "время"; др.-сев. *grqñ* "борода", но греч. *χρονός* "время"; алб. *mjekre* "борода", но хет. *mehur* "время"; др.-англ. *fāx* "волос", но др.-англ. *fāce* "время"; русск. *щетина*, но др.-сев. *skeið* "время", ср. также распространяемое хеттское слово *halki* с валл. *cyrch* "центр, середина". Типологически ср. гот. *hlaibs* "хлеб", но нем. *Halb* "половина, середина"; греч. *ἄρτον* "хлеб", но др.-инд. *ardhá-* "половина, середина". С хет. *halki* следует также сопоставить и.-е. *\*krekas* "период времени". Типологически ср. др.-англ. *gipe* "hair", но греч. *ρολή*.

Необходимо, наконец, указать, что последний снопок колосьев служил предметом религиозного почитания и приносился в жертву божествам. Ср. в этой связи хет. *halki* "сноп", но хет. *haliya-* "kneel, genuflect"; др.-сев. *hqrgr* "алтарь", а также гот. *skalks* "раб, религиозный служака, приносивший колосья в жертву"; типологически ср. др.-инд. *dhanā-* "сноп", но нем. *dienen* "служить"; русск. *ячмень*, но и.-е. *\*jag-* "почитать, поклоняться (божеству)"; др.-англ. *bledu* "Spelt", но гот. *blōi* "Opfer".

14. Интересно хеттское иероглифическое *hali* "время" (соотносится с др.-инд. *kala-* "время"). В отличие от божественного (мифического) времени, эмпирическое (профанное) время имеет свойство "проходить". Мифическое же время — это время первопредметов, перводействий и первотворений. Это — абсолютное время. Интересно, что, согласно мифопоэтической традиции, время "уходит" в верх, в верхний мир, в вечность, или вниз — в преисподнюю: ср. и.-е. *\*kel-* "высокий, высоко", но др.-инд. *kala-* "время" (типологически ср.: алб. *kohë* "время", но нем. *hoch* "высоко, высокий"; и.-е. *\*cer-men* "время", но и.-е. *\*cer-* "высоко, высокий"; кельт. *amb* "время", но нем. *oben* "наверху"). Интересны следующие примеры: ирл. *suas le bliain* "в прошлом году" (букв. "наверх с годом")<sup>11</sup>; ирл. *Tá suas le la leathcéad blian anois ó bhí báid mhóra insan áit seo* "пятьдесят лет назад

в этом месте были большие лодки" (букв. "наверх с полсотней лет"). Ср. также в современных английских диалектах: *Though it is June, it is very cold up over the night* "Хотя сейчас июнь, ночью очень холодно" (букв. "вверх в ночи"); *I shall need your rake up over the day* "Мне понадобится твоя грабли на целый день" (букв. "вверх ото дня"); ср. также англ. *the time is up* "время пришло" (букв. "время ушло вверх"); *the lesson is over* "урок окончен" (букв. "время урока ушло вверх"). С другой стороны, ср. ирл. *cui g bhliana anuas* "пять лет тому назад" (букв. "пять лет вниз"); *deirtear ó shin anuas* "говорят с тех пор" (букв. "с того вниз"); *lo bliain anuas* "вот уже год" (букв. "с годом вниз"). Ср. также англ. *it is high time* "подходящее время, благоприятное время" (букв. "высокое время"); нем. *Hochzeit* "свадьба" (букв. "высокое время").

Время непосредственно связано с пространством (хронотоп). Время мыслилось как связующее звено между потусторонним и реальным мирами (верхним, средним и нижним); при этом потусторонний мир понимался как "изнанка" божественного времени. Интересны следующие примеры: русск. *теперь* (ср. англ. *top* "верх" + хет. *aru* "высокий", ср. также чеш. *dobá* "время" + и.-е. *\*cer-* "время"). Сюда же относится и русск. *монор* (букв. "поднимаемый вверх"). Ср. далее: нем. *Gegenwart* "в настоящее время, сейчас"; ср. нем. *gegen (gen)* "по направлению к" + тох. *A. wārt* "лес, мировое дерево как центр мироздания". Таким образом, нем. *Gegenwart* буквально означает "по направлению к мировому дереву, олицетворяющему божественное время, Вселенную" (ср. и.-е. *\*cer-* "время" и лтш. *veris* "густой лес"). Подобный же случай представляет и франц. *maintenant* "теперь", букв. "держа вытянутую руку" (т.е. в направлении человеческого тела, которое мыслилось как микрокосм).

Рассмотрим несколько индоевропейских названий потустороннего мира, содержащих в себе слова со значением времени. Армянское слово *handerdzal* "потусторонний мир" можно проанализировать следующим образом: элемент *hand-* соответствует и.-е. *\*pand-*, *\*ped-* "нижний" (ср., однако, хет. *ispanti* "ночь" < и.-е. *\*pen-* "достигать, завершать, оканчивать"; ср. семасиологическую параллель: др.-инд. *tanōti* "spannt, erstreckt sich, erlangt", но сербско-хорв

<sup>11</sup> Ирландские примеры здесь были любезно предоставлены мне Т. А. Михайловой, за что приношу ей глубокую благодарность. Мифологема времени, а также другие важнейшие мифологемы в и.-е. языках подробно исследуются в моей монографии "У истоков человеческого языка", находящейся в настоящее время в печати.

сутон "сумерки", блр. сутонець "смеркаться"). Элемент *derdz* соответствует др.-англ. *brag* "время", а *zal* также соответствует др.-англ. *zæl* "время". Общий перевод всего сочетания — «(находящийся) в нижнем времени (или "в ночи)». И.-е. \**pand-* в первой части рассматриваемого сочетания (также \**pet-*) можно также сопоставить с валл. *eda-fedd, edeu* "нить (судьбы)" и с арм. (*h*)*and* "поляна" (>"потусторонний мир") или пали *addhana-* "время".

Ср. далее арм. *ašharh* "потусторонний мир", где первый элемент соответствует и.-е. \**asos, \*isos* "низ, нижний", а второй соотносится с тох. А. *preke* "время". Относительно первого элемента можно указать также на алб. *eshë* "промежуток времени". Ср. еще: перс. *duzah* "ад", но осет. *dug* "промежуток времени" + авест. *anghu-* "Вселенная" (с первым элементом ср. также и.-е. *dhugha-* "судьба"); кельт. *sid* "рай", но др.-англ. *sið* "время" (а также "путь"); англ. *hell* "ад", но др.-англ. *kala-* "время"; лат. *inferna* "преисподняя" <\**in-kerdna* (букв. "нижнее время", ср. прусск. *kerdan* "время").

Любопытно, что рай иногда отождествлялся с телом женщины [9]. Ср. в этой связи: арм. *ark'ajutun* "рай", но кимр. *rhiain* (<\**reg-*) "девушка" (сюда же, видимо, следует отнести и русское слово *рай*) + \**kye(n)t-* > \**kyen-* (др.-англ. *swēn* "женщина"). Арм. *ašharh* "рай", но осет. *woes* "женщина" + дат. *freken* "женщина", и.-е. \*(*p*)*reg-* "похотливость", индо-арийск. *raga* "плотская любовь, страсть", др.-инд. *raka* "богиня плодородия", англ. диал. *reek, ruck* "род"; ср. тох. А. *preke* "время". Ср. еще: перс. *wahista* "рай", но англ. *wench* "девушка" (ср. лат. *vagina* "женские половые органы") + \**isto* "половые органы" (ср. \**isto* > \**ites*: др.-англ. *ides* "женщина").

15. Хеттское слово *hai-* "верить" соотносится, как нам представляется, с и.-е. корнем \**gou-* "рогатый скот" (корова как священное животное, небожитель). Ср. семасиологические параллели: др.-в.-нем. *gi-louban* "верить", но лтш. *luōps* "скот", алб. *lopë* "корова", лат. *credere* "верить", но др.-англ. *hriðer* "скот"; лат. *fides* "вера", но литов. *bandà* "скот" (<\**bhend-*); русск. *веруть*, но лат. *verres* "Ебер"; лтш. *ticet*, литов. *tikėti* "верить", но др.-англ. *ticen* "Zicklein"<sup>12</sup>. С дру-

гой стороны, значение "верить" может соотноситься с фаллическими значениями: ср. лат. *credere* "верить", но др.-англ. *hreffpan* "testiculi" (ср. и.-е. \**kerd-* "middle"); литов. *tikėti* "верить", но др.-англ. *tiōhh* "род"; прусск. *druwit* "верить", *druwi* "вера", но др.-англ. *teors* "penis" (\**ter-*). Ср. в этой связи хет. *hai-*, но др.-англ. *hiwa* "familia".

Значение "верить" может также соотноситься со значением "связывать": ср. хет. *hai-* "верить", но и.-е. \**gei-* "гнуть, связывать". Типологически ср.: лат. *credere* "верить", но и.-е. \**kerd-* "опоясывать"; русск. *веруть*, но и.-е. \**cer-* "связывать".

16. Весьма интересно хеттское слово *hatrai* "писать". Согласно древней традиции, письмена — божественные творения, непосредственно связанные со звуком, символом божественного создания Вселенной и бессмертия. Как указано в Библии (Исх. 22, 16), "скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божий". Согласно мифопоэтической традиции, буквы алфавита обладают сверхъестественной творческой силой, непознаваемой для человека: они могут создавать микромиры, возрождать мертвых, творить чудеса. Поскольку основным Принципом сотворения Вселенной считалось Число, буквы уравнивались именно с числом. Язычники испытывали религиозный страх перед любыми изваяниями, в частности перед вырезанной на дереве или другом материале буквой<sup>13</sup>. Письмо считалось таинством, доступным только жрецам. При этом буквы алфавита отождествлялись не только со Словом Божьим, но и с деревьями (ср. миф о Мировом древе), с животными, камнями, сверхъестественной и нечистой силой (ср. так называемые "добрые" и "зловещие" руны у германцев: руны нередко служили талисманами), звездами, небом, душой, частями человеческого тела. В этой связи рассматриваемое хеттское слово *hatrai* "писать" следует прежде всего соотносить с др.-инд. *kriya-* "deed, magic", авест. *satar* "fiend" (типологически ср. русск. *чертуть*, но *черт*; ср. литов. *kerai* "чары"). Возможно, к тому же корню относится и хет. *hu(wa)rt* "to curse": ср. арм. *yurut* "to curse" (<\**xurut*), а также и.-е.

<sup>12</sup> Ср. также лат. *pecu* "скот", но тох. А. *puk* "верить".

<sup>13</sup> Ср. осет. *sari* "chisel", алб. *thadër* "ax-adze", арм. *seyr* "edge of a knife".

\*kerd- "середина" (символ святости, божественного творения). С другой стороны, возможно соотношение рассматриваемого слова с хет. *huedar, huiar* "wild animal" (животное как носитель "злого духа" — символ Вселенной).

Вместе с тем следует учитывать поклонение язычников столбам и символику ветки (благость, богатство, клятва, обет), в связи с чем можно сопоставить литов. *kairūs* "stick, twig", ср. также: и.-е. \*katoros "strong", русск. *щедры́й*. Кроме того, важно учесть и.-е. \*kvetur-, \*kvetur- "четыре". Согласные буквы отождествлялись с квадратом. Четыре — символ мужества, духовного совершенства, целостности<sup>14</sup>, универсальности мироздания [четыре точки света, четыре опоры Вселенной, четыре реки в раю, четыре буквы в имени Бога (Yhvh) и первого человека (Adam), четыре качества земных тел — тепло, холод, сырость, сухость и др.]. Необходимо учесть и фаллическую (resp. сакральную) символику письма: ср. хет. *hardu* "posterity, progeny". Ср. также др.-англ. *hrider* "скот" (священная корова). Если в слове *hatrai* "писать" *ha-* считать префиксом, то можно сопоставить др.-инд. *trayami-* "to protect" (\*irai-).

17. Хеттское слово *harapp-, harpai* "начинать, зачинать" следует, как нам представляется, сопоставить с и.-е. \*krep- "гог, resound" (божественный звук как первопричина всего сущего). Ср. семасиологические параллели: нем. *Ge-sang* "песни", др.-англ. *sæcgan* "говорить, издавать звуки", но лтш. *sākt* "начинать"; ирл. *doinscanna* (3 л. ед. числа) < \*to-ind-scann "начинать", но лтш. *skana* "звук", *skanet* "звучать", англ. *be-gin*, нем. *be-ginnen* "начинать", но и.-е. \*kens- "издавать звуки"; др.-сев. *byrja* "начинать", но и.-е. \*bher- "издавать звуки"; др.-инд. *a-rabh-* "начинать", но тох. *A rape* "музыка"; брет. *derou* "начинать", но литов. *taryti* "говорить". С другой стороны, возможно сопоставление хет. *harapp-, harpai-* с др.-англ. *hrif* "живот. матка, половые органы" (фаллическое значение "зачать (ребенка)"). Ср. и.-е. \*kerpo "fit, be strong, thrive".

18. Хеттское слово *ak(k)* "умереть" соотносится со значением "передвигаться [по реке на пути в загробный мир

(о душах умерших)]. Ср. швед. *aka* "двигаться, передвигаться", а также лат. *acqua* "вода". Типологически ср. нем. *sterben* "умирать", но русск. *топону́ться*, тох. *A tarp* "пруд"; авест. *riθ-* "смерть", др.-сев. *liðinn* "мертвый", но гот. *ga-leiþan* "идти, двигаться" (ср. др.-англ. *lið* "яблочное вино, жидкость"); англ. *kill* "убить", но и.-е. \*kel- "двигаться".

19. Хеттское слово *arp-* "bad luck, setback, misfortune" (ср. хет. *harpu-* "hostile") соотносится с \*Herp- (ср. прусск. *gerbian* "число"; но поверьям язычников. Число было основным Принципом мироздания), а также русск. *гриб*. В индоевропейской мифопоэтической традиции гриб символизирует плодородие, долголетие, обилие, потомство, имеет фаллическое значение, но с другой стороны, символизирует небо, гром, молнию, ураган (стрелы Перуна-громовержца, мечь богов); ср. типологически: др.-англ. *ragu* "гриб, лишайник", но нем. *Rache* "мечь" (ср. гот. *wrikan* "мстить", русск. *спас*), литов. *krembllys* "гриб", но литов. *skrėbti* "мстить"; чеш. *houba* "гриб", но русск. *губить*; лат. *fungus* "гриб", но др.-сев. *doegja* "умирать", ср. и.-е. \*dheg- "гореть" > "портить, губить (огнем)"; лат. *bōletus* "гриб", но лат. *stultus* "тупой" (> "раненый, увечный, поврежденный"); серб.-хорв. *gliva* "гриб", но др.-англ. *a-gāwan* "устрашать". Вместе с тем значение "гриб" соотносится и со значением "судьба": ср. русск. *жеребий*, но русск. *гриб*; чеш. *houba* "гриб", но др.-русс. *кобь* "судьба"; лат. *fungus* "гриб", но и.-е. \*dhugh- "судьба"; др.-англ. *ragu* "гриб; лишайник", но русск. *рок*; серб.-хорв. *vargen* "гриб", но литов. *vargas* "беда, бедствие"; др.-в.-нем. *ustin* "гриб", но др.-сев. *verðr* "сакральная трапеца" (она была призвана решить судьбу рода, урожая, охоты); лат. *bōletus* "гриб", но гот. *duþs* "сакральная трапеца".

С хеттским словом *arp-* "bad luck, misfortune" соотносятся хеттские слова *alrant* "swooned, weak", *alru* "blunt" (букв. "раненый чарамы, вызываемыми жрецом во время сакрального акта"). Ср. англ. *sleep* "сон", англ. *spell* "чары". Типологически ср. русск. *тупой*, но лат. *stupor* "оцепенение, оглушенность"; лат. *hēbēs* "тупой", но др.-русс. *кобь* "судьба", тох. *A a-kappi* "злой", др.-русс. *кань* "идол", ср. и.-е. \*kab- "узел" (> "колдовство, сакральное действие"); англ. *blunt* "тупой", но англ. диал. *blute*

<sup>14</sup> Ср. также: хет. *hatūlis* "be well, be healthy".

"(сакральное) действие", литов. *burtai* "чары, волшебство".

Вместе с тем следует учитывать, что сакральное действие (источник религиозного экстаза) у язычников уравнивалось с сексуальным. В этой связи важно принять во внимание, что, согласно древним поверьям, центрами деторождения были легкие и голова, а также колено (нога): ср. хет. *alpi* "тупой" ("отупевший от экстаза"), но лтш. *elpt* "дышать", др.-инд. *pelah* "половые органы"; литов. *šipti* "делая тупым", но др.-инд. *śēpa* "penis", англ. *blunt* "тупой", но русск. *блуд*; и.-е. \**lek-* "тупой, гладкий", но греч. *λεκαω* "coire", брет. *tougn* "тупой", но др.-инд. *tok-man* "потомство", осет. *tug* "кровь, семя".

С другой стороны, ср. литов. *šipti* "делая тупым", но др.-англ. *sefa* "смысл, понимание", ср.-в.-нем. *be-se-ban* "wahrnehmen", др.-сев. *sefi* "Sinn, Verstand"; брет. *tougn* "тупой", но осск. *tongitio* "notio"; нем. *denken* "думать", ново-ирл. *tuigim* "понимать". В связи с этим хеттское слово *hant-* "лоб" следует сопоставить с \**ken (d)-* "рожать" (ср., с другой стороны, ирл. *cennd* "разум").

20. Название птицы во многих языках соотносится со значениями "рожать", "детородные органы" (птица как символ божественного предзнаменования: сакральное в древности, как уже говорилось, соотносили с фаллическим): ср. хет. названия птиц *harrani* и *hal(wassi)*, которые соответственно соотносятся с осет. *агун* "рожать" и лат. *alēre* "рожать, вскармливать" (осетинское и латинское слова принадлежат к одному и тому же корню). Ср. также лат. *alēs* "крылатый, пернатый", *alēs* "птица", а также "предзнаменование, знамение", лат. *alea* "жребий". Ср. семасиологические параллели: нем. *Vogel* "птица", но англ. *fuck* "coire"; русск. *курица*, но осет. *kuryn* "рожать", болг. *курица* "vulva"; англ. *cob* "чайка", но англ. диал. *cobs* "testicles"; авест. *merega-*, перс. *murgh-* "bird", но гот. *marzus* "nuptiae"; англ. *bird* "птица", но англ. *breed* "рожать"; русск. *птица*, но русск. диал. *потка* "penis". Отметим, с другой стороны, что птица считалась вместилищем душ умерших или хлебного духа. В этой связи хет. *hal(wassi)* "птица" можно сопоставить с лат. *an-helare* "дышать". Ср. семасиологические параллели: дат. *and* "утка" (ср. др.-русск. *удь* "penis"), но и.-е. \**and-* "дышать"

(ср. также ирл. *en* "птица", но и.-е. \**an-* "дышать"); англ. *duck* "утка", но русск. *дух*; нем. *Sperling* "воробей", но лат. *spirō* "дышать"; англ. *chough* "галка", но нем. *Hauch* "дыхание", *hauchen* "дышать"; валл. *labous* "птица", но лтш. *elpt* "дышать". Ср. также литов. *duonas* "хлеб" < \**dug-na*, но русск. *дух*; гот. *hlaibs* "хлеб", но валл. *labous* "птица"; др.-англ. *bledu* "хлеб на корню" (ср. также англ. *bread* "хлеб"), но англ. *breathe* "дышать"; алб. *zorrē* "ворона" < \**sors* (ср. лат. *sors* "судьба") < \**sos-*, но иран. \**šoš-* "дышать"; и.-е. \**puik-* "дышать", но нем. *Vogel* "птица"; англ. *pullet* "курица", но лат. *pulmen* "легкое". Интересно сопоставить также приведенное выше хет. *halki* "Spelt", но русск. *галка* (название птицы); др.-инд. *jāva* "ячмень", но лат. *avis* "птица"; гот. *ahaks* "голубь", но гот. *ah-ma* "дух"; русск. *удод*, но осет. *udd* "душа"; англ. *swallow* "ласточка" (\**syel-ūi-*), но литов. *velnias* "злой дух, черт, дьявол"; англ. *swan*, нем. *Schwan* "лебедь" < \**šoš-* (иран.) "дышать" + \**an-* "дышать" (ср. и.-е. \**seu-* "родить" + хет. *cen-* "coire").

21. Хеттское слово *huelpi* "fresh", "new" соотносится с др.-англ. *heolfor* "кровь": значение "свежий" восходит к значению "жертва, принесенная в сакральных целях" > "свежая (новая) кровь, отданная богам", а отсюда "чистый" (жертва как символ чистоты). Типологически ср. русск. *свежий*, но лат. *vic-tima* "жертвенное животное", алб. *gjak* "кровь", гот. *weihs* "святой"; нем. *frisch*, англ. *fresh* "свежий", но др.-в.-нем. *freiscing, frisking* "жертвенное животное" (ср. также тох. А *prakte* "наказание". др.-в.-нем. *pflegan* "Schuld oder Verantwortung übernehmen": имеется в виду кровная месть); греч. *ἕαρ* "кровь", но хет. *suris* "жертвоприношение", индоарийск. *kora* "новый", литов. *švarus* "чистый"; хет. *manis* "кровь": \**smoidos* "puge" < \*(s)*meind* < \*(s)*men(d)* ср. лат. *mundus* "чистый". Ср. ирл. *mionn* "клятва" (клятва на крови). С русск. *свежий* ср. еще лат. *sanguis* "кровь" < \*(s)*yeng-*; ср. хет. *šag* "middle, heart, interior"; ср. еще: тох. А *wir* "frais, nouveau", но ирл. *fuil* "blood", др.-англ. *swērian*; ср.-в.-нем. *trōr* "кровь", но литов. *tyras* "чистый, свежий". Интересно хеттское слово *alkistan* "branch". Учитывая, что ветвь считалась символом семейного счастья, плодovitости, вполне возможно, как нам представляется, соотнести две части этого слова соответственно с греч.

лѣкаш "coire" и и.-е. \*isto- "половые органы"<sup>15</sup>. Однако значение "рожать, половые органы, размножаться" обычно соотносится со значением "дом, семейный очаг": ср. др.-инд. *dumah* "половые органы", но лат. *domus*, русск. *дом*; др.-англ. *ærn* "дом", но осет. *арун* "рожать"; др.-англ. *hus* "дом", но др.-англ. *huse* "ребенок"; ирл. *tech* "дом", но др.-инд. *tok-man* "семья", греч. *τίκτω* "рожать"; греч. *λῆκαω* "coire", но гот. *alh* "храм" (ср. первую часть рассматриваемого хеттского слова); и.-е. \*isto "половые органы", но др.-русс. *истьба* "дом", русск. *изба* (ср. вторую часть рассматриваемого хеттского слова); тоск. А *kert* "дворец", но др.-англ. *hreffan* "половые органы". Вместе с тем значение "ветвь" могло переходить в значение "огороженный ветвями" > "дом, очаг, место жительства" (ср. русск. *ветвь*, но лтш. *vietà* "место"). С другой стороны, в связи с тем, что храмы в древности были местом ритуальных фаллических действий (ср. лат. *ritus* "обряд", но др.-инд. *ret-* "семья"), ряд слов со значением "храм" приобрел негативную смысловую окраску: ср. русск. *храм*, но англ. *harm* "вред"; др.-англ. *hearg* "храм", но русск. *грех*; гот. *alh* "храм", но и.-е. \*lek- "изъян" (ср. англ. *lack*), ср. также ирл. *olc* "плохой". С русск. словом *храм*, возможно, следует сопоставить хет. *karimnas* "god; temple" (возможно, перед нами композитум, соответствующий хет. *qar* "god; temple" + тох. В *añtē* "voeu, souhait").

22. Согласно мифопоэтической традиции, человек после смерти превращается в дерево. Дерево, наряду с горой и водой, являетсяместилищем душ умерших. В связи с этим становится понятным, что слова со значением "старик, старый" могут соотноситься со словами, имеющими значение "дерево". Ср. хет. *huhha* "дед, старик", но лтш. *kuņķs* "дерево", ср. хет. *hiqqar* "клен". Типологически ср.: алб. *plak* "старый, старик", но и.-е. \*perk- "дуб" (ср. др.-англ. *feorh* "душа"), тох. А *tok* "старый" < \*med- (литов. *medis* "дерево") + \*ag- "дуб": ср. арм. *makan* "stick", др.-чеш. *miežditi*

"bewitch"; др.-сев. *gammal* "старый" < осет. *qād* "дерево" + *mel-/mer-* "дерево" (ср. арм. *mair* "ель", лат. *morum* "mulberry tree"). С первым элементом этого слова следует сопоставить еще хет. *gedim* "ghost". С другой стороны, с др.-сев. *gammal* можно сопоставить др.-инд. *çamarikah* "orchid tree", др.-в.-нем. *hemera* "sneeze-word". Ср. далее: греч. *γέρων* "старый", но прусск. *garian* "дерево", др.-англ. *ceart* "лес"; лат. *vetus* "старый", но др.-сев. *viðr* "лес, дерево", др.-англ. *widu* "лес" (ср. литов. *vidus* "середина"); лат. *arbor* "дерево", но др.-инд. *ardhá-* "середина", др.-инд. *vrdhas* "старый", др.-англ. *eald* "старый" (ср. с этим последним англ. *elder-tree, alder-tree*); русск. *дерево*, но русск. *древний*; лат. *senex* "старый", но и.-е. \*sank- "ветвь" (ср. русск. *сук*), ср. также англ. *sedge* "осока"; греч. *παλαιός* "старый", но хет. *kal-assar* "дерево" (последний элемент этого слова можно сопоставить с лат. *asser* "шест, жердь"), ср. хет. *haliya-* "kneel, genuflect". Поскольку при перемещении рода с одного стойбища в другое стариков оставляли позади, вполне понятно, что слова со значением "старый" (а также соотносимые с ними слова со значением "дерево") могут коррелировать со словами, имеющими значение "зад, задний": ср. греч. *παλαιός* "старый", но лтш. *pa-kai* "позади"; осет. *qād* "дерево", но русск. *зад, задний*, и.-е. \*kent- "последний"; англ. *tree* "дерево", но лат. *retro*. В древности господствовало убеждение, что будущее (неизвестное) располагается за нашей спиной, а прошлое (известное) находится перед нашими глазами. В связи с этим слова со значением "спина; зад" (и соотносимые с ними слова со значением "старый") могут коррелировать со значением "знамение, знак". Ср. др.-инд. *sani-* "спина", лат. *senex* "старый", но хет. *sēnas* "omen"; хет. *iski* "спина", но хет. *izkim* "omen"; англ. *back* "спина", но др.-в.-нем. *beahhon* "omen"; с другой стороны, ср.: греч. *παλαιός* "старый", но др.-сев. *heill* "omen"; русск. *старый*, но хет. *tar-pallis* "omen" (ср. ирл. *pell* "далекий"; типологически ср. гот. *fairneis* "старый", но англ. *far* "далекий").

"Этимологический словарь хеттского языка" Я. Пухвела — значительное явление не только в хеттологии, но и в индоевропеистике и общем языкознании нашего столетия. Исключительная акрибия исследования, критическое рассмотрение практически всей специаль-

<sup>15</sup> Ср. еще: др.-англ. *sid* "ветка, побег", но валл. *cydio* "coire"; греч. *οἶφω* "coire", но русск. *сук* (< \*sank-), ср. тох. А *suł-* "счастье"; серб.-хорв. *kuća* "дом", но лат. *cunnius* (\**ciudnos*) "rudendum muliebre", англ. *shoot* "побег, росток".

ной литературы, посвященной этимологии отдельных слов, рассматриваемых в словаре, использование новейших достижений сравнительно-исторической фонетики (в частности, ларингальной теории) и морфонологии при анализе слов, оригинальные (но осторожные и взвешенные) этимологические решения автора, привлекающего для исследования данные культурологической символики и тщательного филологического анализа хеттских текстов и слов, — все это не оставляет сомнения, что рецензируемый словарь является образцовым и исключительно надежным. Остается с нетерпением ожидать публикации всех остальных томов словаря, который, безусловно, станет настольной книгой каждого индоевропеиста.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Juret A.* Vocabulaire étymologique de la langue hittite. Limoges, 1942.
2. *Tischler J.* Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck, 1977.
3. *Puhvel J.* Comparative mythology. Baltimore; London, 1989.
4. *Feist S.* Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.
5. *Маковский М.М.* "Картина мира" и миры образов // ВЯ. 1992. № 6.
6. *Маковский М.М.* Удивительный мир слов и значений. М., 1989.
7. *Sturtevant E.H.* Hittite glossary. N.Y., 1931.
8. *Маковский М.М.* Лингвистическая генетика. М., 1992. С. 52—55.
9. *Walker B.* The woman's encyclopaedia of myths and secrets. San Francisco, 1983.

*Маковский М.М.*

**Berger T.** Wortbildung und Akzent im Russischen. München: Verlag Otto Sagner, 1986. VIII + 373 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 201).

"Словообразование и ударение в русском языке" Т. Бергера — публикация диссертации, защищенной в Констанцском университете (ФРГ) в июне 1986 г. Цель исследования — найти методы описания, позволяющие достичь синтеза синхронического и диахронического изучения русского ударения. Фактически работа сосредоточена на синхронном состоянии, диахронический аспект затрагивается лишь в самом общем виде (с. 355—358). Автор подчеркивает свое стремление "анализировать современную русскую акцентную систему таким образом, чтобы при анализе все факты были приняты во внимание в равной мере" (с. 16), достичь непредубежденного описания, сконструировав чисто индуктивную систему.

Книга состоит из четырех глав, имеющих многочисленные подразделы, и завершается резюме и указателем литературы. Структура глав хорошо отражает все этапы анализа, что ввиду сложности предложенного Бергером метода и обилия дефиниций существенно облегчает труд читателя.

Авторское исследование акцентуации производных слов предваряется вводной главой I (с. 1—18), где особо отметим краткие, но емкие очерки "К истории обозначения ударения" и "К истории русской акцентологии", и гла-

вой II (с. 19—102), посвященной общим принципам, на которые должно ориентироваться описание, и содержащей детальный анализ работ П. Гарда и более сжатую характеристику акцентологических трудов В.А. Редькина, В. Страковой, В.В. Лопатина, В.А. Дыбо. За пределами обзора литературы осталась монография А.А. Зализняка [1], вышедшая в свет незадолго до завершения диссертации Бергера, но этот пробел был восполнен им позже подробной рецензией в другом месте [2].

В результате критического осмысления работ своих предшественников Бергер приходит к следующим выводам: акцентную систему русского языка нужно анализировать без априорной оценки определенных явлений как "исключений" и "колебаний"; необходимо разграничивать, насколько возможно, ударение в словоизменении и словообразовании; в акцентологических работах рационально избрать в качестве основы для описания словообразования понятие производного слова; описание акцентуации дериватов в принципе может строиться как в направлении от производного к производящему, так и наоборот (из практических соображений автор предпочитает первый, "ориентированный на аффиксы", способ).

В основных главах III (с. 103—285)

и IV (с. 286—358) рецензируемой работы Бергер подробно характеризует собственный метод анализа и демонстрирует его применение на части русской словообразовательной системы, а именно на словах, производных от имен существительных. Поскольку численность непродеривированных существительных значительно больше, чем численность непродеривированных слов других частей речи, при ограниченном объеме книги в результате анализа вышеуказанной категории дериватов возможен более широкий обзор, чем при анализе какого-либо другого фрагмента. Источниками фактического материала для этих глав послужили словари А.А. Зализняка [3] и Д.С. Ворты и др. [4]. Все этапы исследования подробно иллюстрированы примерами, в которых, однако, не удалось полностью избежать опечаток и других погрешностей. Вызывает нарекания избранный автором способ транскрипции русских слов (см. об этом [5, с. 93]); в частности, можно не согласиться с использованием единого акцентного знака для обозначения главного и второстепенного ударения композитов (дифференцированную нотацию, принятую в русской лексикографической практике последних десятилетий. Бергер считает "излишней", с. 112).

Автор исходит в своем исследовании из системы схем ударения А.А. Зализняка, разработанной для описания русского словоизменения [3, с. 30—34, 80—83], детализировав ее для слов с неодносложной ударной основой и для композитов следующим образом. Слово с неподвижным ударением на одном и том же слого основы относится к схеме ударения  $k_j$ , где  $k$  — переменная, обозначающая схему ударения по Зализняку,  $i$  — номер (считая от конца) ударного слога базисной формы; слово с ударением, подвижным в пределах основы, относится к схеме  $k_{ij}$ , где, применительно к именам существительным,  $i$  — номер ударного слога словоформ единственного числа, а  $j$  — множественного (на глаголах и прилагательных для краткости здесь не останавливаемся), причем в этой группе, в отличие от предыдущей, возможны случаи  $i, j \neq 0$ , если речь идет о слоге, наличествующем не во всех словоформах; например: *бараба́н* — схема ударения  $a_1$ , *папо́ротник* —  $a_4$ , *ма́стер* —  $a_2$ , *ко́лод* —  $a_{21}$ , *дворя́нин* —  $a_{01}$ . В процессе

работы эта универсальная классификация наосновного ударения дополняется применительно к производным словам, образованным с помощью словообразовательных моделей, требующих неподвижного начального ударения (типа *зе́лень*, *приго́род*, *пра́внук*), схемой  $\bar{a}$ . Схемы ударения сложных слов выделяются с учетом главного и второстепенного ударения и обозначаются формулой, в которой к символу, указывающему на схему ударения последнего компонента сложения, приплюсовывается цифра, соответствующая месту побочного ударения внутри первого компонента, если он состоит более чем из одного слога; если же первый компонент односложен, цифра опускается; примеры: *о́бер-ма́стер* —  $a_2 + 2$ , *вне-парти́йный* —  $a_1 + 1$ . (В дальнейшем автор отказывается, правда, от исследования распределения побочного ударения, прежде всего в силу его малой нормированности по сравнению с главным ударением.) Подобная модифицированная классификация представляется нам весьма удобной и перспективной для изучения русского ударения как в словообразовательном, так и в других аспектах<sup>1</sup>.

Бергер отказывается от традиционного понятия акцентных колебаний; каждое русское слово по его классификации относится к одной и только одной схеме ударения. В подобных случаях выделяются, следовательно, не варианты одного слова, а разные слова, причем акцентным дублетам дериватам соответствуют также разные производящие (например: *сосе́нка<sub>1</sub>* и *сосе́нка<sub>2</sub>* — схемы ударения соответственно  $a_2$  и  $a_1$ , производящие соответственно *сосна́<sub>1</sub>* и *сосна́<sub>2</sub>* — оба схема  $d$ ).

Специальные разделы посвящены тому, как при помощи отношения производности и словообразовательных моделей может быть построено описание деривационной системы русского языка. На передний план при этом выдвигается определение понятия производного слова — понятия, которое, по Бергеру, исходит из главенства формального уровня и особенно удобно для описания ударения ("поскольку ударение

<sup>1</sup> С удовлетворением отмечаем элементы сходства между классификацией наосновного ударения Т. Бергера и нашей собственной; о последней см. [6].

однозначно относится к плану выражения слова", с. 158).

Далее Бергер обращается к акцентной системе, исходя из гипотезы о наличии связи между словообразованием и акцентуацией, т.е. о зависимости схемы ударения производного слова от определенных свойств производящего слова и словообразовательной модели. Релевантные для деривации свойства производящих слов не выводятся непосредственно из их схем ударения; для обнаружения этих свойств материал классифицируется по акцентным классам, охватывающим все те слова, все производные которых в пределах каждой словообразовательной модели демонстрируют идентичное акцентное поведение. Однако, подчеркивает автор, в отличие от классификации по схемам ударения, определение акцентного класса может представлять практическую трудность (если у слова нет производных или же если имеющиеся дериваты не позволяют однозначно судить об акцентном классе производящего).

Конечным практическим результатом исследования одноступенчатых (образованных от непроизводных слов в один шаг) производных являются перечни постоянных (требующих одной схемы ударения независимо от акцентного класса производящего слова) словообразовательных моделей (с. 287—291), таблицы и списки, демонстрирующие акцентное поведение всех непостоянных (неоднозначных с акцентологической точки зрения) аффиксов (с. 292—317).

Перечни важнейших постоянных словообразовательных моделей (83 позиции), сгруппированные по схемам ударения, свидетельствуют прежде всего о количественном господстве моделей, требующих схемы  $a_1$  (43 позиции) и далее  $a_2$  (21 позиция). Из списка "постоянная схема ударения  $a_1$ " (с. 289), правда, необходимо удалить модель *super-*: привлечение более широкого фактического материала (ср. например, *суперинтендант* —  $a_1$  и *суперкомпьютер* —  $a_2$  [7]) показывает, что с учетом двух предложенных автором возможностей описания ударения префиксальных существительных эта модель относится, подобно *vice-*, *ober-* и другим, к непостоянным (1) или к одному из двух типов моделей, не требующих оттяжки (главного) ударения на приставку (2). В подавляющем большинстве случаев

словообразовательные модели, акцентологически постоянные при одноступенчатой деривации, оказываются постоянными также и при многоступенчатой деривации. Постоянными исключительно в отношении одноступенчатых производных являются всего пять моделей: *-atyj*, *-ivyj*, *-ennyj*, *K-eskij*, *ne-* (например: одноступенчатые производные *морда́тый*, *горба́тый* —  $a_1$  при многоступенчатых *сумча́тый* —  $a_2$ , *зубча́тый* —  $a_1$ ); этим моделям посвящен далее специальный раздел (с. 325—327).

Исследование непостоянных аффиксов приводит к разбиению непроизводных существительных на акцентные классы двух уровней. В первичной классификации каждые два класса различаются по крайней мере двумя признаками; вторичная классификация является "уточнением" первичной и охватывает все те случаи, в которых различие между двумя классами основывается только на одном признаке. Например, внутри первичного акцентного класса  $A3$ , элементы которого в комбинации со словообразовательными моделями *-nyj*, *žčik*, *-kaa*, *-ij*, *-žčica*, *-ovujj* дают акцентологический эффект соответственно  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_3$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ,  $a_4/a_1$  (ср. *линболеумовый* и т.д. при единичном *окороко́вий*), выделяются два вторичных класса —  $A3$  (*-ovujj/a\_1*) и  $A3$  (*-ovujj/a\_1*). Подобный подход позволяет формально избежать проблемы исключений, но, как отметил сам автор в дискуссии об исключениях в другом месте, "наверное, такие условные решения ... тоже не могут удовлетворять полностью" [2, с. 301].

Анализ непостоянных словообразовательных моделей приводит к выделению 15 первичных и порядка 300 вторичных акцентных классов. Акцентная характеристика каждого непроизводного существительного в форме словаря или исчерпывающие перечни слов по акцентным классам потребовали бы значительного увеличения объема издания. На основании рецензируемой книги в ее настоящем виде отнесение конкретного непроизводного существительного к тому или иному акцентному классу в общем случае осуществляется путем сопоставления всех непостоянных одноступенчатых производных этого слова с матрицей, строки которой отвечают акцентным классам, столбцы — непостоянным одноступенчатым моделям, а на их пересечении находится акцент-

ная схема соответствующих производных. Ориентироваться в материале, разбираемом с точки зрения акцентуации на страницах работы, весьма помог бы прикижный указатель слов.

Акцентные классы, выделенные для непроединительных существительных, в неизменном виде используются для описания акцентного поведения существительных, производных в свою очередь от существительных; об акцентном классе такого деривата почти всегда можно судить по его схеме ударения. Изучение соотношения между ударением в словоизменении и в словообразовании показывает, что в целом нельзя сделать однозначного вывода об акцентной схеме слова, исходя из его акцентного класса, равно как и об акцентном классе слова, исходя из его схемы ударения. Так, малочисленный класс *A3* включает непроединительные существительные, относящиеся к двум схемам ударения —  $a_3$  (*вѣхухоль* и др.) и  $c_3$  (*бѣкорок*); слова этих схем представлены и в двух других классах — в одноэлементном *A3* + (*сѣворотка* —  $a_3$ ) и в обширном *A1* (*колокол* —  $c_3$ ); в *A1* входят, наряду с *колокол*, существительные еще шести схем —  $a_2$ ,  $a_1$ ,  $b$ ,  $c_2$ ,  $c_1$ ,  $d$  и т.д. Те немногие случаи, когда однозначное соответствие всё же имеет место, касается исключительно малых множеств слов. Примером может служить следующее "правило", распространяющееся только на уникальное с акцентологической точки зрения *напоротник*: непроединительное слово схемы ударения  $a_4$  относится к акцентному классу *A4*.

Основные типы акцентного поведения словообразовательных моделей таковы: 1) схема ударения производного слова зависит только от аффикса; 2) схема ударения производного слова вытекает из акцентных свойств аффикса и акцентного класса производящего слова (у композитов соответственно — акцентного класса второго компонента сложения); 3) схема ударения производного слова идентична схеме ударения производящего слова (у композитов соответственно — второго компонента сложения); 4) место ударения производного слова вытекает из места ударения производящего слова, причем подвижное ударение заменяется неподвижным; 5) производное слово имеет колонное ударение на последнем слоге основы производящего слова (у компо-

зитов соответственно — второго компонента сложения); 6) ударение производного слова нельзя связать ни с каким из названных факторов.

Акцентная система современного русского языка характеризуется далее следующим образом. В центральной области деривации (а именно у суффиксальных, префиксально-суффиксальных и сложно-суффиксальных слов) схемы ударения производных зависят в основном от акцентных классов производящих слов и от свойств словообразовательных моделей, в периферийной для существительных области деривации (а именно у префиксальных слов и у сложных слов без суффикса), напротив, — в основном от акцентных схем производящих слов и от свойств словообразовательных моделей; в более дальней периферийной области (а именно у немногих суффиксов) зависимость между схемами ударения производных слов и названными факторами не устанавливается. У непроединительных слов связь между схемами ударения и акцентными классами отсутствует, тогда как из акцентной схемы производного слова почти всегда можно сделать заключение о его акцентном классе. Дальнейшее обобщение приводит к выводу о том, что важной особенностью русской акцентной системы являются две асимметрии: с одной стороны, асимметрия между суффиксальными и префиксальными образованиями (соответственно между суффиксальными и бессуффиксальными композитами), с другой стороны, асимметрия между подчинением непроединительных и производных слов акцентным классам. Эти асимметрии получают также истолкование с диахронической точки зрения.

Рецензируемую работу Т. Бергера отличают оригинальный подход, точное определение всех применяемых понятий и операций, строгость и последовательность изложения, тщательный анализ материала. Книга вносит существенный вклад в теоретическую интерпретацию и практическое описание такого сложного явления, как ударение современного русского языка, и, безусловно, принадлежит к числу наиболее значительных акцентологических трудов последних лет. В дополнение к другим рецензиям [5, 8–10] необходимо также подчеркнуть, что предложенный метод и многие положения Бергера весьма перспективны для дальнейшего изучения

русского ударения, тем более что некоторые задачи на будущее сформулированы и самим автором.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
2. Berger T., Schweier U. Важный вклад в изучение русской акцентуации. По поводу книги: Зализняк А.А. От праславянской акцентуации к русской // *RLing*. 1990. N 3.
3. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. М., 1977.
4. Worth D.S., Kozak A.S., Johnson D.B. Russian derivational dictionary. N.Y., 1970.

5. Šturala J. // *ČSR*. 1988. N2. Rec.: Berger T. Wortbildung und Akzent im Russischen.
6. Корнилова И.А. Акцентологическое освоение заимствований в русском языке (XVI—XX вв.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986. С. 6—8.
7. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и телевидения. 6-е изд. М., 1985.
8. Kirkwood M. // *The Slavonic and East European review*. 1987. N4. Rec.: Berger T. Wortbildung und Akzent im Russischen.
9. Niemeyer M. // *ZfS*. 1988. N5. Rec.: Berger T. Wortbildung und Akzent im Russischen.
10. Стракова В. // Съпоставително езиковедство. 1990. N1. Рец.: Berger T. Wortbildung und Akzent im Russischen.

Корнилова И.А.

**Грязнухина Т.А., Дарчук И.П., Клименко Н.Ф., и др. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях / Отв. ред. Перебийнос В.И. Киев: Наукова думка, 1990. 226 с.**

Девяностые годы принесли лингвистам, как и многим работникам умственного труда нашей страны, реальную возможность широкого использования компьютеров в повседневной работе. Рецензируемая книга представляет несомненный интерес для филологов всех групп и специальностей — от студентов до научных сотрудников. Она чрезвычайно полезна и для разработчиков Машинного фонда русского языка. Один перечень заголовков глав этой коллективной монографии возбуждает желание заглянуть во многие ее разделы, чтобы найти ответы на вопросы, постоянно возникающие с момента, когда компьютер появляется на нашем письменном столе. Здесь мы найдем и квалифицированное обсуждение проблем формализации естественного языка при обработке языковой информации (разд. 1, гл. 1) и обсуждение перспектив автоматизации лингвистического анализа текста (разд. 1, гл. 2), и разделы посвященные решению статистических задач на ЭВМ (разд. 1, гл. 4), автоматическому анализу и синтезу речи (разд. 2, гл. 1), морфологическому и синтаксическому анализу (разд. 2, гл. 2—5), исследованиям лексики и терминологии (разд. 2, гл. 6—8), структурной организации текста (разд. 2, гл. 9). Даже при беглом просмотре видно,

что книгу отличает высокая информативность (обилие библиографического материала), конкретность (все разделы написаны известными специалистами в области вычислительной лингвистики на материале недавно проведенных или текущих работ) и систематичность изложения. Наиболее ярким примером этого является гл. 6. разд. 2 "Сетевое моделирование лексики", написанная Э.Ф. Скороходько.

Все это — несомненные достоинства книги, после изложения которых автору настоящей рецензии хотелось бы, чтобы все, что будет сказано ниже, рассматривалось читателем не как перечень недостатков, а как "альтернативные" суждения по отдельным вопросам.

1. В книге настойчиво проводятся две "традиционные" для вычислительной лингвистики идеи, первая из которых, говоря словами авторов, звучит так: "Мы можем использовать машину как помощника при условии, что сформулируем ей задание так, чтобы его можно было изложить на одном из языков программирования. Сейчас мы общаемся с компьютером на разных языках — машинно-человеческом и машинном. Роль посредника в этом общении выполняет программист" (с. 3), а вторая — "... решение исследовательских задач с помощью ЭВМ способствует

углубленному познанию системных свойств языка, облегчает труд языковеда, а также делает более эффективной его работу..." (с. 4).

Появление персональных компьютеров и новых средств автоматической обработки текстов, представляется мне, требует некоторой коррекции этих идей. Во-первых, теперь не совсем точно говорить о языках программирования в указанном контексте; более адекватным является употребление термина "формальные языки", что влечет за собой и исключение программиста как постоянного посредника. Идеальный современный лингвист — сам для себя и программист (в новом смысле). Во-вторых, хотя и остается верным тезис о том, что использование ЭВМ способствует углублению наших знаний о системных свойствах языка, по-моему, "центр тяжести" в применении ЭВМ в филологии ныне переместился в область глобальной ее информатизации — от сбора данных до выхода научных трудов из печати. Это влечет за собой новые "естественные" возможности связи языкознания с прикладными областями, непосредственного использования в них лингвистических источников и результатов лингвистического труда; необходимость повышения квалификации филологов (облегчение труда языковедов мне представляется теперь сомнительным без их специальной подготовки в области вычислительной лингвистики).

2. В тесной связи с изложенным в предыдущем пункте является и несколько устаревшее, на мой взгляд, описание условий и процесса решения лингвистических задач на ЭВМ (с. 16—17). Сейчас следовало бы говорить о безусловной целесообразности постановки на ЭВМ исследований по любой лингвистической теме. Другое дело, что глубина и широта использования ЭВМ в зависимости от формализации исследования могут быть большими или меньшими, но использовать компьютер целесообразно всегда, хотя бы потому, что в результате мы получаем как минимум, во-первых, источники в компьютерной форме, во-вторых, оригинал-макеты будущих научных изданий.

3. Несколько устаревшим и умозрительным является, на мой взгляд, изложение материала гл. 3, разд. 1 "Постановка задачи на ЭВМ", в особенности на с. 27—28, где приводятся многие уже несущественные сведения о выборе

языков программирования и вместе с тем не упоминаются современные средства программирования, например, языки баз данных, средства формальной разметки текстов и другие приемы практической формализации лингвистического материала.

4. Несколько смещены в сторону исследования (в ущерб проблемам информатизации) акценты в изложении материала гл. 7, разд. 2 "Проблемы и перспективы автоматизации лексикологического и лексикографического анализа с помощью ЭВМ". Здесь остается в тени проблема информатизации лексикографии, в то время как проблема проведения исследований на лексическом материале, которая должна логически и конструктивно вытекать из первой, становится ведущей.

5. Разделяя вместе с авторами книги мнение о релевантности изложенных в ней методов автоматизации фонетических, грамматических и лексикологических исследований, их эффективности и полезности и всячески рекомендуя их в качестве образцов начинающим, я тем не менее не могу не изложить "стратегическую" линию в области информатизации филологии, как она мне представляется в позиций Машинного фонда русского языка.

Коротко говоря, суть этой проблемы лежит в области систематического накопления источников и разнообразного (практически безграничного и неисчислимого в своих разновидностях) их использования в исследованиях и в конструировании новых источников, которые наряду с исходными "возвращаются" в основную источниковую базу (фонд в собственном смысле слова).

Если посмотреть на рецензируемую книгу с этой точки зрения, то в ней представлена часть из бесконечного разнообразия задач использования компьютеризованных источников и отвлечении от задач их накопления и возврата в источниковую базу. У читателя-новичка в области использования ЭВМ в языкознании может создаться впечатление, что названные процедуры и только они являются возможными ("посильными" для компьютера); что для каждой из таких процедур нужно независимо и специально накапливать соответствующие источники (при этом упускается из вида возможность как автоматизированной подготовки публикаций, так и их возврата в источниковую базу для даль-

нейшего использования). Если считать изложенное в этом абзаце недостатком концепции авторов книги, то это такой недостаток, который является обратной стороной ее достоинств. Речь скорее должна идти о "взаимодополнительности" концепций авторов рецензируемой книги и автора этих строк.

Итак, что же мы имеем "в остатке"? Прежде всего пока не решенную в общем виде проблему универсальной разметки источников для их последующей обработки. Имеется в виду такая раз-

метка, следы которой сохранялись бы и в результатах обработки, что дало бы возможность использовать их и в полиграфическом воспроизведении результатов, и при "возврате" результатов в источниковую базу. Именно в этом я вижу центральную и наиболее трудную проблему информатизации языкознания, или, говоря "по-старому", — автоматизации лингвистических исследований.

Андрющенко В.М.

**Тихонов А.Н., Пардаев А.С. Роль гнезд однокоренных слов в системной организации лексики. Отраженная синонимия. Отраженная омонимия. Отраженная антонимия.** Ташкент: ФАН, 1989. 140 с.

Монографическое исследование А.Н. Тихонова и А.С. Пардаева посвящено актуальной и малоизученной в современном отечественном языкознании проблеме взаимодействия словообразования, лексики, морфологии и синтаксиса на материале словообразовательных гнезд.

Работа начинается с определения лексического, словообразовательного, морфологического и синтаксического значений слова. Взаимосвязь этих значений слова как семантически цельной единицы языка проявляется при его функционировании, во взаимодействии с родственными словами. Наибольшую отчетливость разнообразных лексико-грамматических связей однокоренные слова обнаруживают в гнездах — лексических и словообразовательных.

Лексическое гнездо (ЛГ) определяется авторами как "совокупность однокоренных слов в их лексических отношениях, организованных на базе лексико-семантических вариантов" (с. 8).

Лексические гнезда входят как структурный элемент в лексические поля (ЛП). И лексические гнезда, и лексические поля пронизаны живыми семантическими связями.

Словообразовательное гнездо (СГ) — понятие, соотносимое с ЛГ и ЛП, однако существенно отличное. Если в лексическом гнезде объединены однокоренные слова на базе общности их лексических значений или их компонентов, то словообразовательные гнезда составляют слова, восходящие к одному корневому слову в их словообразовательных отношениях.

Каждое словообразовательное гнездо обладает своей формальной структурой, нередко повторяющейся в других словообразовательных гнездах. Системность СГ проявляется как в плане словообразовательных значений, так и в плане используемых аффиксов. Приводимые авторами примеры (*баян — баянист, баянистка, баянный; гитара — гитарист, гитаристка, гитарный* и др.) убедительно иллюстрируют этот вывод.

Тщательный анализ отношений в большой группе однокоренных слов позволяет авторам заключить, что лексическая мотивация охватывает более широкий спектр смысловых отношений, нежели словообразовательная, которая опирается также на достаточно строгое формальное обеспечение выводимости производного значения.

Завершается первая глава перечнем тех проблем, которые наиболее актуальны в современном словообразовании. К ним относятся: формально-семантическое устройство СГ, словообразовательные потенции частей речи, прямых и переносимых значений. Не получила достаточного описания проблема взаимосвязи словообразовательных гнезд, словообразовательных цепей, парадигм. Постановка этих вопросов перспективна сейчас, когда имеющиеся словообразовательные словари позволяют проанализировать словообразовательные процессы на пересечении семантических, морфологических и синтаксических свойств слов.

Центральную часть исследования занимает теоретический и практический анализ словообразовательной синонимии, омонимии, антонимии. При этом авторы выделяют в целом три их вида: 1) синонимия, омонимия, антонимия производных слов, 2) словообразовательная синонимия, омонимия, антонимия, 3) отраженная словообразовательная синонимия, омонимия, антонимия. Делается это впервые.

Под словообразовательной синонимией исследователи понимают "однокорневые производные слова, обладающие одинаковым или близким словообразовательным значением, которое в них выражается при помощи различных аффиксов (префиксов и суффиксов) или их вариантов. Например: *волч-их-а* — *волч-иц-а*; *отправл-ени-е* — *отправк-а*" (с. 30).

Специфическим типом словообразовательной синонимии является отраженная синонимия. Это производные слова, созданные на базе лексических синонимов. Они, как правило, образуются от разнокоренных слов с помощью одних и тех же аффиксов, которые в них отражают синонимичность своих производящих. Отраженная синонимия формируется в пределах того или иного словообразовательного типа, являясь его частью. Ср.:

<i>за-плакать</i>	<i>в-сунуть</i>	<i>в-любить-ся</i>	<i>ис-страдать-ся</i>
<i>за-рыдать</i>	<i>в-пихнуть</i>	<i>в-тюрить-ся</i>	<i>из-мучить-ся</i>
<i>за-реветь</i>	<i>в-тиснуть</i>	<i>в-трескаться</i>	<i>ис-томить-ся</i>

Отраженная синонимия связана с гнездами, где играет важную роль в организации синонимических отношений. Ср.:

<i>бестактн(ый)</i>	<i>нетактичн(ый)</i>
<i>бестактн-о</i>	<i>нетактичн-о</i>
<i>бестактн-ость</i>	<i>нетактичн-ость</i>

Наиболее разветвленная система отраженной синонимии характерна для отглагольных гнезд. Синонимические гнезда имен существительных, как правило, имеют бедный состав отраженных синонимов.

Промежуточное положение в этом отношении занимают имена прилагательные. Объясняется это комплексом причин: к синонимии склонны прежде всего слова с понятийным, непредметным значением, не все лексико-семантические варианты исходного слова одинаково участвуют в словообразовательных процессах и др.

Отдельная глава посвящена словообразовательным омонимам. К ним отнесены лишь производные, у которых формально совпадают производящие основы и аффиксы. Ср.: *телятник*: 1) работник, 2) помещение. Внутри общего определения словообразовательных омонимов выделены три частные группы: 1) омонимы, возникшие на базе лексических омонимов, ср.: *подушить* овец — *подушить* лицо; 2) омонимы, созданные на базе однокоренных слов, ср.: *счетчик* (лицо) — *счетчик* (прибор); 3) омонимы, образованные на базе созвучных слов, но не омонимичных и неоднокоренных, ср.: *метельный* — от *метла*, *метельный* — от *метель*.

Среди словообразовательных омонимов значительное место занимают отраженные омонимы, представленные в словообразовательных гнездах. Ср.:

<i>палить</i> I "обжигать"	<i>палить</i> II "стрелять"
<i>пал-ива-ть</i> — I	<i>пал-ива-ть</i> — II
<i>пал-ени-е</i> — I	<i>пал-ени-е</i> — II
<i>паль-щик</i> — I	<i>паль-щик</i> — II

В русском языке, по наблюдениям авторов монографии, в упорядочении омонимических отношений производных слов значительное место занимают постфиксальные образования, многократные и однократные глаголы, имена действия.

Лексической базой для отраженной омонимии могут служить омонимические ряды, состоящие из исходных производных и производных слов. Ср.:

<i>плавить</i> I "делать жидким путем нагревания"	<i>плавить</i> II от <i>плыть</i>
<i>плавить-ся</i> I	<i>плавить-ся</i> II
<i>до-плавить</i> I	<i>до-плавить</i> II
<i>доплавить-ся</i> I	<i>доплавить-ся</i> II и т.д.

В общей системе отражений омонимии удельный вес отсубстантивных гнезд невелик.

В системе гнездовой омонимии исследователями выделяется еще одна ее разновидность. Омонимы возникают внутри гнезд в результате словообразовательных актов. Такая

омонимия названа внутригнездовой словообразовательной омонимией. "Так, в гнезде *коса* (орудие) к таким омонимам относятся: *за-косить* I (начать косьбу) и *за-косить* II (кося, захватить лишний участок)" (с. 72). Омонимы такого типа авторы не относят к отраженной омонимии.

Выделяемая межгнездовая омонимия может быть как отраженной омонимией, так и неотраженной. Если гнезда возглавляют лексические омонимы, то производные слова в них отражают омонимию исходных, т.е. относятся к отраженной омонимии. Ср.: *ключик* — I, II от *ключ*: 1) орудие для отпираания и запираания замка, 2) родник. Если же исходные слова не находятся в омонимических отношениях, то возникающие в гнездах ряды омонимичных слов не являются отраженной омонимией. Ср., в частности: *вывесить* I, II соответственно от *вешать* и *вес*. Межгнездовая омонимия совершенно не изучена. Отраженная омонимия в отличие от неотраженной носит более строгий, предсказуемый характер.

Отдельная глава посвящена теоретическому описанию антонимов — лексических, словообразовательных. Среди последних также отмечается отраженная и неотраженная антонимия. Словообразовательные антонимы чаще образуются при помощи префиксов или префиксально-суффиксальным способом, ср.: *действие* — *противодействие*, *моральный* — *аморальный*, *замужем* — *незамужем*, *действие* — *бездействие*, *усатый* — *безусый*. "В словообразовательной антонимии явно преобладает отраженная антонимия, т.е. антонимы — производные слова, которые сами по себе не выражают антонимических отношений и являются антонимами потому, что антонимическими значениями обладают их производящие. Они заимствуют антонимические значения у своих производящих, как бы отражая их в своей семантической структуре" (с. 76). Примерами отраженной антонимии могут служить прилагательные *верхний* и *нижний*, отражающие антонимичность производящих *верх* и *низ*. Ср. также: *открытие* — *закрытие* и *открыть* — *закрывать*; *белеть* — *чернеть*, *беленький* — *черненький* и *белый* — *черный*; *бедняк* — *богач*, *беднеть* — *богатеть*, *бедность* — *богатство* и *бедный* — *богатый*...

Отраженная антонимия, как и отраженная синонимия, организуется с помощью словообразовательных типов. Подавляющее большинство отраженных антонимов относится к одному и тому же словообразовательному типу, ср.: *жидк-оват-ый* — *густ-оват-ый*, *жидк-о* — *густ-о*, *кисл-о* — *сладк-о* и т.п.

Вся отраженная антонимия представлена в словообразовательных гнездах, ср., в частности:

<i>север</i>	<i>юг</i>
<i>север-ян(ин)</i>	<i>юж-ан(ин)</i>
<i>северян-к-а</i>	<i>южан-к-а</i>
<i>север-н-ый</i>	<i>юж-н-ый</i>

По мнению авторов монографии, вся отраженная антонимия связана со словообразовательными гнездами и составляет 70% всего антонимического массива русского языка. Объем антонимических гнезд может быть достаточно большим. Например, в гнездах *купить* — *продать* 15 производных антонимов, *мокрый* — *сухой* — 105.

Среди антонимических гнезд большое место занимают отадективные гнезда. Для отглагольных и отсубстантивных антонимических гнезд авторы отмечают свои особенности построения. Отраженная антонимия в гнезде наблюдается на всех ступенях словообразования, обычно проходит через всю словообразовательную цепь. Многозначные слова могут антонимизироваться в одном значении (в разном объеме), в ряде своих значений, редко во всех своих значениях. Исследователи отмечают, что современные толковые словари часто недостаточно полно передают смысловую структуру производных антонимов, бледно представляют их дистрибутивные свойства и особенности.

Две заключительные главы монографии посвящены практическому описанию антонимических отглагольных и отадективных гнезд в русском языке. Отметим некоторые положения данных глав, передающие логику и содержание наблюдений исследователей. Вводится понятие структурного типа гнезд. "Под структурным типом антонимических гнезд понимается гнездо, обладающее определенным набором производных антонимов" (с. 95). Среди отглагольных антонимических гнезд — большое разнообразие структурных типов. Простейшей структурой обладают антонимические пары глаголов, которые не имеют производных пар, ср.: *наживать* — *мотать* и под. Однако для глагольных антонимов отсутствие производных не является характерным свойством. Такие глагольные антонимы составляют, как считают авторы, не более 5% всей глагольной антонимии.

Более 80% глагольных антонимов образуют имена действия типа *внесение — вынесение, внос — вынос* и под.

Продуктивно образование в антонимических гнездах имен прилагательных, которые создаются на базе глаголов и отглагольных имен существительных. Самым активным формантом является суф. -н, ср.: *ввозной — вывозной, мобилизованный — демобилизованный* и под. Широко образуются от глаголов антонимические прилагательные из причастий, ср.: *недожаренный — пережаренный, закрепощенный — раскрепощенный* и под. Довольно редко образуются от глаголов антонимы — названия действующих предметов типа *включатель — выключатель*; единичны в глагольных антонимических гнездах другие типы имен существительных, сложные слова. Для отглагольных антонимических гнезд не характерна префиксация, так как в большинстве случаев в качестве исходных в этих гнездах выступают приставочные глаголы, а вторичная префиксация в русском языке не получила широкого распространения.

В антонимических отадективных гнездах авторы исследования отмечают, в частности, такие особенности. Самым большим словообразовательным потенциалом обладают гнезда, которые возглавляют непроеизводные антонимы. Антонимичные отадективные словообразовательные гнезда, возглавляемые производными словами, имеют обычно простую структуру.

В работе отадективные антонимы типизируются в соотносительности со степенями словообразования. На I ступени словообразования обычно образуются антонимы — имена качества: *богатство — нищета, простота — вычурность*; здесь широко распространена субстантивация прилагательных: *пресное — соленое, прошлое — будущее*; на этой ступени образуются также названия лиц мужского рода: *бедняк — богач, знакомец — незнакомец*. На II ступени словообразования возникают наименования лиц женского пола: *беднячка — богачка, чужая — родная* и т.п. Авторы описывают регулярность / нерегулярность появления тех или иных значений-антонимов на пяти ступенях словообразования. Так же, как и в отглагольных антонимических гнездах, в отадективных антонимических гнездах большей словообразовательной потенцией обладают прямые номинативные значения слов.

В целом в работе проанализирован большой фактический материал, авторами сделаны интересные выводы. Правда, можно указать и на некоторые положения, с которыми однозначно согласиться, пожалуй, нельзя. В частности, авторы не относят к омонимии случаи типа *бумажник* (кошелек), *бумажник* (рабочий бумажной промышленности), мотивируя это тем, что здесь различные основы и аффиксы: 1) *бумаж-ник*, 2) *бумажн-ик*. Есть и другая точка зрения, согласно которой *бумажник* в обоих случаях членился одинаково: *бумаж-ник*. Некоторые исследователи полагают, что синтаксические дериваты не могут быть семантическими мотиваторами, они отдают это право единице предшествующей ступени словообразования. Если идти от формальной близости мотиватора и мотивированного, не учитывая в достаточной мере семантического фактора, то могут быть случаи, когда одинаковые в словообразовательном отношении единицы оказываются в разных рубриках. Так, в АГ-80 слово *москвич* отнесено к отсубстантивным производным, слово *пражец* — к отадективным.

К сожалению, в работе отсутствует библиография.

Незначительные и второстепенные недочеты, отмеченные выше, никак не влияют на значимость и оригинальность монографического исследования А.Н. Тихонова и А.С. Пардаева. Работа открывает новые направления изучения слов в СГ, а именно во взаимосвязи СГ с разными языковыми уровнями. Книга, безусловно, найдет живой интерес в научном мире, среди преподавателей, аспирантов, студентов-филологов.

*Ващенко А.Н., Еремин А.Н., Петриченко М.А.*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14 января 1993 г. в Институте русского языка РАН состоялись традиционные ежегодные (двадцать четвертые) чтения памяти академика В.В. Виноградова, которые были посвящены этимологии и истории русского языка: эволюции этимологических исследований; древнейшим славянским переводным памятникам письменности и некоторым вопросам исторической грамматики русского языка.

Подчеркивая роль В.В. Виноградова как одного из крупнейших русских филологов в развитии различных отраслей отечественного языкознания, чл.-корр. РАН Н.Ю. Шведова (Москва), открывая чтения, говорила о том, что Виноградовым было высказано много интересных идей в области истории языка, его строя и функционирования.

Чтения начались докладом акад. О.Н. Трубачева (Москва) "Славянская этимология вчера и сегодня", который был посвящен прошлому и настоящему одной из древнейших наук — этимологии, научным традициям, фундаментальным словарям, великим именам ученых, уникальным исследованиям.

Интересующая представителей разных филологий тема "Этимология вчера и сегодня" при ближайшем занятии ею обнаруживает свою затруднительность: нет строгих границ между "вчера" и "сегодня" нашей науки. Диалог между этимологией и письменной историей и определенные иллюзии, питаемые насчет комплектности истории слова по письменным памятникам, склоняют к выводу, что именно этимология есть квинтэссенция историзма (письменная история применительно к древней лексике очень часто застает период относительного покоя). Не закончен и диалог между системным и атомизирующим подходами. Последний из них явился, например, сегодня в новой ипостаси компонентного анализа, механистичного по природе. Обращение к трудам Виноградова [например, к статье

"Основные типы лексических значений слова" (ВЯ, 1953, № 5)] помогает укрепиться в понимании цельности значения слова, что необходимо для этимологии.

В докладе, далее, суммарно характеризовались этимологические словари, издание которых считается событием в этимологической науке: словари Миклошича, Бернекера и Брюкнера — это великое "вчера" нашей этимологии. Возрождение этимологической лексикографии начинается с 50-х годов XX в. и связывается с именами Славского, Махека, Фасмера. Новый этап в освоении праславянского лексического фонда определяется ныне издающимися праславянскими словарями: один под редакцией автора доклада (вышло с 1974 г. уже 19 вып.) и другой, издающийся в Кракове (вышло — также с 1974 г. — 6 томов). Рассказывая об этимологических словарях, докладчик указал на их основные лексикографические параметры (сама постановка этого вопроса — следствие нынешних успехов словарной типологии).

Далее О.Н. Трубачев остановился на основных этимологических исследованиях, монографиях, новых научных концепциях, спорах между ними, проблеме статуса славянского в отношении к балтийскому.

Формулируя задачи современного этимологического исследования, докладчик кратко коснулся теорий происхождения славянского языка, рассматривая его через призму внутрииндоевропейских отношений, сказал о типичных трудностях, ожидающих этимологов при изучении имен собственных, заимствований — подлинных и мнимых.

С определенной остротой был поставлен в докладе вопрос о принципах этимологических исследований: не существует особых, "своих" принципов этимологии, они у нее общие со сравнительным языкознанием, лингвистической типологией и внутренней реконструкцией. Не следует закрывать глаза и на то,

что этимология не только наука, но и искусство, хотя в наш технизированный век это обстоятельство вызывало, скорее, опасения, принимавшие подчас форму поисков формализации этимологического анализа (этимологическая формула). Культурно-исторический аспект этимологических исследований, неисчерпанные возможности последних в плане углубления наших познаний (особенно по отдаленным дописьменным периодам) сохраняют полностью свою актуальность и сегодня.

Е. М. Верещагин (Москва) в докладе "Гимнографический жанр в функционировании книжно-письменного языка на Руси (XI—XIII вв.)" изложил результаты анализа древнейших славяно-русских служебных миней, особенно Декабрьской служебной минеи (которая сейчас готовится к изданию в ИРЯ РАН). Основной тезис доклада: в гимнографии, по сравнению с другими жанрами словесности, литературный язык выступает в полноте своих возможностей, поскольку для песнопений характерна высочайшая насыщенность семантики номинативных единиц, наибольшая сложность синтаксиса и, наконец, неременная представленность сразу двух языковых функций — коммуникативной и эстетической; следовательно, гимнографический жанр должен быть поставлен в числе источников по истории книжно-письменного языка Древней Руси на одно из центральных мест.

В докладе Е. М. Верещагин показал, что преобразованная под воздействием христианской духовности лексика песнопений может быть условно разделена на три группы: событийную, догматико-исповедную и гомилетическую. Славянские тропари и стихиры, однако, не полностью перенимают семантику греко-византийских источников: так, ассоциации из античной философии и мифологии, присущие, например, греческой стихире Св. Мины, были потеряны в славянском переводе.

Далее Е. М. Верещагин подверг анализу употребление глагола *обличати* в богослужебных последованиях и показал, что смысловая наполненность глагола сформировала важную для христианской культуры поведенческую парадигму: святитель обязан с негодованием ставить на вид высокому светскому лицу доказанные его прегрешения, подвергая себя риску мести и преследования. Таким образом, гимнографическая лексика имеет, наряду с другими,

еще и нравоучительный потенциал. Докладчик делает вывод, что воспринимающая культура способна сыграть активную преобразующую роль.

В докладе А. Ф. Журавлева (Москва) "О различиях в эволюции лексики и фонетики и различиях между картинами диалектного членения праславянского языка" были сопоставлены результаты фоностатистического и лексикостатистического подходов к реконструкции системы родства славянских языков, отражающей диалектное состояние славянского праязыка. Картина взаимосвязей между славянскими языками, воссоздаваемая на основе статистического анализа данных сравнительной фонетики (использована фоностатистическая модель Чекмана—Широкова, 1962), существенно отлична от результатов статистической обработки праславянских лексических изоглосс (материалом служили данные опубликованной части "Этимологического словаря славянских языков" под ред. О. Н. Трубачева).

Первая модель представляет группировку славянских языков сильно обособленными друг от друга, лексикостатистическая же модель рисует диалектное членение праязыка не столь резким. Причина расхождений усматривается ученым прежде всего в разных механизмах эволюции фонетики и лексики.

Фонетика, будучи системой с жесткой, в некоторых участках почти механической, взаимобусловленностью компонентов, эволюционирует преимущественно путем вытеснения одних элементов и структур другими. Изменения в фонетике часто носят характер цепной реакции, которая охватывает всю систему и изменяет принципы, обеспечивающие ее статическое равновесие, радикальным образом.

Изменения в лексике, по мнению докладчика, состоят, как правило, в заполнении вновь сформированным элементом некоей пустоты, обнаружившейся при концептуальном освоении мира, из потребности номинации, реже — из потребности экспрессии.

Развитие словаря протекает главным образом за счет кумуляции элементов. Этот принцип эволюции делает лексику не подверженной лавинным перестройкам и определяет ее способность гораздо дольше, чем фонетика, сохранять следы древних диалектных сближений и размежеваний.

Обоснованный вывод доклада: разви-

тие фонетики и лексики протекает несогласованно, и представления об отношениях праславянских диалектов, выработанные на основе учета только фонетических процессов, должны быть скорректированы принятием во внимание роли лексики в сложении диалектной картины праславянского языка.

А. М. Молдован (Москва) начал свой доклад "Критерии локализации древнеславянского перевода" с замечания о том, что впервые о важности этой проблемы в конце прошлого века говорил А. И. Соболевский. Далее была изложена история проблемы в трудах известных славистов.

Давно установлено, что существенным препятствием на пути определения лингвистических ареалов, к которым могут быть отнесены различные древнеславянские переводы, является вопрос о принадлежности протографа перевода тех или иных элементов текста. Поэтому решающим условием однозначного ответа на вопрос об аутентичности словарного состава памятника остается реконструкция его рукописной истории, хотя для многих переводов такая реконструкция почти невозможна ввиду малочисленности дошедших до нас списков.

Докладчик познакомил слушателей со своим анализом списком "Жития Андрея Юродивого", определившим их генеалогические взаимоотношения. Такое исследование стало возможным лишь при стечении нескольких благоприятных факторов. Это и многочисленность списков древнейшего перевода Жития (их более двухсот), и его значительный объем, насыщенность разнообразной лексикой (от богословской до бранной), а также разветвленная рукописная традиция греческого текста и обращение к списку именно той греческой редакции, с которой был сделан древнерусский перевод.

Текстологическое исследование позволило выделить типы однопавленных лексических замен в списках "Жития Андрея Юродивого" относящихся к одной языковой территории. Основными критериями определения территориальной принадлежности древнеславянских переводов, по мнению докладчика, являются их лексика и синтаксис, а фонетико-орфографические и морфологические особенности списков могут учитываться только в качестве вспомогательного или дополнительного материала,

как и различные экстралингвистические сведения.

Было подчеркнуто, что для переводов, представленных обширной рукописной традицией, может быть реконструирована история их текста, решающим при этом является наличие адекватного текста греческого оригинала. Знание генеалогических взаимоотношений списков открывает возможность использования варьирующей лексики для построения истории того или иного слова, определения этапов эволюции его значений и изменения его языкового статуса.

Доклад Ю. Л. Воротникова (Москва) «"Мир на качелях": к истории символа» посвящен образу "мира на качелях" в русской средневековой культуре и русской поэзии XIX—XX вв. В так называемых "антискоморошьих" царских указах 1648 г. запрещалось качание на качелях. Как это объяснить?

Докладчик считает, что средневековая культура вообще и культура Древней Руси в частности характеризовались особенностью, которую М. М. Бахтин определил как "двумерность". Первый мир — мир официальный — подчинялся законам "чинности" и "урядства", второй мир средневековья — так называемый "смеховой мир" — был тесно связан со стихией народных праздников. Он основывался на логике "обратности", логике непрерывного перемещения верха и низа. Образы "смехового мира" — это гротескные амбивалентные образы, стремящиеся "уловить самый момент смены, самый переход от старого к новому, от смерти к рождению".

В ряд образов такого типа входят и качели как символ чередования падений и взлетов, диалектического единства верха и низа. "Мир на качелях" народного гротескного реализма — это вечно рождающийся и умирающий, находящийся в процессе вечного становления и обновления родной человеку мир.

Качели связывались первоначально с весенним языческим аграрно-магическим действием. Поэтому церковь, выступающая против обрядов, сохранявших связь с языческой стариной, запрещала и качание на качелях. Со временем магическая функция качелей была полностью утрачена, и они превратились в невинную детскую забаву.

Далее в докладе говорилось о литературном символе "мира на качелях" в

русской поэзии: у А. А. Фета, Ф. Сологуба и А. Вознесенского.

М. В. Шульга (Москва) выступила с докладом "Система и норма (на материале истории адъективных форм в русском языке)". Форма *у ней* по отношению к норме оценивается по-разному: как просторечное, разговорное или nereкомендуемое и как вполне нормативное. В. И. Чернышев ограничения на ее употребление считал "ошибкой плохих грамматик".

В поисках объективных критериев, на которые можно было бы опереться при оценке вариантов *у нее*, *у ней*, в докладе сделана попытка реализовать принцип, сформулированный В. В. Виноградовым (1964): оценить явление с позиций "научной теории о закономерностях развития системы".

Несомненно, нормативная форма *у нее* занимает совершенно изолированное положение в системе адъективного склонения: нигде более форма р. ед. жен. не отличается от форм д.-п. ед. жен. Тем не менее именно форма *у нее* продолжает древнерусскую морфологическую традицию. Каким образом была устранена оппозиция форм р. и д.-м. ед. жен. в склонении местоимений и прилагательных и почему эти преобразования отчасти обошли местоимение 3 л.?

В выступлении критически рассмотрены и отклонены общепринятые традиционные интерпретации "сокращения" флексии род. падежа — фонетическая и морфонологическая. Предлагается собственно морфологическое объяснение этого морфологического по своим последствиям процесса. Вариантность затрагивает лишь форму род. падежа, в форме вин. ед. представлено только *еѣ*. Формы могли разойтись, расподобиться только под влиянием межпадежного взаимодействия — объединения р. с д.-м. ед.

С позиций "закономерности развития системы" это означает перспективность варианта *у ней* и необходимость объяснить устойчивость единственной из сохранившихся старых форм р. ед. *еѣ*.

Неустойчивость системы падежных противопоставлений местоимения 3 л. (и как следствие вариантность форм *у нее* — *у ней*) отражает его двойственную природу: по значению и по синтаксической функции — это существительное, а системой формальных признаков оно исконно включено в адъективное склонение.

Реализация формальных предпосылок была задержана в русском литературном языке искусственным регулированием. До середины XIX в. форма *ей* (*ней*) употреблялась гораздо шире. Сейчас она встречается лишь с наиболее частотными предложениями *у, от, для*.

В заключение в докладе оспаривается правомерность применения популярного тезиса об экономии языковых средств для объяснения природы варианта *у ней*.

До последнего времени считалось, что грамматические категории прямого объекта и переходности не претерпели в истории русского языка сколько-нибудь существенных изменений. Это положение опровергается в докладе В. Б. Крысько (Москва) "Объект и переходность в истории русского языка".

Обращение к материалу древне- и среднерусских памятников показало, что функционально-семантическая сфера вин. падежа в действительности была значительно шире, нежели в современном языке. Выделяется разветвленная система обстоятельственных винительных, включающая пространственный, временной, причинно-целевой и перечислительный аккумулятив.

Объектная семантика вин. падежа отличалась диффузностью, не позволяющей четко отграничить прямой объект от непрямого. Вин. и другие косвенные падежи выражали семантическую категорию "объекта вообще", не дифференцированного по степени охваченности глагольным действием. Широка объективная семантика аккумулятива обусловила распространение оборотов с двойным объектным винительным, которые в свою очередь преобразовывались в транзитивные возвратные конструкции.

Трансформационные критерии объективности и переходности применительно к древне- и среднерусскому периодам также оказываются нерелевантными. Повидимому, прямой объект и переходность как грамматические категории, имеющие регулярно морфо-синтаксическое выражение, оформились в русском языке не ранее XVIII в.

Е. М. Сморгунова (Москва) в своем докладе анализировала "имена собственные в Ветхом Завете по древним славянским переводам" и использовала результаты сравнения текстов древних русских рукописей для важного текстологического решения, связанного с историей славянской пись-

менности. Работа состояла в анализе и сравнении десяти рукописей полного текста Ветхого Завета XV — начала XVI вв. из Румянцевского музея и рукописного отдела Публичной библиотеки. Среди рукописей: Ундольского № 1, описанная владельцем, три рукописи Кирилло-Белозерского монастыря, рукопись из собрания Погодина начала XVI в., Волоколамская рукопись с точной датой 1493 г. и рукопись Троице-Сергиевой Лавры XV в.

Для более четкого и определенного результата сравнения рукописей был выбран отрывок текста из книги Числа (гл. XIII, 5—17), содержащий 37 имен собственных, данных в определенном порядке и последовательности.

Из таблицы, где все имена были расписаны по рукописям и сопоставлены, Е.М. Сморгуню пришла к выводам

о разделении рукописей по редакциям. Отчетливо выделяются в особую группу рукописи Ундольского и Троицкая: они или имеют общий протограф или одна рукопись является копией другой. Остальные рукописи также объединяются по разным признакам, образуя внутри общей редакции текста подгруппы или семьи.

В заключение отметим, что регулярные Виноградские чтения в Институте русского языка РАН и представленные на чтениях доклады, отличающиеся теоретической обоснованностью, новизной и глубиной трактовки материала, имеют принципиально важное значение для современной науки о языке и обогащают нашу научную жизнь.

*Иванова М.В. (Москва)*

Уже двадцать лет под эгидой Научного совета АН СССР по истории языка и диалектологии и его преемника — Научного совета РАН "Русский язык: история и современное состояние" проводятся всесоюзные, а ныне межрегиональные конференции по историко-диалектологической проблематике. Пятнадцатая по счету конференция, образцово организованная деканом филологического факультета Калининградского университета проф. С.С. Ваулиной и ее коллегами по кафедре истории русского языка, прошла 4—6 октября 1992 г. в городе Зеленоградске. Тема конференции — "Исторические изменения в языковой системе как результат функционирования единиц языка" — привлекла на берега Балтики более 50 исследователей из России, Украины, Белоруссии, Грузии и Польши.

На пленарное заседание было вынесено семь докладов. И.С. Улуханов посвятил свое выступление стандартизации употребления слов, которая оказывается одной из причин их семантической эволюции: наиболее типичное употребление слова постепенно становится единственно возможным. Основное направление такой стандартизации — закрепление слова в "нематериальных" значениях и утрата его первичных "материальных" значений, что связано с преобладанием духовной тематики над кон-

кретно-бытовой. Стандартизация употребления — это нередко и стандартизация лексической (а иногда и синтаксической) сочетаемости. В целом стандартизация может быть одной из причин эволюции языка. По-видимому, именно такая эволюция свойственна церковнославянскому языку, представления об искусственности и неизменности которого преувеличены. В докладе О.А. Черепановой (С.-Петербург) рассматривался культурный аспект изучения лексико-семантических процессов в древнерусском языке, Л.Г. Панин (Новосибирск) высказал свои представления о соотношении церковнославянского и современного русского литературного языка, выделив основные параметры, различающие эти две системы: форму существования (соответственно устную либо и письменную, и устную), характер варьирования, влияние узуса на парадигматику в церковнославянском и грамматику на узус в русском, нормативность русского литературного и традиционность церковнославянского, национальную замкнутость русского в противоположность восточнохристианской распространенности церковнославянского, принцип "соборности" в развитии церковнославянского в отличие от инновационного характера русского. Доклад А. Бартошевича (Ольштынь) обратил внимание слушателей на словообразовательную корреляцию глаголов с

приставками *над-* и *под-* в восточнославянских и польском языках. В выступлении С. М. Прохоровой (Минск) анализировались диалектные изменения глагольной валентности в свете теории поля, что позволило автору прийти к выводу о территориальной открытости, незамкнутости языковых зон Славии на синтаксическом уровне. Р. Д. Кузнецова (Тверь) осветила все еще мало разработанный вопрос образования союзных средств в условиях древнерусского текста; в частности, были рассмотрены конструкции типа *А что ... то...* и т.п., которые, десемантизируясь и приобретая функцию служебного слова, всегда ориентируются на содержание предшествующего высказывания или даже фрагмента текста. Э. А. Балалыкина (Казань) представила широкую картину одновременной энантиосемии в русском языке, выделив четыре случая ее развития: распад диффузного значения древнейшего слова и закрепление одного из противоположных оттенков; постепенное приобретение словом противоположного значения; волнообразный переход от одного полярного значения к другому; постепенная утрата полярности значений.

Остальные доклады были прочитаны в четырех секциях. На секции "Синхронное и диахроническое словообразование" выступили С. П. Лопушанская (Волгоград), рассказавшая о бесприставочных глаголах движения как словообразовательных основах производных слов, М. Н. Булдакова (Ижевск), которая рассмотрела историю абстрактных имен с префиксом *анти-*, Л. С. Андреева (Казань), посвятившая свой доклад функциональному аспекту русского именного словообразования начала XVIII в., В. М. Грязнова (Ставрополь), исследовавшая устранимость словообразовательной дублетности в системе наименований лиц в русском языке первой половины XIX в., В. Н. Виноградова (Москва), которая охарактеризовала особенности функционирования поэтических новообразований и их эволюцию, Т. В. Стрельцова (Оренбург), определившая место и роль авторских образований в лексике русского языка.

На секции "Историческая лексикология и лексическая семантика" были рассмотрены такие традиционные, но по-прежнему актуальные вопросы, как взаимоотношение славянизмов и русиз-

мов [здесь следует упомянуть доклады Т. Н. Кандауровой (Москва) "От цвета молока до туманности (к изменению внутренней формы прилагательного *млечный*)", Т. Ф. Кузенной (Калининград) "Основные направления семантической адаптации славянизмов в системе древнерусского языка", Н. А. Кипиани (Тбилиси) "Из истории функционирования синонимов с полногласием и неполногласием"]; история отдельных слов и лексико-семантических групп [в частности, Р. В. Алимпиева (Калининград) выявила сакральный смысл слова *любовь* в церковнославянских канонических текстах как одного из основных компонентов лексико-семантических парадигм; Г. В. Звездова (Липецк) охарактеризовала место и роль леммы *въчьныи* в системе темпоральных прилагательных; Н. Г. Благова (Мурманск) проследила специфику функционирования судебной лексики в языке XVII в., Г. Р. Доброва (С.-Петербург) исследовала исторические изменения русских антропонимов в процессе языковой эволюции и их окказиональные изменения в детской речи]. В докладе Г. П. Смолицкой (Москва) освещался вопрос об изменении формы гидронима в русском языке XIV—XX вв. В. И. Дьякова (Воронеж) и В. И. Хитрова (Москва) посвятили свой доклад отрицательным экспрессивным названиям со значением лица в воронежской деловой письменности XVII—XVIII вв. О. Е. Кармакова (Москва) рассказала об изменениях в лексической системе говоров Московской области. Е. А. Нефедова (Москва) охарактеризовала функционирование метафор в семантическом поле глагольных слов в русских говорах. В. Г. Демьянов (Москва) рассматривал освоение русским языком XVII в. английских топонимов и антропонимов, проходившее через немецкое фонетическое посредничество. Ряд лексикологических докладов представили хозяева конференции — преподаватели Калининградского университета: в частности, выступление А. И. Дубяго было посвящено семантическим изменениям в лексике русского литературного языка 40—60-х годов XIX в., В. И. Заботкина проанализировала эволюцию прагматического блока значения слова в результате изменений в картине мира, Г. И. Берестнев затронул проблему гносеологического аспекта в историко-семантических исследованиях, А. И. Шрамм

проследил развитие новых значений у относительных прилагательных.

Ряд докладов, представленных на секции "Историческая грамматика и грамматическая семантика", был посвящен именной морфологии: В. Б. Крысько (Москва) высказал гипотезу о преемственности древненовгородского окончания номинатива ед.ч. муж. рода \**o*-склонения -*e* и общеславянской флексии \**-o* < \**-os*, Т. М. Николаева (Казань) рассказала о взаимодействии именительного и звательного падежей в истории русского языка, О. Ф. Жолобов (Казань) продемонстрировал различия в судьбах форм двойственного числа, обозначающих парные сущности и соединения двух самостоятельных объектов, С. И. Иорданиди (Москва) на материале древнерусских памятников XII—XIII вв. охарактеризовала функционирование аnumerальных существительных, в частности, собирательных. Другой блок докладов затрагивал проблемы глагольной морфологии: М. А. Корчиц (Гродно) осветил историю деепричастных оборотов с *будучи* в белорусском языке, В. Ф. Аскоченская (Воронеж) рассмотрела происхождение инфинитива и его функционирование в славянских языках, Н. А. Тупикова (Волгоград) проследила развитие инфинитива в качестве ядерного средства выражения категории инперсональности, О. Г. Гецова (Москва) говорила о судьбе церковнославянских действительных причастий наст. времени в архангельских говорах.

На секции "Фонетико-фонологические изменения" было заслушано четыре доклада. А. Ф. Журавлев (Москва) показал, что эволюция праславянского языка по данным лексики рисуется иной, чем по данным фонетики: не резкое размежевание, а постепенное "расползание" в стороны. Е. Н. Бекасова (Оренбург) исследовала особенности формирования морфологических систем русского и украинского языков на примере

рефлексов \**tj*, \**dj*. В сообщении Р. Ф. Касаткиной и Е. В. Щигель (обе — Москва) доказывалось существование ассимилятивно-диссимилятивного аканья в некоторых говорах Липецкой области. Л. Л. Касаткин (Москва) выдвинул гипотезу о происхождении флексии -*o* в севернорусских формах типа *возо*, *годо* из редуцированного, находившегося в сильной фразовой позиции.

Конференция завершилась круглым столом "Проблемы и принципы современной истории языка", проходившим под председательством В. В. Колесова (С.-Петербург), который в своем выступлении указал на методологический кризис в исторической русистике и призвал к синтезу лучших традиций московской и петербургской историко-лингвистических школ. И. С. Улуханов отметил необходимость обогащения теоретического аппарата истории языка достижениями синхронного языкознания. В. Б. Крысько подчеркнул, что новые издания памятников и появление академических исторических картотек русского языка создают условия для пересмотра некоторых догм исторической русистики и открывают возможности для написания принципиально новой, отвечающей современному уровню науки, исторической грамматики древнерусского языка. В ряде выступлений затрагивались вопросы современного статуса церковнославянского языка.

В целом, несмотря на существенное сокращение круга участников по сравнению с предыдущими совещаниями, вызванное известными внелингвистическими обстоятельствами, мало благоприятствующими процветанию науки, очередная историко-диалектологическая конференция показала, что исследования по истории языка и диалектологии продолжают и координация этих исследований по-прежнему необходима.

К. В. (Москва)

12—14 октября 1992 г. в Москве состоялась конференция "Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков", организованная Институтом славяноведения и балканистики РАН. Это вторая научная встреча, проведенная Институтом славяноведения и балканистики по данной проблематике, см. [1, 2]. Настоящая конференция была посвящена общим проблемам теории и методологии типологического и сопоставительного описания в основном близкородственных славянских языков, но привлекались также факты других языковых семей. Кроме теоретических проблем, обсуждались конкретные результаты сопоставительных исследований в области морфологии, синтаксиса, морфологии, лексики, семантики и фонетики. В работе конференции приняли участие сотрудники и аспиранты научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений Москвы, С.-Петербурга, Киева, Новосибирска, Кирова, Кишинева.

Одним из наиболее теоретически насыщенных был доклад Т. М. Николаевой (Москва) "Типология и диахрония". Автор обратил внимание на то, что для синхронного описания в настоящее время накоплено относительно большое количество знаний об универсалиях в структурах языков; для диахронии же список универсалий только начинает создаваться. Расширение инвентаря диахронических универсалий может коренным образом изменить представление о родственных связях языков. Т. М. Николаева считает важнейшим вопросом о том, действительно ли факты современной нам типологической картины позволяют верно реконструировать тот или иной фрагмент восстанавливаемого языка.

Чрезвычайно теоретически интересный доклад был представлен В. Б. Касевичем (С.-Петербург) — "Типология языков и типология культур". При рассмотрении корреляций между типом языка и типом культуры автор полагает более продуктивным говорить не столько о сложности, сколько именно о типе культуры. В частности, культуры могут быть в большей/меньшей степени ориентированы на диалог/монолог. Отсюда — большая/меньшая представленность дейктических/анафорических средств. Сопоставление параллельных текстов на русском и вьетнамском языках показало, что число анафорических местоимений

в русском языке вдвое превышает тот же показатель для вьетнамского языка. Вероятно, вьетнамское высказывание в большей степени связано с диалогом.

Возможности и специфические особенности применения сопоставительного метода для изучения грамматических явлений, возникающих в результате длительного контактирования неродственных языков, были изложены в докладе Е. И. Деминной (Москва) "Сопоставительный метод при изучении языковой интерференции на грамматическом уровне". На материале системы модальных категорий болгарского глагола (имперцептив, конклюдив, адмиратив, комментатив), присутствующих в кругу балканских языков также македонскому и албанскому глаголу, автор показала, что под влиянием модели османско-турецкого глагола в условиях длительных контактов в грамматике этих языков постепенно был закреплён ряд семантических дифференциальных признаков, ранее известных им только на общем семиологическом уровне. Это привело к становлению новых для них грамматических категорий.

Общие принципы применения типологического метода обсуждались в докладе Н. Ф. Алиевой (Москва) "Выделение доминантных черт в строе отдельного языка как метод корректного представления дескриптивного материала в типологии". Докладчик считает необходимым включать в типологическую характеристику языка не просто черты, образующие универсальные категории, но черты, доминантные для структуры данного языка.

Общетеоретическим проблемам синтаксической типологии был посвящён доклад Я. Г. Тестельца (Москва) "Дополнение к типологии порядка слов: класс языков со смешанным типом ветвления". В работах известных типологов Дж. Гринберга, Дж. Хокинса, Л. Стассена и др. предлагается деление языков по признаку последовательного расположения определяющих элементов перед или после определяемых ("языки левого и правого ветвления"); автор выявляет также языки, в которых большинство сочетаний с ветвящимися категориями допускает оба возможных порядка. Это языки со свободным или смешанным типом ветвления.

Оживлённый отклик у участников конференции вызвало выступление А. Е. Кибрика (Москва) на тему "Типология родственных языков: синхрония и эволю-

ция". А.Е. Кибрик утверждает, что для типологии принципиально важно изучение некоторых параметров на материале родственных языков, так как 1) последние демонстрируют не только сходства, но и различия; 2) используя метод исчисления типов, можно на базе данных родственных языков предсказать возможное существование еще не обнаруженных языковых свойств. Докладчик показал (на примере 22 родственных языков Северного Кавказа), что материал родственных языков очень благоприятен для реконструкции эволюционных процессов.

Ряд последовавших докладов, посвященных типологическому и сопоставительному описанию различных явлений в славянских языках, послужил как бы иллюстрацией к тезисам доклада А.Е. Кибрика. Так, З. Рудник Карват (Варшава) предложила некоторую рабочую модель славянского словообразования. Выбрав подход "от смысла к форме", она сравнивает непрямые предикатно-аргументные структуры в современных славянских языках. М.И. Ермакова (Москва), сопоставив верхнелужицкие и нижнелужицкие грамматические категории времени и залога, с точки зрения морфологических средств их выражения и с учетом данных польского и чешского языков, отметила типологические различия и сходства этих категорий в верхнелужицком и нижнелужицком языках.

Значительное место на конференции заняли вопросы синтаксиса. Например, В.С. Храковский (С.-Петербург) обсуждал проблемы типологического анализа на материале условных конструкций в славянских языках. Автор предложил исчисляющую классификацию условных конструкций, включающую 216 моделей, из которых в славянских языках реально функционирует 106. Н.А. Козинцева (С.-Петербург), выступившая с докладом "Структурно-типологическая характеристика категории пересказываемости", привела факты древнеармянского языка в сравнении с современным армянским, в котором пересказываемость является одним из значений перфекта. Эти данные интересны в плане сопоставления с категорией пересказываемости в балканских языках. Т.Н. Молошная (Москва) сделала обзор косвенных наклонений в славянских языках, акцентируя их сходства и различия. Докладчик не включает в

число членов грамматической категории наклонения такие формы, как конъюнктив, пересказывательные формы и некот. др. А.В. Головачева (Москва) проанализировала словосочетания типа "имя possessора + класс глаголов некоторой семантики + имя объекта обладания", выражающие possessивное значение в русском, польском, чешском и словацком языках. И.А. Васюкова (Москва) произвела функциональную классификацию болгарских присубстантивных сочетаний и сопоставила эти сочетания с соответствующими русскими, отметив используемые формальные показатели русских и болгарских единиц синтаксиса.

На конференции рассматривались также проблемы морфологии. В докладе "К типологии морфонологических моделей: *deverbativa* на *\*-enъje*" С.М. Толстая (Москва) предложила типологический критерий в славянской морфологии — йотация *i*-глаголов, применение которого распределяет славянские языки между двумя полюсами: моделью с регулярной йотацией и моделью с полным отсутствием йотации. В докладе Т.В. Поповой (Москва) "К вопросу о синхронной членности глагольных словоформ в славянских языках" была высказана мысль о необходимости признания единой глагольной основы, реализующейся в одном или нескольких вариантах, в которых вычленяется структурный элемент, завершающий основу. Он может быть представлен разными фонемами, в том числе нулем. Такой подход обеспечивает полную сопоставимость морфонологических элементов в славянских глагольных формах.

Вопросы типологического изучения фонологии и фонетики близкородственных языков поднимались в докладе Л.Э. Калынь (Москва) "К вопросу о критериях типологического тождества на фонетическом уровне". Автор призывает подвергнуть типологической интерпретации не только фонематические единицы, но также и такие фонетические особенности, которые проявляются в сегменте более длинном, чем звук/фонема или их сочетание. Это позволяет создать более адекватное представление о типологическом сходстве и различии в славянском диалектном континууме, в частности выявляет связь украинских диалектов с южнославянскими.

Много интересного было сообщено по конкретным проблемам славянского словообразования. Обратил на себя

внимание доклад Ю.Е. Стемковской (Москва), в котором освещались особенности функционирования иноязычных суффиксов в чешском и сербскохорватском языках, а также была высказана гипотеза о том, что на разную степень подчиненности иноязычных суффиксов собственным моделям в указанных языках влияют и языковые факторы и менталитет носителей этих языков. Е.В. Петрухина (Москва) выступила с докладом, отмеченным нетрадиционным подходом к видообразованию славянского глагола — не от формы (префиксы) и не от семантики (способы глагольного действия), а от лексического значения мотивирующего глагола.

Значительное внимание на конференции было уделено семантике. Бесспорно наиболее глубокая разработка проблем грамматической семантики была представлена в докладе А.В. Бондарко (С.-Петербург) "К проблеме стратификации семантики". Автор различает смысловые основания языковых значений и специфические особенности представления смысла в значениях языковых единиц. Эквивалентность смысла, лежащая в основе "равнозначных" высказываний в сопоставляемых языках, сочетается с возможной неэквивалентностью элементов языковой интерпретации. А.В. Бондарко выделяет два типа неэквивалентности: 1) функционально-парадигматическую, обусловленную наличием/отсутствием тех или иных единиц, классов и категорий или различием в их значениях; 2) функционально-синтагматическую, обусловленную различиями в функционировании сравниваемых единиц. В докладе были рассмотрены вопросы дифференциации уровня системно-языковых значений и уровня семантической характеристики высказывания. Особое внимание было уделено проблеме интенциональности. Было подчеркнуто, что необходимо проводить различие между значением и функцией. Следует отметить также доклад Т.Н. Маляр и О.Н. Селиверстовой (Москва) в котором рассматривались и сопоставлялись дистанционно-пространственные отношения в русском и английском языках. Оказывается, в этом плане данные языки обнаруживают много общих черт. Ф.Я. Мухамеджанова (Москва) доложила об опыте разграничения фактивных и нефактивных предикатов. В этом отношении были сопоставлены русск. *ожидать* и англ. *expect*. Г.К. Ве-

недиктов (Москва) сравнил известную группу соотносительных глаголов движения, обозначающих 1) движение однонаправленное (русс. *нести*) и 2) как неоднаправленное, так и однонаправленное (русс. *носить*) в восточно- и западнославянских языках, и подобные пары глаголов в литовском языке. Докладчик продемонстрировал аналогичность семантического соотношения глаголов данного типа в литовском тому, что наблюдается в славянских языках.

На конференции широко обсуждалась и собственно лексическая семантика. Г.П. Клепикова (Москва) сообщила о результатах сравнительно-типологического исследования лексики, семантики и общих принципов номинации в карпатском диалектном континууме, отраженных на картах Общеславянского диалектологического атласа. И.А. Седакова (Москва) рассматривала номинативные процессы с использованием общеславянского термина родства *баба* на материале русского и болгарского языков. Т.С. Тихомирова (Москва) прочитала насыщенный интересными фактами доклад, в котором анализировались случаи, когда эквивалентности польских и русских словосочетаний достигается за счет слов, принадлежащих к разным частям речи, например, польск. *zbadac mikroskopowo* и русск. *исследовать при помощи микроскопа*. Как итоговый — в области лексики и семантики — прозвучал доклад Л.Н. Смирнова (Москва). В нем рассматривались некоторые направления синхронно-сопоставительного изучения словарного состава славянских языков, представленные в трудах чешских и словацких лингвистов, которые имеют общее теоретическое и методологическое значение для сопоставительных исследований близкородственных языков.

Подводя итоги конференции, председатель оргкомитета Т.Н. Молошная отметила, что сделанные сообщения и состоявшаяся дискуссия отражают возросший уровень исследований по типологии родственных языков, и выразила надежду на то, что Институт славяноведения и балканистики РАН сможет и в дальнейшем проводить конференции по типологической и сопоставительной проблематике.

Тезисы докладов данной конференции были предварительно опубликованы [3]. В этот сборник включены также тезисы докладов, которые по разным

причинам не были зачитаны на конференции и поэтому здесь не упоминались, но которые представляют несомненный интерес.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Синхронно-сопоставительное изучение грамматического строя славянских языков: Тез. докл. и сообщ. советско-польской конференции. М., 1989.

2. Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990.

3. Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков: Тез. докл. и сообщ. межреспубликанской конференции. М., 1992.

*Молошная Т.Н. (Москва)*

Издательство  
**"Помовский и партнеры"**

выпускает в 1993 г.

словарь молодежного жаргона

**И. Юганова и Ф. Югановой**

под ред. А. Баранова,

содержащий более двух тысяч терминов. Словарная статья состоит из дефиниции, примеров употребления, грамматической информации, стилистических помет, характеристики области распространения, а также зоны идиоматических выражений. Книга включает прямой словарь (от жаргонного выражения к толкованию), обратный словарь (от слова литературного языка к жаргонизму) и тематический словарь (от смыслового поля к жаргонизмам).

**Заказы направлять по адресу:**

117279, Москва, а/я 63. Издательство "Помовский и партнеры".

Технический редактор *И.В. Карандашова*

Сдано в набор 29.04.93

Подписано к печати 24.06.93

Формат бумаги 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Офсетная печать

Усл. печ. л. 13,0

Усл. кр.-отт. 39,9 тыс.

Уч.-изд. л. 15,5

Бум. л. 5,0

Тираж 2540 экз.

Зак. 4498

Цена 20 р.

Адрес редакции: 121019 Москва Г-19, ул. Волхонка 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-74-42

Московская типография № 2 ВО "Наука", 121099, Москва, Г-99 Шубинский пер., 6